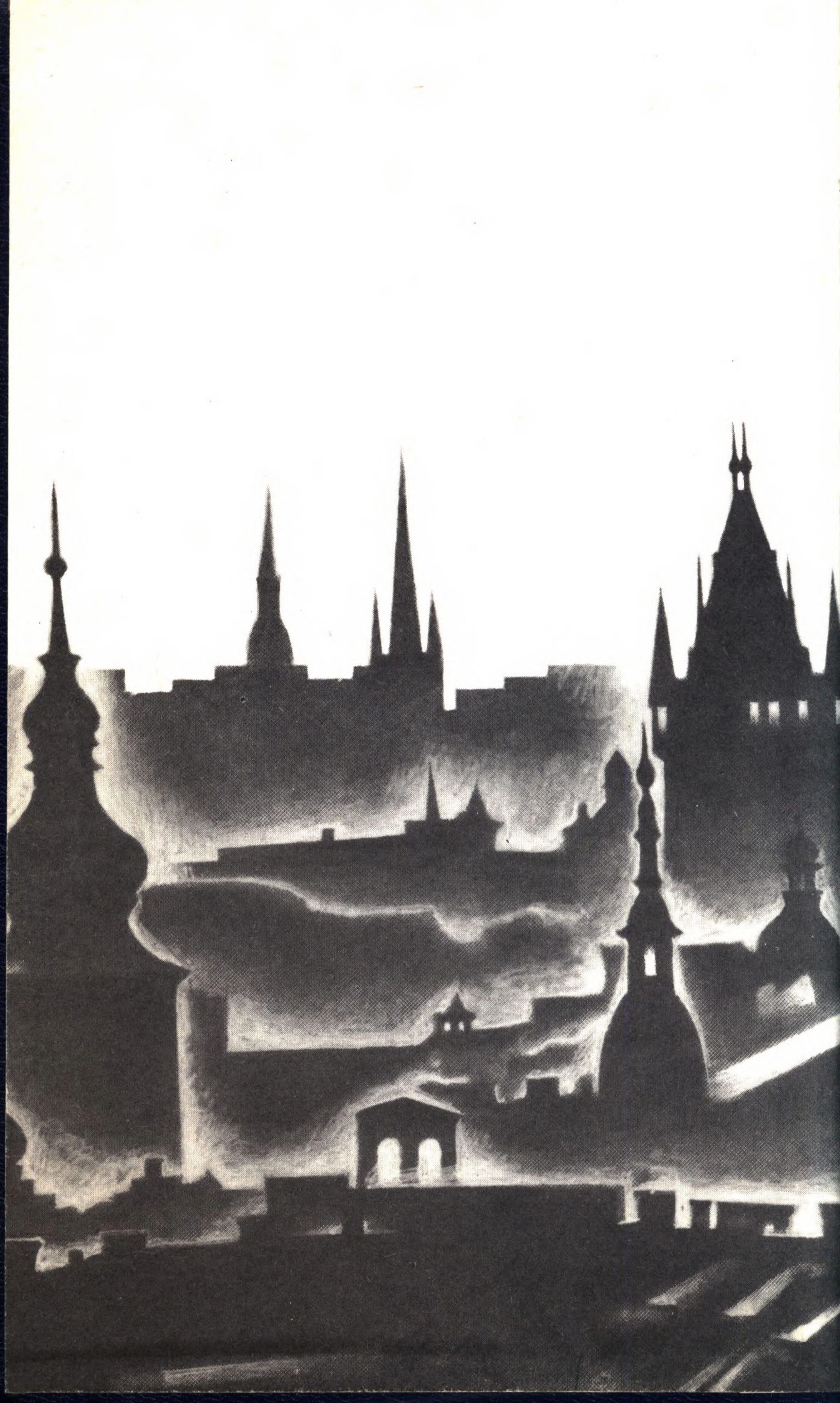
направление-Прага

1945



1945



направление-

Прага

Сборник произведений современной чехословацкой литературы, раскрывающих темы второй мировой войны и победы над фашизмом, памяти о тех годах.

Переводы с чешского и со словацкого

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

Составление и предисловие **Св. Бэлзы**

Художник **А. Пчелкин**

Рецензент д. ф. н. **С. А. Шерлаимова**

Н $\frac{4703000000-120}{078(02)-85}$ 241—85

ПЛАМЯ ПАМЯТИ

Ты памяти пламя
выбей из кремня и путь освети...
Андрей Плавка.
«Воспоминание о Бистрице»

В Праге и Братиславе, в других городах Чехословакии воздвигнуты величественные мемориалы в честь советских воинов, павших за освобождение страны от фашизма. Не меньше, чем грандиозные монументы, трогают сердце и навевают думы придорожные братские могилы со скромными обелисками, у которых не переводятся живые цветы. Оставляет неизгладимое впечатление великолепный музей Словацкого национального восстания, открытый в его «столице» — Банской Бистрице.

Но не только в граните и бронзе, в музейных витринах сохраняется священная память о тех, кто принес свободу. Эта память живет и в литературе. Чехословакия принадлежит к числу тех стран, в искусстве которых тема второй мировой войны и движения антифашистского Сопротивления занимает важнейшее место. Книги, посвященные этой теме, сыграли и продолжают играть там определяющую роль в развитии литературы. Они существенно обогатили чешскую и словацкую литературы как в области разработки идейно-философских, нравственных вопросов, так и в эстетическом отношении, способствовали упрочению принципов социалистического реализма, раскрытию его богатейших возможностей. Они содействовали также сближению и взаимодействию этих литератур, образованию качественно новых отношений между ними и формированию нового единства — чехословацкой социалистической литературы.

Художественное усвоение уроков войны в чешской и словацкой литературах отличается некоторыми специфическими чертами. Разница эта обусловлена причинами конкретно-исторического характера. Однако за национально-специфическим преломлением материала открывается общность коренных идейных и эстетических критериев, на которые опираются как чешские, так и словацкие писатели.

Об этой общности, о социалистическом интернационализме литературы Чехословакии свидетельствуют, в частности, и произведения, включенные в сборник «Направление — Прага». Так, чешский автор Ян Сухл обращается к теме Словацкого национального восстания, а словак Карол Томашчик создает художественный репортаж о знаменитом броске советских танковых частей на помощь восставшей Праге.

Жертвой гитлеровской агрессии Чехословакия стала еще до начала второй мировой войны. Преданная коварно западными союзниками в Мюнхене в сентябре 1938 года, в марте следующего года республика потеряла свою независимость: по воле фюрера на ее сокращенной аннексиями территории были образованы германский «протекторат Богемия и Моравия» и марионеточное профашистское «Словацкое государство».

В насильственно расколотой стране росло и крепло общее для истинных чешских и словацких патриотов чувство — ненависть к фашизму и развязанной им войне. Из года в год ширилось движение Сопротивления, и освободительная, антифашистская борьба

тесно переплеталась с возглавлявшейся коммунистами борьбой за революционное преобразование общества. Кульминационными моментами этой борьбы стали Национальное восстание 1944 года в Словакии и вспыхнувшее в мае 1945 года Пражское восстание в Чехии. И на протяжении всех лет фашистского диктата ширилось восстание против фашизма и бесчеловечности войны в чешской и словацкой культуре.

Для народов Чехословакии, избравших вскоре после освобождения социалистический путь развития, война послужила катализатором революционного движения, стала поворотным этапом национальной истории, поэтому литература в течение вот уже четырех десятилетий стремится как можно полнее отразить и художественно осмыслить столь важное событие эпохи, воскрешая трагизм и героику минувших дней, постоянно открывая в недавнем прошлом все новые аспекты, весьма актуальные для дня нынешнего.

У писателей старшего поколения эстафету успешно принимают начинающие авторы — те, чье детство было опалено войной, или даже те, кто родился уже после ее окончания. Молодые литераторы нередко радуют свежестью взгляда и нетрадиционными решениями темы, ставшей уже традиционной.

«Малая проза», вошедшая в настоящий сборник, дает представление о тех новейших «годичных кольцах», что наросли на щедро плодоносящем древе чехословацкой литературы о войне.

Обращаясь к сюжетам из периода второй мировой войны и оккупации, чешские и словацкие авторы показывают, как в борьбе с фашизмом вызревали моральные основы для формирования нового общества. Пониманием переломности исторического момента, неизбежно отпечатывающейся и на психологии людей, пронизаны все наиболее значительные книги о минувшей войне, появившиеся в Чехословакии за четыре десятилетия. В тему «человек и война» в этих книгах органически вплетается тема «человек и революция», которая закономерно становится лейтмотивом при воссоздании социальной атмосферы тех лет.

Сразу после освобождения острой политической борьбе за будущее Чехословакии (завершившейся в феврале 1948 года окончательной победой народно-демократического строя) сопутствовали не менее острые схватки за духовную ориентацию ее культуры. Прочный фундамент социалистического искусства был заложен в Чехословакии революционными писателями и критиками-марксистами еще в 1920—1930-е годы. Путь литературе нового типа прокладывала в лучших своих образцах чехословацкая поэзия и проза антифашистского Сопротивления, обеспечившая преемственность и обновление прогрессивных национальных художественных традиций.

На формирование облика послевоенной литературы Чехословакии решающим образом повлияло появление талантливых, новаторских в художественном отношении произведений на антифашистскую тему. В 1945 году увидел свет написанный в гестаповском застенке фучиковский «Репортаж с петлей на шее», который получил мировую известность. Творческая зрелость и непоколебимая идейная убежденность коммуниста позволили Юлиусу Фучику создать произведение, уникальное во многих отношениях, в том числе и по форме. «Репортаж» вобрал в себя элементы различных жанров — новеллы и литературного портрета, исповеди и публицистической статьи, эссе и сатирического памфлета, ли-

рического послания и политического манифеста, — все вместе это как бы образует сценарий того «фильма», полного ужаса и решимости, ненависти и любви, сомнения и надежды, который мысленно проецировал автор на экран голой тюремной стены.

Художественность и документальность слились воедино в фучиковском «Репортаже», наделив его, с одной стороны, широтой образных и философско-нравственных обобщений, а с другой — ценностью подлинного свидетельства о несгибаемом мужестве (и истоках этого мужества) настоящих людей, борцов-антифашистов, сплоченно противостоящих разнокалиберным «людишкам» — нацистам и их прислужникам. Книга-подвиг Юлиуса Фучика представила истинных героев нашего времени, благодаря этому и благодаря своим художественным достоинствам она оказала столь существенное воздействие на весь ход последующего литературного развития в Чехословакии.

Фучиковский подход к проблематике антифашистской борьбы становится характерным не только для чешской прозы; следы воздействия «Репортажа с петлей на шее» прослеживаются в произведениях об антифашистской борьбе, созданных писателями разных стран. Наиболее яркое достижение чешской литературы середины 40-х — первой половины 50-х годов в русле фучиковской традиции — романы Марии Пуймановой «Игра с огнем» (1948) и «Жизнь против смерти» (1952), завершившие ее трилогию, начатую еще до войны книгой «Люди на перепутье» (1937).

Чешская писательница прослеживает в своей эпопее не только судьбы избранных ею героев, но и в целом народную судьбу в период всемирного потрясения. На примере выведенных ею персонажей, в том числе «людей на перепутье», так и не сумевших выбрать правильную дорогу, М. Пуйманова стремилась показать взаимосвязь биографий личных с «биографией века». Перипетии действующих лиц трилогии не просто возникают на фоне реальных событий истории, а вписываются в них. События эти охвачены писательницей с большой полнотой — в томах трилогии отражены мюнхенский сговор и Лейпцигский процесс над Георгием Димитровым, кровавый нацистский террор после покушения на Гейдриха и трагедия Лидице, ужас фашистских концлагерей и стойкость брошенных туда патриотов, героические действия подпольщиков-коммунистов, партизан и боевые операции частей Чехословацкого корпуса, Пражское восстание и решающая роль Советского Союза в разгроме гитлеровских захватчиков.

Фундамент словацкой литературы о Национальном восстании 1944 года был заложен в первую очередь «Хроникой» (1947) Петера Илемницкого, где показано возникновение и закалка революционного сознания крестьянства в горниле военных испытаний. Рассказ ведется от лица лесника Гондаша, и сам писатель как бы следует неукоснительно мудрому совету своего героя: «Надо брать людей такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели бы их видеть». Илемницкий убедительно показал закономерность связи антифашистской борьбы с борьбой за социальные преобразования.

«Хроника» наложила существенный отпечаток на многие книги о войне и Национальном восстании, появившиеся вслед за нею в Словакии. Это отнюдь не означает, что другие писатели попросту копировали приемы П. Илемницкого. Но, подобно тому, как произошло с книгами Ю. Фучика и М. Пуймановой в чешской литературе, «Хроника» словно камертон задала определенную идей-

ную и художественную высоту в воплощении темы, ставшей стержневой для современной словацкой прозы, поэзии и драматургии.

Начиная с середины 50-х годов для литературы Чехословакии, как и других социалистических стран, характерно особое повышение интереса к личности человека, его психологии, к философско-этическим проблемам, стремление к преодолению иллюстративности, чем были отмечены некоторые книги первых послевоенных лет. Точно сформулировал новые задачи литературы в ходе работы над трилогией «Поколение» В. Минач: «Помочь своему поколению ориентироваться сегодня, осознать, понять — почему мы такие, какие есть. Освещать те времена не фактографически — это уже было сделано, а в моральном и психологическом аспекте: почему и как менялось ощущение жизни. Разобраться в моральных ценностях, разрешить узловые проблемы нашего общества».

Такая тенденция остается ведущей для литературы Чехословакии о войне вплоть до настоящего времени.

Проявилась она во второй половине 50-х годов, если говорить о словацкой прозе, например, в повести «Площадь святой Альжбеты» словацкого писателя Рудольфа Яшика. Это трагическая поэма в прозе о любви, растоптанной войной. Печальная повесть о любви, чувстве светлом, лирическом, оборачивается гневным обличением темных сил фашизма. Спустя двадцать лет чешский прозаик Иозеф Кадлец в повести «Виола» также обратился к истории любви в годы войны двух молодых людей, которая оканчивается гибелью девушки. Каждый из писателей по-своему воссоздал драматическую ситуацию, когда о жестокость войны разбивается высокое чувство, но эти вещи объединяет стремление авторов показать за трагедией двоих трагедию всего человечества — ту трагедию, которую нес с собой фашизм.

Война выступает в произведениях чехословацких художников как враг всего самого светлого, возвышенного, человеческого — любви и музыки. Показательны в этом отношении публикуемые в настоящем сборнике рассказы О. Халоупки «Ода «К радости» и М. Зелинки «Соната для кленовой скрипки».

Подлинный гуманизм предельно конкретен, как любовь и ненависть, потому что вмещает оба эти чувства. «Науке ненависти» к фашизму, к захватчикам люди учились по «грамматике любви» к отчизне, к родному краю, к свободе и справедливости.

Рассматриваемая в целом литература Чехословакии о войне в значительной мере отражает главные закономерности всего современного искусства мира социализма. И путям художественного развития чешской литературы, естественно, во многом аналогична эволюция словацкой прозы на эту тему.

«Вновь и вновь, — писал один из руководителей восстания, выдающийся поэт Лацо Новомеский, — осознаем мы, какой живой, животрепещущей частью нашей национальной жизни остается и — верим — еще долго будет оставаться Словацкое национальное восстание... Оно сделалось чтимой традицией в жизни словацкого народа вообще и в социалистической его жизни в особенности». Отблеск партизанских костров озаряет страницы многих замечательных произведений словацкой литературы. Восстание стало настолько «чтимой традицией» для всей послевоенной прозы и поэзии Словакии, что последовательное рассмотрение наиболее значительных произведений о нем представляет собой, по сути, «малую историю» новейшей словацкой литературы.

Даже в самой краткой из таких «историй» неизменно отводится видное место роману «Стеклянная гора» (1954) и сборнику новелл «Часы и минуты» (1956) Альфонза Беднара. Дело в том, что с этих книг начинается новый этап в раскрытии темы восстания, а произведения, ставшие вехами в периодизации литературы, не забываются. А. Беднар был в числе первых словацких прозаиков, которые показали, что для подлинно художественного решения обозначающей конфликт формулы «человек и война» (а шире — «человек и история») нельзя обойтись без еще большего переноса центра тяжести на ее первую часть. Писатель ощутил необходимость дать не беллетризованную панораму восстания, а детально разобраться во внутреннем мире участвовавших в нем людей. Именно тогда происходил грандиозный сдвиг в общественном сознании словацкого народа, который обусловил не только избавление страны от фашизма, но и радикальные социальные перемены. Как всякий исторический процесс такого масштаба, сдвиг этот совершался далеко не просто и не гладко. Беднар не стал ограничиваться показом героев безукоризненных, без страха и упрека — и контрастно им противостоящих врагов, предателей. Его привлекла возможность изобразить драматичность судьбы тех, кто не сумел или не успел соразмерить свой шаг с поступью истории; заинтересовали натуры мятущиеся, «случайно» вовлеченные в могучий водоворот восстания, а также не выдержавшие испытания войной, оккупацией.

Книги А. Беднара в немалой степени наметили направление дальнейших поисков словацких прозаиков, они проложили дорогу для появления таких значительных произведений, как трилогии Владимира Минача «Поколение» (1958—1961) и Рудольфа Яшика «Мертвые не поют» (1961, не закончена из-за смерти автора), где художники воссоздали ту нравственную, психологическую атмосферу, в которой протекало духовное возмужание их сверстников, происходил стремительный рост национального, революционного самосознания словаков.

Нельзя отрицать, что в целом задачи, которые ставит и решает начиная с конца 50-х годов литература Чехословакии и других социалистических стран, посвященная событиям второй мировой войны, гораздо сложнее тех, что возникали еще в дни войны или же сразу после того, как смолкли ее последние залпы.

То новое, что содержится в лучших произведениях писателей «второй волны» по сравнению с книгами их предшественников, особенно наглядно выступает в случае встречающейся порой внутренней художественной полемики автора с самим собой, когда спустя 10—15 лет после выражения своей первой, непосредственной, иногда полудневниковой и всегда чрезвычайно эмоциональной реакции на только что отгремевшие события он вновь обращался к теме минувшей войны. Такая полемика ощущается на многих страницах трилогии Владимира Минача «Поколение» при сопоставлении ее с первым романом писателя «Смерть ходит по горам» (1947), который сам он впоследствии расценил как книгу искреннюю, но не вполне объективную.

В своей трилогии Минач стремился выяснить сложный вопрос о роли и месте человека в таком глобальном историческом катаклизме, как вторая мировая война. В романе «Время долгого ожидания» — своего рода развернутом прологе к последующим томам трилогии — схвачена и впечатляюще передана гнетущая обстановка в «независимом» Словацком государстве, где заправляют

фашисты и клерикалы. Автор убедительно подводит своего героя, а тем самым и читателя к выводу, что «смысл всего» — в осознанной необходимости действовать во имя общего блага, во имя будущего, за которое в ответе все вместе и каждый в отдельности.

В романе «Живые и мертвые», единодушно признанном критикой наиболее совершенным из всего цикла, Минач далек от замысла тщательно выписать реальные эпизоды Словацкого национального восстания — для него гораздо важнее показать приобщение людей к коллективным усилиям народных масс. При этом автор ничего не упрощает. Только для таких, как несгибаемый коммунист Янко Крап, были ясны с самого начала конечные цели восстания, а для многих других за рамками основного и требующего лишь однозначного решения конфликта — «за» или «против» фашизма — существовало еще много неясных, запутанных вопросов, и ответы на них приходили не сразу, а по мере гражданского прозрения героев.

Перенесение основных конфликтов в сферу моральную, психологическую открыло новые горизонты чехословацкой прозе о войне. Нравственные проблемы — прежде всего такие, как проблема выбора, проблема личной ответственности, — закономерно выдвинулись на первый план. Возрастанию философской насыщенности и этической остроты произведений сопутствовало не только углубление психологического анализа, но и усложнение самих проблем, за которые берутся писатели.

Война несла глубокий нравственный конфликт для множества словаков, отправленных волею своих профашистских правителей на Восточный фронт. С большой силой трагизм положения этих «оккупантов поневоле» воплотил Рудольф Яшик в книге «Мертвые не поют». Такие книги отвечали настоятельной потребности бескомпромиссного расчета с прошлым, которую испытывали общество и литература, что служило предпосылкой для дальнейшего движения вперед. Яшик вскрыл тот пласт сложнейшей моральной проблематики, который был связан с выполнением «поповской республикой» (как называли клеро-фашистскую Словакию) своего «союзнического» долга по отношению к гитлеровской Германии в войне с Советским Союзом.

Яшик уделяет особое внимание духовной эволюции поручика Яна Кляко. Для Кляко, как и для большинства рядовых солдат его батареи, эта братоубийственная война за чуждые им интересы против русских, славян — «подлое дело». Избегая прямолинейности, автор психологически обосновывает, как в сознании людей постепенно вызревала решимость перейти на сторону Красной Армии, стать в ряды участников Словацкого национального восстания.

Показателен и тот путь, который проходит немолодой уже учитель Юрай Краль в романе Веры Швенковой «Кедровый бор» (1974). Вначале этот интеллигентный и благородный человек, как пишет автор, в области морали был немного толстовцем: «Изменить мир — да, но добром, добрым словом, собственным добрым примером, упорным, терпеливым воспитанием детей в школе, постоянным самоусовершенствованием. Никогда, ни при каких обстоятельствах не противоборствовать злу насилием». Но в годы войны, когда зло торжествует окрест, он связывает свою судьбу с коммунистами (которым сочувствовал давно, но про себя считал их идеалистами), потому что видит в них единственную действенную силу, способную излечить мир от «коричневой чумы».

Национальное восстание 1944 года стало в Словакии, по существу, тем надежным критерием, в сопоставлении с которым выясняется истинная мера вещей и сущность многих последующих событий и явлений. В романе Яна Паппа «Люби время, которое придет» (1974) широко охвачен исторический материал, и хотя сценам, изображающим собственно партизанскую борьбу, отведено сравнительно небольшое место, тем не менее дух восстания пронизывает всю книгу. Там показано, как в горниле восстания закалялось коммунистическое мировоззрение Грегора Сурняка и Андрея Кузмы, как складывался моральный кодекс, помогший им выстоять и защитить свои идеалы в той «мирной» схватке с реакцией, что оказалась на поверку не менее суровым экзаменом, чем открытый бой с фашизмом. В нашем сборнике Ян Папп представлен новеллой «Братья».

Путь антифашистской борьбы избирают также Юрай Праундер и Йозеф Грач — герои романа Эмила Дзвоника «Пожарища» (1976), композиция которого, где чередуются два временных плана, подчеркивает актуальность философско-нравственной проблематики. В этом, как и во всяком по-настоящему художественном произведении о **войне,** поднимаются вопросы, одинаково важные и для **мира.** Даже если внешняя сторона такого произведения ограничивается исключительно военными событиями, то для писателя важна их внутренняя суть. Лучшие современные «военные» романы прозаиков Чехословакии и других социалистических стран можно зачастую с таким же, если не с бо́льшим, успехом определить как психологические, философские, социально-политические и т. д.

Постоянно сталкивает два времени — нынешнее и военное — чешский прозаик Мирослав Рафай в своем сборнике «Пылающий конь» (1980), откуда взят публикуемый нами рассказ «Свет в окнах». Этот прием позволил ему сопоставить многие явления современной действительности (в том числе негативные — такие, как нравственная глухота некоторых людей, потребительское отношение к жизни) с теми простыми и ясными моральными принципами, которыми руководствовались партизаны в годы антифашистской и революционной борьбы. «Это рассказы о ранах, нанесенных войной, и о том, что память о второй мировой войне жива, что она постоянно формирует и деформирует людей, о том, что все пережитое взывает к тому, чтобы всей жизнью нашей мы не допустили новой войны», — свидетельствует сам автор. О том, что война и фашизм — это достояние не только истории, напоминает и новелла Мирослава Слаха «Встреча в Граце».

В лучших современных книгах не столько эпически описывается война, сколько скрупулезно исследуется внутренний облик «человека с ружьем», его душевные переживания. Казалось бы, сугубо «военным» можно считать роман чешской писательницы Мирославы Томановой «Серебряная равнина» (1970). Здесь с документальной точностью рассказывается о боевых действиях Чехословацкого корпуса под командованием Людвика Свободы, помогавшего Советской Армии изгнать гитлеровцев с захваченных земель и участвовавшего в Киевской операции. М. Томанова сумела на избранном ею «плацдарме» в запоминающихся образах воскресить события военных лет, когда в совместной вооруженной борьбе с фашизмом ковалась советско-чехословацкая дружба. Вместе с тем писательница имела все основания так охарактеризовать свой роман: «Книга, которую вы открываете, — прежде

всего о людях, о все еще не изведанных до конца глубинах человеческого существа, диапазон чувств которого воистину безграничен: от нежной любви до всепоглощающей ненависти, от мучительного страха до поражающего воображение героизма и самоотверженности...»

Вторая мировая война с предельной остротой обнажила широкий круг идеологических, нравственных, психологических проблем, которые продолжают волновать современного человека.

Вопрос о войне и мире — острейшая проблема века, и, задумываясь над нею, люди неизбежно вновь и вновь обращаются к опыту недавнего прошлого. И поэтому тема войны продолжает привлекать художников, поэтому она нередко настойчиво вторгается в «цивильные» произведения (вот еще один довод в пользу того, что «военная проза» — понятие очень условное).

Война и в мирное время неотвратимо отзывается в памяти персонажей многих произведений — вспомним, к примеру, роман словацкой писательницы Веры Гандзовой «Отрекитесь от первой любви» (1965), где не может избавиться от груза кошмарных воспоминаний бывший узник нацистского концлагеря Виктор Бонифац. Много раз сталкивавшийся со смертью в разных ее ипостасях, он боится не смерти — он страшится «жизни в мире, который зависит от кнопки, которую может когда-нибудь кто-нибудь нажать, и тогда он останется на Земле совсем один: без людей, без их голосов, смеха, слез, молчания, радости, горя и любви... Одного человека, когда ему приходится умирать, не всегда можно спасти, но против случайностей, которые могли бы погубить весь мир, можно бороться...».

«Жизнь против **смерти»** М. Пуймановой, **«Смерть** ходит по горам» и «Живые и **мертвые»** В. Минача, **«Мертвые** не поют» Р. Яшика, «Как подобает **умирать»** Ф. Ставиноги — не случайно мотив «пляски смерти» варьируется даже в названиях этих и других произведений чехословацкой прозы о второй мировой войне. Но война трактуется художниками стран социализма не просто как «время умирать». Это суровое время, когда между полюсами жизни и смерти испытываются на прочность человеческие характеры, когда каждому приходится выбирать себе место по ту или иную сторону баррикад истории. Время отстаивать ради нынешних и грядущих поколений гуманистические ценности — если понадобится, то и попирая смертью смерть.

«Почему мы пишем о войне? — сказал однажды Юрий Бондарев. — Лично я пишу о ней не только потому, что война — тяжелейшее испытание для человечества, а потому, что мне чрезвычайно важно увидеть свой персонаж в самых сложных, самых драматических обстоятельствах, где нравственные ценности проверяются предельными обстоятельствами». «Меня интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и не технология боя, хотя все это для искусства тоже важно и интересно, но главным образом нравственный мир человека, возможности его духа», — признается и Василь Быков. Именно такими побуждениями руководствуются сегодня также писатели Чехословакии и других стран социалистического содружества.

В сферу их художественного исследования все чаще попадают персонажи, далеко не типичные для прежней прозы о войне, и достаточно необычные конфликтные ситуации, позволяющие в неожиданном свете изобразить внутренний мир героев, тонко рас-

крыть их общественные связи, добраться до сокровенных глубин человеческой психики.

Литература социалистических стран на современном этапе стремится без малейших упрощений показать все многообразие воздействий и импульсов, которыми определяются мысли и поступки людей, не обходя вниманием и исключительные случаи выбора, ибо они тоже помогают постичь типические закономерности. Реалистическое искусство не пренебрегает и тем, что сопряжено с биологической природой человека, с индивидуальными особенностями психики, включая те ее слои, что находятся за чертой сознательного, но при этом главными остаются социально-исторические связи личности.

Нередко за реалистической достоверностью произведений открывается второй, метафорический план, вызванный стремлением авторов к широким художественным и философским обобщениям. В этой шеренге стоят наделенные чертами притчи трилогия «Мастера» и повесть «Солдат» словацкого прозаика Винцента Шикулы.

При сопоставлении трилогии В. Шикулы, написанной во второй половине 70-х годов, с трилогиями В. Минача и Р. Яшика, появившимися на рубеже 50—60-х годов, наглядно проступают новые черты современной прозы о войне. Произведение Шикулы на первый взгляд более камерно, чем эпические полотна его предшественников, тем не менее оно преемственно по отношению к ним в трактовке Словацкого национального восстания как важнейшего события отечественной истории. Несомненная заслуга писателя в том, что, поведав «сагу» о мастере Гульдане и трех его сыновьях, он сумел запечатлеть движение истории в народе и роль народа в движении истории.

Дыханием истории веет и со страниц новых романов — «Благочестивый Мефодий» (1978) и «Доблестный Радуз» (1984) Милоша Крно, автора многих книг о Словацком национальном восстании. В этих романах, являющихся частями задуманного триптиха, автор показал закономерность нарастания антифашистского сопротивления в Словакии, а также дал остросатирическую (в духе «Демократов» Я. Есенского) картину нравов той буржуазной среды, откуда вышли наиболее рьяные прислужники фашизма.

Настойчивым поискам новых аспектов, открытию новых, доселе не разработанных пластов в толще «военной темы» неизменно сопутствует жанрово-стилевое обогащение литературы Чехословакии. Писатели владеют богатой палитрой изобразительных средств и демонстрируют большое разнообразие индивидуальных почерков.

В основе книг чешских прозаиков Иржи Кршенека «Дички» (1973) и Франтишека Ставиноги «Как подобает умирать» (1975) лежит сходная ситуация: и там, и там в крестьянскую семью попадает тяжело раненный русский, что в условиях фашистской оккупации создает драматическое положение и становится решающим испытанием моральных устоев каждого из членов семьи — от мала до велика. Но если роман И. Кршенека выдержан в духе традиционной повествовательной эпики, то Ф. Ставинога создал своего рода балладу в прозе — жанр, довольно популярный в литературе Чехословакии последних лет.

За минувшие годы произошла заметная активизация литературы факта о войне. В Чехословакии она проявилась в творчестве Б. Хнёупека, М. Крно, Л. Беньо, М. Иванова, М. Томановой и других авторов. Не случайно успешное освоение документа

происходит — в разных формах — в книгах о войне. Ведь именно война дала наибольшее количество потрясающих по выразительности документов, где запечатлены многообразные свойства человеческой натуры (к тому же зачастую в предельных проявлениях). Ф. Ставинога завершил примечательными словами свою «Легенду о шахтерском Геркулесе»: «Период второй мировой войны дал понятию «легенда» и иное, не раскрытое словарем значение. Однако самое главное: в этих новых легендах вообще ничего не нужно выдумывать».

Удел писателя — различить голос поэзии в языке документа или придать ему художественное звучание, подобное тому, какое нередко обретают обжигающие своей реальностью документальные кинокадры, врывающиеся в игровой фильм о войне. При этом, как известно, само по себе обращение к документу еще не гарантирует исторической достоверности. Факты требуют своей интерпретации, сопряжения с множеством других фактов и лишь на этой основе — образных и философско-этических обобщений, раскрывающих социальную действительность. Для создания таких обобщений первостепенную роль играют не только талант и мастерство писателя, но также его идейная позиция. Чехословацкая литература факта о войне и движении антифашистского Сопротивления представлена в нашем сборнике повестью Карола Томашчика «Направление — Прага» и новеллами из новой книги известного писателя и публициста, видного государственного деятеля Богуслава Хнёупека «Взламывание печатей», опубликованной к 40-летию Словацкого национального восстания.

Настойчиво заявила о себе и другая тенденция современной чехословацкой прозы о войне: на сравнительно ограниченном материале как можно глубже погрузить аналитический зонд искусства, стремясь к максимальной полноте раскрытия ярко индивидуализированных характеров, а также акцентируя моральные аспекты и общечеловеческую значимость конфликтов. Широта эпических мазков в таких произведениях уступает место тонкой графической проработке деталей.

Совместить локальный принцип изображения с философско-историческим осмыслением войны и движения антифашистского Сопротивления стремились чешские прозаики Отакар Халоупка в повести «До самого конца» (1981) и Ян Сухл в повести «Эскорт во тьму» (1983). Действие первой из них сконцентрировано до двух с половиной часов майского дня 1945 года, второй — до нескольких дней. Крайне ограниченно и количество действующих лиц — у Халоупки это шесть девушек разных национальностей, жизни которых должны быть принесены в жертву за убитых гитлеровцев, и приставленная стеречь девушек молодая немка; у Сухла два основных персонажа — захваченный в плен немецкий офицер и конвоирующий его словацкий партизан. Фабула обеих повестей обнаженно-проста, и упор авторы делают на раскрытии внутреннего мира своих героев, их нравственных позиций. Характерно, что и член Союза немецких девушек Карин в повести Халоупки, и майор вермахта Ганс Вайнер у Сухла предстают не слепыми фанатиками-фашистами. Отказ от схематизма, в том числе и при изображении врагов (что заметно и в новелле О. Халоупки «Ода «К радости»), — важная черта современной чехословацкой прозы о войне.

Ганс Вайнер, мечтающий стать писателем, предстает в повести Сухла не столько олицетворением фашизма, сколько — в извест-

ном смысле — его жертвой. Он далеко не убежденный поборник идеологии нацизма, однако основательно «подмят» ею. Опасность этой идеологии в том отчасти и заключается, что она сумела, затуманив сознание миллионов «неплохих» и «интеллигентных» людей, как Ганс Вайнер, заставить их верой и правдой работать на себя, воспитала в них внутреннюю потребность к конформизму. Не будь фашизма и развязанной им войны, может быть, и нашел бы общий язык с Гансом Вайнером (потому что он был бы другим) молодой словацкий партизан Ян Вотава; точно так же могли бы стать братьями на почве любви к Бетховену чешский школьник, обожающий музыку, и немец, сменивший фрак скрипача симфонического оркестра на форму офицера вермахта («Ода «К радости» О. Халоупки). Но в том-то все и дело, что человеконенавистническая идеология фашизма разъединяет людей, разъединяет народы, и это в художественной форме убедительно показывают чехословацкие писатели.

Принято считать, что лицо прозы определяется романом. В таком случае лицо чехословацкой прозы о войне хорошо знакомо советским читателям, ибо практически все наиболее значительные романы на эту тему чешских и словацких писателей уже переведены на русский и другие языки народов нашей страны.

Роман можно уподобить тяжелой артиллерии, но, хотя она и «бог войны», все же не только она решала исход сражения. Тут не обойтись без легкого стрелкового оружия, с которым — продолжая аналогию — следует сравнить «малые» жанры прозы: повесть и рассказ. За последнее десятилетие в Чехословакии раздалось немало удачных, снайперских «выстрелов» в этих жанрах. И благодаря им объемнее стало наше знание войны и ее последствий, полнее стало наше представление о людях, проблемах вчерашнего и сегодняшнего дня. Включенные в этот сборник произведения отражают именно нынешнее отношение к войне, которую по-разному воспринимают те, кто прошел ее немилосердными дорогами, и те, кто сохранил о ней лишь детские воспоминания или впитал принесенный ею опыт благодаря «генетической памяти» поколений.

Наиболее яркие достижения современной чехословацкой литературы связаны с жанром романа; именно в этом жанре сказано всё «главное» о героике, драматизме войны и движения антифашистского Сопротивления. Но и «малая» проза тоже внесла немало свежих штрихов в большую коллективную картину тех лет, которая создается художниками Чехословакии.

Новые авторы принесли новое видение событий, выдвинули новые проблемы. Штурм высот искусства, как и штурм безымянных высот в дни сражений, не обходится без потерь. Есть просчеты и у представленных в сборнике авторов, с именами доброй половины которых советский читатель познакомится впервые. Им приходится идти не по «минному полю» неразработанной проблематики. Наступление «новой волны» чехословацкой прозы о войне основательно подготовлено «орудиями главного калибра» — писателями, ставшими классиками. Это во многом облегчает, но и усложняет задачу тех, кто пишет сегодня. Ибо в искусстве нет проторенных дорог, и каждый хочет сказать свое слово, найти собственную интонацию, собственный «наблюдательный пункт», передать тонкие, еще не замеченные другими нюансы.

1970—1980-е годы составляют новый этап в раскрытии темы войны. Пусть не всё равноценно с эстетической точки зрения

в публикуемых нами произведениях, однако они красноречиво свидетельствуют о неослабевающем внимании чешских и словацких писателей к этой важнейшей теме. Они отражают всенародный и интернациональный характер борьбы с фашизмом («Взламывание печатей» Б. Хнёупека, «Братья» Я. Паппа, «Легенда о шахтерском Геркулесе» Ф. Ставиноги), воздают должное воинам Советской Армии-освободительницы («Направление — Прага» К. Томашчика, «Жеребенок с душой человека» П. Шевчовича, «Соната для кленовой скрипки» М. Зелинки).

Книги о минувшей войне продолжают по праву оставаться в Чехословакии в авангарде литературного процесса, ибо содержащееся в них осмысление уроков прошлого ведет к углублению современной концепции истории, концепции личности. Книги эти постоянно стимулируют также рост жанрового многообразия прозы, расширение арсенала используемых в ней средств художественной изобразительности.

Есть несомненная закономерность в том, что прозаики Чехословакии и других стран социализма, пишущие о второй мировой войне, выступают столь часто в качестве разведчиков на литературном фронте в поисках максимального сближения правды художественной с правдой истории, жизни. К этому их побуждает грандиозность и ответственность темы, незатухающее пламя памяти народной.

Документальное начало и углубленный психологизм прозы о войне призваны дать читателю ощущение определенного «момента истины». Истины о днях, которые потрясли мир; истины не просто о крупнейшей в истории битве, но о борении противоположных идеологий, полярных систем моральных ценностей и принципов. А главное — истины о настоящих людях, прошедших жестокое испытание войной и извлекших из этого испытания уроки. Такую истину, продолжая художественное исследование человека и меняющейся социальной действительности, несет литература Чехословакии.

Вторая мировая война изобиловала критическими ситуациями, и настоящему художнику они дают материал не для хладной беллетризации истории, а для образного выражения социально-нравственного императива эпохи. Успехи пишущих о войне чешских и словацких авторов связаны в первую очередь с воплощением четкой концепции реального гуманизма.

Их произведения продиктованы также заботой о будущем и сейчас, когда возросла угроза миру на планете, приобретают особую актуальность, ибо пронизаны страстным фучиковским призывом: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»

Святослав БЭЛЗА



1

Эскорт во тьму

Лесистые вершины четко рисуются на фоне высокого прозрачного неба, словно художник старательно обвел их тушью. Кустарники, которые по склонам подступают к лесам, и лиственные деревья, тонущие в темно-зеленой гриве ельника, из последних сил пылают огненными красками поздней осени. В горах еще держится мягкое бабье лето, но над рекой и в узких горных долинах с раннего вечера до позднего утра уже белеют клочья тумана — предвестники туманных, дождливых дней и осенней слякоти.

Над краем тускло тлеет хилое солнце, в его косых лучах горят пожаром грозди рябины и густо усыпанные ягодами кусты шиповника, обещая суровую зиму.

День на исходе, солнечный диск катится к горизонту. Вырубки затихли, обезлюдели, работы на полях закончились, только откуда-то из-под леса слышится протяжный, как бы причитающий напев и временами — ауканье. Ленточка дыма лениво протягивается сквозь лещину и выдает близость пастушонка. На травянистом склоне заяц то и дело присаживается на задние



лапы, видно, он не очень доверяет этому покою. Грызнет стебелек — и тут же насторожит уши в сторону ближнего ельника.

И в самом деле, наблюдательный глаз заметил бы в поросли, которой заканчивается лес, едва заметное движение. Заяц на всякий случай убирается в безопасное место. Крайние деревца, отделяющие молодые елочки от кустарника на меже, дрогнули, затрещала хвоя. Из-под раздвинутых ветвей выглянула одна голова, вторая, третья. Трем парам мужских глаз открылся широкий вид на долину. Поверх узких горизонтальных полосок недавно убранных и по большей части уже лущеных полей мужчины глядят вниз, где узкая горная река спешит к излучине, из-за которой выглядывают первые крыши городка.

Двое приставили к глазам бинокли. Но даже невооруженному глазу отлично виден белый арочный мост, по которому шоссе пересекает реку. Посредине моста стоит чугунная статуя Яна Непомуцкого, на обоих концах прохаживаются немецкие часовые. А чуть повыше,

метрах в двухстах против течения реки, — объект, к которому приковано внимание наблюдателей: лесопилка с густыми рядами штабелей пиломатериала по обе стороны дороги, ответвляющейся от шоссе.

Непрерывное движение пильных рамок наполняет воздух монотонным, приятным на слух жужжанием, к которому ухо быстро привыкает, а затем вообще перестает замечать его; он воспринимается как неотъемлемая принадлежность этой долины.

«Сколько же здесь рамок, три или четыре?» — пытается угадать Ян, не отводя бинокля от глаз. Пожалуй, три, решает он наконец. И все же он не совсем уверен, все-таки не один год прошел с тех пор, как он помогал дяде у пилорамы там, по ту сторону Бескид.

Время от времени в однообразный звук пил вмешивается гул автомобильного мотора. Меньше чем за час (в течение которого велось наблюдение) на лесопилку приехало шесть немецких грузовиков: достаточно сопоставить это число с двумя местными возчиками и одним одышливым газогенераторным драндулетом, чтобы понять соотношение лесопоставок на военные и гражданские цели.

День близится к концу, тень леса шаг за шагом спускается в долину. Когда ее ломаная линия дотянулась до шоссе, а последние солнечные лучи озарили гребень противоположного склона, Горан встал.

— Позови Бориса и Павла, — сказал он Яну.

Ян убирает бинокль и протискивается в чащу. Вскоре он возвращается с остальными двумя членами группы, прикрывавшими их с тыла.

Опершись спиной о молодую ель, Горан молча ждет, пока все четверо из его группы расположатся вокруг него. Потом обобщает результаты наблюдения:

— Немцы есть только на мосту. На пилораме охраны нет. Но скорее всего будет ночной сторож.

— И с собакой, — дополняет (по-русски) Борис.

— Да, пожалуй, — соглашается Горан.

— А в городе немецкий гарнизон, — напоминает Штефан.

— В составе роты, — кивает Горан.

— Тогда, может, незачем возвращаться в лагерь с тем, что мы знаем?

— Сами справимся.

Горан молчит, его лицо с крупными, резкими чертами непроницаемо.

— Слышишь, Горан, сами справимся.

— Ладно, — решает Горан после недолгого размышления.

Словак Штефан довольно ухмыляется:

— А я что говорил, мне-то эти места знакомы.

Он вдруг сразу оживился.

Стемнело.

Пять человек полулежат, полусидят под низкими ветвями, одни жуют черствый хлеб, запивая его из фляжек, другие дремлют, съежившись в куртках, сквозь которые проникает холод октябрьской ночи.

Командир подносит к глазам светящийся циферблат больших наручных часов. Потом беззвучно зевает, потягивается, встает. По привычке дает знак рукой, хотя его не могут увидеть даже стоящие рядом. Один за другим они тихо выходят из леса и осторожно спускаются вниз, к лесопилке, которая давно уже умолкла и погрузилась в темноту. Горан и Штефан идут впереди. Дома на окраине городка закутались во тьму, ни одна полоска света не просачивается сквозь тщательно затемненные окна, словно за ними прекратилась жизнь. И леса стоят до неправдоподобия тихие и молчаливые. «Не слишком ли много тишины?» — думает Ян.

Штефан ведет товарищей вниз по склону к шоссе, они осторожно ступают, чтобы не поскользнуться на росистой траве.

Над шоссе Горан оставляет Павла. Укрывшись за стволом одного из старых ясеней, он будет прикрывать их с тыла.

Надо бы оставить сзади двоих, корит себя в душе Горан, долго ли до греха — но кто знает, что ждет на лесопилке. Он не совсем разделяет уверенность Штефана, что все пойдет как по маслу. Вместе с остальными тремя он спускается в кювет и пересекает шоссе. У первого штабеля досок они останавливаются и опять прислушиваются. Похоже, со стороны города и от моста опасность не угрожает. Сейчас их больше тревожит не немецкая охрана на мосту, а мысль, что где-то здесь, в темноте, сторож с собакой. Отчасти их успокаивает, что лай, который время от времени доносится от домов на реке под лесопилкой, остается без ответа. Если бы здесь был пес, он бы наверняка откликнулся — если только он не дрессированный. На всякий случай они пробираются к зданию лесопилки против ветра. Теперь в нескольких шагах впереди идет Борис, который счи-

тает себя специалистом по эсэсовским собакам, дрессированным на человека, — именно поэтому ему удалось бежать из лагеря для русских военнопленных; за ним шагает Штефан, а уже потом Горан с Яном. На углу здания они останавливаются. И тут слева раздаются шаги. Медленные, тяжелые шаги — человек, несомненно, идет один, ничего не опасаясь, ступая на всю ступню. Горан облегченно вздыхает. Борис прячет нож, дает Штефану знак, коснувшись его руки, прыжок — и ночной сторож «обезврежен». Штефан убирает руку от рта старика, предварительно велев ему не поднимать шума. Но можно было и не предупреждать, дед весь трясется в страхе и послушен как овечка.

— Собаки нет? — осведомляется Штефан.

— Нету... Что вам нужно? — заикаясь, произносит дед (по-словацки, так же, как и Штефан).

— Не бойтесь, папаша, ни денег, ни вашей жизни нам не нужно, — успокаивает его Штефан. — Покажите нам машинное отделение.

— Прошу вас, ничего здесь не делайте, — бормочет старик, который уже все понял. — Они же меня расстреляют.

— Спокойно, ничего с вами не сделают. Так где машинное отделение?

Сторож громко вздыхает:

— Там, за углом.

— Тогда пошли, пошли, — нетерпеливо подталкивает его Горан, — у нас нет времени.

Старик остановился перед дверью, светлые некрашеные доски которой образовывали во тьме бледный прямоугольник.

— Здесь.

И он нерешительно стал рыться в кармане, в котором забренчали ключи.

— Давай, — Борис протянул руку. — Который?

Сторож выловил из связки большой ключ, Борис нетерпеливо схватил его, нащупал замочную скважину, повернул ключ, потом осторожно нажал на дверную ручку и навалился плечом.

— А ч-черт, скрипит, — прошипел он и стал медленно, сантиметр за сантиметром открывать дверь, стараясь, чтобы не визжали петли.

Три человека исчезли в темном проеме, четвертый, Ян, остался со сторожем у входа.

— Слушайте, дедушка, — обращается он к дрожаще-

му старику, — теперь суньте-ка себе в рот носовой платок... есть он у вас? Есть, отлично, я повяжу поверх него свой платок, руки вам свяжу за спиной шпагатом — и можете улепетывать. — Говоря, Ян последовательно выполняет все эти операции. — Вот так. — Он затягивает последний узел и придерживает деда, который уже норовит улепетывать во все лопатки. — Минуточку! Сначала пусть вернутся ребята. А уж тогда рванем отсюда все вместе.

Сторож покорно стоит, прислонившись к дверной раме, а Ян настороженно прислушивается. «Затишье перед бурей», — думает он. Он обшаривает глазами тьму и постепенно различает черные пятна штабелей, проступающие на фоне более светлого пространства. При этом он для верности придерживает старика за локоть, чтобы тот не натворил каких-нибудь глупостей. Ему немного жаль дедулю, которому наверняка уже за семьдесят, но что поделаешь; в конце концов ничего со стариком не случится; не проболтается, черта с два разберутся. Время от времени от моста доносится скрип песка под окованным каблуком немецкого солдата, топчущегося на ближнем конце моста. «Ну, немчура, сейчас будет вам фейерверк», — мстительно думает Ян. Хотел бы он видеть лицо этого немчика, когда начнется весь тарарам. Только бы все вышло как надо, только бы ребята не напортачили. Штефан привел нас на место кратчайшим путем, уверенно провел через горы, жалко, если окажется, что мы зря тащились сюда. Ян прижимает голову к двери, ощущая щекой шероховатость неструганых досок и принюхиваясь к аромату смолистого дерева. Внутри тишина, словно его друзья провалились куда-то в глубины земли. «Тихие как мыши», — одобрительно думает Ян и чувствует, как его начинает разбирать нетерпение. И от этого щедрого смоляного запаха, которым он захлебывается, оно становится еще больше. «Спокойно, — говорит он себе, — спокойно, все будет хорошо».

Потом он снова вслушивается в темноту и втягивает в себя аромат свежей смолы. Из глубокой тихой ночи словно бы и в него вступает ощущение безмерного покоя и какой-то утихомиренности. Старик рядом с ним с хрипом втягивает в себя воздух. Этот странный, тревожный звук пробуждает в памяти Яна давнее воспоминание. Отец тогда заболел. Началось с невинных болей в пояснице. «Перетрудился, видно, когда пни корчевал,

придется помассировать как следует». Но испытанные мамины массажи не помогли, а когда отца стало упорно лихорадить, пришлось вызвать доктора. «Воспаление почек», — заявил доктор; через три дня, когда пациенту стало хуже, он констатировал еще и плеврит, а затем, словно и этого было мало, добавилось воспаление легких. Доктор Мандак, который ежедневно (хотя и был в годах) пробивался к ним на лыжах сквозь февральские метели, теперь надеялся только на компрессы, «горячие на бока, холодные на грудь, днем и ночью, не переставая, пани Вотавова, не переставая, не прекращайте, пока я не скажу». И мать двигалась как в заколдованном кругу — с горячим кирпичом, закутанным в тряпки, и грелкой с ледяной водой — между плитой, умывальником и больным, который, раскаляемый снаружи и внутри, проклинал ее вместе с доктором и норовил выбраться из постели. А в тот жуткий вечер критического девятого дня, когда должно было решиться все, когда замученный отец, собрав последний остаток сил, взбунтовался и со страшным воплем: «Дайте спокойно умереть!» — вырвался из маминых слабеющих рук, — тогда словно по повелению свыше в дверях появилась статная, крепкая фигура тети Фанды. Ян так никогда и не узнал (хотя, впрочем, и не доискивался), что было между ней и родителями, почему до тех пор они не общались. А тогда, в ту призрачную ночь, она пришла, никем не званная, сильными, уверенными руками втиснула отца в кровать, отправила мать отсыпаться и сама завершила сверхчеловеческую борьбу с тремя воспалениями.

Энергичная, неразговорчивая тетя Фанда, которую он не мог представить себе без плетеного короба на спине, полного фартуков, платков, блузок, юбок верхних и нижних, лифчиков и плательных тканей, с которыми она исходила белый свет, потому что тетя Фанда была коробейницей с тех пор, как ее муж не вернулся из русского плена, где, говорят, он нашел себе другую, а тете Фанде осталось рассчитывать лишь на себя. Статная, стройная, бесстрашная, но при этом все еще женственная и миловидная, она сумела справиться с бродягой, который однажды напал на нее на безлюдной дороге, чтобы отнять трудно заработанные деньги. Если до той поры Ян глядел на нее с какой-то боязливой робостью и любопытством, то после той ночи, когда она появилась как ангел-хранитель, он безгранично полюбил

ее. Ян почти верил, что, если бы не тетя Фанда, отца не удалось бы вырвать у безносой. До сих пор Ян слышит, как на другой день доктор Мандак произнес чудесные слова: «Мы выиграли!» До сих пор Ян видит доктора у отцовской постели, до сих пор в его ушах раздается хриплое дыхание отца, погрузившегося в долгий целительный сон. Где-то там, на пороге юности, началось его глубокое сыновнее чувство к отцу. Чувство, которое с годами все крепло. Даже здесь, далеко от родного дома, отец занимал все его мысли.

Ян вздохнул и, вздрогнув, очнулся, прислушался. Нет, пока еще ничего не произошло.

Три человека работают споро, не шумя. Борис светит фонариком, а командир и Штефан Юрда, слесарь, мастер на все руки, специалист по взрывчатке, закладывают заряды под приводные механизмы: четыре агрегата тускло поблескивают черным металлом, пахнут битумной изоляцией и маслом. Искушенный глаз Юрды видит, что механизмы находятся в отличном состоянии; подумать только — сырой подвал с нештукатуренными каменными стенами, с опилками, насыпавшимися со щелястого потолка, сколоченного из грубых досок, между балками протянули свои сети деловитые пауки, а вот электромоторы стоят чистые, без белесого налета, хорошо смазанные — и у мастеровитого Штефана невольно сжалось сердце. Черт побери, до чего жалко, после войны они нам понадобятся. Но достаточно было привычной мысли, которая всегда помогала ему при таких подрывных операциях: кому эти машины служат сейчас? — и угрызениям, жалости пришел конец, и руки хладнокровно и надежно прикрепили смертоносные заряды, которые в один миг превратят эти прекрасные механизмы в груду металлолома.

Они экономно протянули запальные шнуры — только-только, чтобы успеть исчезнуть; материала было в обрез, тут поневоле станешь скупым. Горан уже готов чиркнуть спичкой, но тут Юрда остановил его.

— Погоди! — сказал он и взял у Бориса фонарик. Осветив стену, он нашел распределительный щит, поколдовал над ним. — Вот теперь можно! Я в наш фейерверк включил и динамо, — сказал он в ответ на вопросительный взгляд Бориса.

Командир поджег шнуры.

Четыре огненных язычка неуверенно заплясали,

прежде чем утвердиться на шнурах, а затем уже отправились в предназначенный им путь.

Партизаны отступали к лестнице. Вдруг Борис споткнулся, фонарь вылетел у него из руки, ударился о балку и погас. Их окружила полная темнота. Лишь у противоположной стены зловеще плясали четыре желтых язычка. Штефан выругался.

— Спичку! — свистящим шепотом произнес он, шаря по своим карманам.

Но Борис и Горан опередили его, две спички вспыхнули почти одновременно.

— Туда, — показал Юрда и, пригнувшись, чтобы не задеть головой балку, бросился к деревянной лестнице, над которой едва виднелась дверь. Очутившись на первой ступеньке, он остановился и снова стал искать спички, готовясь посветить товарищам. Но в этом не было нужды, подвал был не так уж велик, и те двое при свете догорающих спичек вмиг оказались на лестнице.

— Дуй! — подтолкнул его Горан.

Юрда еще успел оглянуться, но огоньки уже скрылись за углом. Ничто больше не могло остановить их. Впрочем, достаточно будет, если взорвется хотя бы один заряд, остальные три детонируют вслед за ним. Стопроцентная гарантия! Он взбежал по ступенькам и осторожно открыл дверь.

— Готово? — спросил Ян.

— В порядке, — сказал Юрда и глубоко втянул в себя воздух.

— Ну, бегите! — Ян хлопнул сторожа по плечу.

Увидев, что партизаны исчезают во тьме, дед побежал кратчайшей дорогой в городок. У шоссе к четверке присоединился Павел.

— А теперь поживее, — сказал Юрда, — вот-вот начнется веселье.

Командир оглянулся. Лесопилка терялась во тьме.

— Ну, ребята, смываемся.

Теперь нужно лишь одно: как можно скорее затеряться в лесу. У кустов орешника он обернулся. Любопытство было сильнее его. Пожалуй, даже не любопытство, а скорее желание собственными глазами увидеть результат своей работы. И остальные тоже молча остановились, они чувствовали то же самое.

«Пора бы уже и грохнуть, — забеспокоился Юрда, — не дай бог, если мы чего-нибудь напортачили», — и он невольно сунул руку за отворот куртки, где у него

был нашит карман с «хлопушками», как он их называл. «Может, на один-два заряда еще хватит...» Он не закончил свою мысль, потому что в этот миг в нижних окнах здания вспыхнул резкий желтый свет. В течение следующей секунды разрушительная стихия как бы замерла, набирая силу, а затем тишину раскололи четыре взрыва, слившиеся в один громовой раскат, за которым последовал буйный фейерверк. В ослепительном серно-оранжевом сиянии было видно, как разломилась пополам крыша здания и ввысь взлетел огненный гейзер, отливающий всеми цветами радуги. Гонт, доски и целые куски крыши разлетелись во все стороны, как пучки горящей соломы, огромный сноп багровых искр рассыпался и окропил весь двор лесопилки.

Ян глядел на этот спектакль как зачарованный. Наверное, т а м было то же самое, подумал он. Только в несравненно большей мере. Больше огня, больше взрывов. И люди. Не как зрители, нет. Люди, гибнущие в этом аду сотнями и тысячами. И среди них — мой отец.

«...люди говорили, что самолеты сбросили все бомбы на Гамбург и возвращаются порожняком. Так оно всегда и бывало, ну мы и не пошли в бомбоубежище как всегда. Глядим мы на них, и я слышу, как Милан говорит: «Идут налегке, видите, как высоко поднялись». И вдруг вижу: первый сбросил что-то. Я говорю: «Господи помилуй, мужики, они будут бомбить». И тут началось: один самолет за другим сбрасывал бомбы с этой высоты на город. Мы бросились в какой-то сад, я лежал, укрыв голову руками, лицом в траве, кругом все рушилось... Когда я потом встал, Милана и Иожи не было видно, нигде их не было. Кругом одни воронки да развалины. Весь город горел...»

Ян содрогнулся и отвел глаза. До сих пор в ушах у него звучало дядино свидетельство, бог знает почему оно звучало виновато, словно дядя стыдился, что об этом рассказывал он, а не отец, что это он вернулся, а отец остался в том горящем аду.

Со стороны моста раздались выстрелы: охрана открыла бестолковую, тревожную пальбу. Лесопилка горела, как большой стог сухой соломы. Огонь освещал мост и шоссе, красное зарево отбрасывало слабый отблеск даже на тот склон, где они стояли. Ян видел, как жадно глядели партизаны на дело рук своих. Они казались ему воплощением справедливой мести. «Отец тоже бы обрадовался», — подумал он.

— Пошли, — сказал Горан.

— Жаль, — вздохнул Павел, — такого роскошного фейерверка я еще в жизни не видел.

До леса уже рукой подать. Разгоряченные губы уже ловят его ароматную прохладу. Все хрипло дышат, взятый темп невозможно долго выдержать, но никто не сбавляет шага. Выбиваясь из сил, они молча мчатся вперед, потому что снизу доносится гул подъезжающих машин и лай собак — похоже, по их следу собираются пустить овчарок. Очевидно, немцы без колебаний отнесли пожар на счет партизан. В небо взлетают осветительные ракеты, но без толку — долину уже заполняет белая пелена тумана. Ракеты пробивают эту пелену, их светящиеся осколки тонут в ней, как в перине.

Ян испуганно оглянулся, но страх, что ракеты помогут немцам напасть на след группы, тут же исчез, когда он увидел эту красивую, но ничуть не пугающую картину: слой тумана пробивают огненные клубки, рассыпаются в вышине на сверкающие звездочки, а те падают на волнистую поверхность клубящегося тумана. От этих ракет было не больше проку, чем от безобидных бенгальских огней на рождественской елке или на сцене любительского театра. Пусть фрицы изводят порох сколько душе угодно, если им больше делать нечего. Впрочем, даже если бы была ясная ночь, ракет уже можно было не бояться, партизаны вне их досягаемости, в надежном укрытии орешника, шиповника и боярышника.

И наконец они в лесу. Ноги уже не скользят больше по росистой траве; по твердой, сухой тропе можно идти уверенно и быстро, несмотря на темноту. Они по-прежнему идут под углом к горному хребту, кратчайшим путем, ведущим к базовому лагерю. Собачий лай и стрельба умолкли, немцы прекратили преследование, если они вообще пытались что-то сделать — ночью они не рискуют соваться в лес; давно погасли ракеты, где-то внизу остались взорванная лесопилка и суматоха проснувшегося городка.

К рассвету они уже далеко от места удачной операции, которая была совершена неожиданно, ведь им, собственно, поручалась только разведка. Иногда Яну кажется, что ничего этого не было, что события вчерашнего вечера привиделись ему в каком-то ярком, выпуклом сне. А теперь он чувствует, как ноги его тяжелеют с каждым шагом. У какой-то расселины в ска-

ле он остановился и кивком головы дал понять командиру, что здесь не грех бы и передохнуть.

Горан посмотрел на остальных и, увидев, как нужен им всем хотя бы минутный передых, привалился к скале. Они скрутили нечто отдаленно напоминавшее самокрутки и с блаженным видом задымили. Ян не курил, он растянулся в траве, сорвал стебелек тимофеевки и задумчиво жевал его.

«...дома, парень, лучше не показывайся. Это было бы неосторожно, да и мама, пожалуй, переживала бы, если б ты ей сказал, куда подался. После этого несчастья с отцом она чуть рассудка не лишилась. А теперь все страшится, чтобы с тобой не случилось того же, что с отцом. Я ей говорю, что пограничные города американцы не бомбят, потому что после войны они опять будут нашими, там, мол, ты в безопасности, но кто может ей поручиться... Вы с Павлом как-нибудь проберетесь в Словакию, вы здешние, все тропки знаете, проскользнете у немца под носом. Особенно Павел, он уже побывал там не раз, я-то знаю. Если б не покалеченная лапа, я бы с вами пошел, у меня с этими гадами тоже есть кой-какие счеты...» В глазах у дяди вспыхнул и погас огонек ненависти и бессильного гнева. Он мнет левой рукой изувеченный локоть, которому никогда уже не выпрямиться. Тот роковой налет оставил о себе памятку до самой смерти. Когда он проклинал свое увечье, тетя прикрикнула на него: «Не гневи бога, не греши! Слава богу, что хоть таким вернулся. Могло кончиться и хуже». Да, для отца с Миланом кончилось хуже, они там остались.

Ян выплюнул травинку и попытался ни о чем не думать, выключить мозг, выключить все мышцы и нервы, все тело, расслабиться, до последней капли использовать эти драгоценные минуты отдыха. Слиться с землей, с дыханием леса...

— Подъем!

Ян так и не понял: то ли ему удалось так безупречно выключить сознание, то ли он уснул и проспал минуту или полчаса. Во всяком случае, очнулся он мгновенно и чувствовал себя освеженным.

Молча, настороженно (это уже было у них в крови) они продолжали свой путь: первым идет Штефан Юрда в качестве передового дозора, на расстоянии зрительной связи с ним идет Ян, посредине Горан, затем Борис, цепочку замыкает Павел Рис. Такой растянутый

походный строй они считают наиболее безопасным, на случай любой неожиданности у них точно распределены все задачи. Прежде чем приступить к крутому подъему к вершине хребта, под которой укрылись семь землянок базового лагеря, им нужно пересечь неподалеку от седловины еще один проселок, проложенный вдоль речки в тесном ущелье. Штефан дает им знак остановиться, затем машет рукой. Ян и Горан приближаются к нему. Штефан распластался на небольшой скале, обросшей мхом и брусничником, и рассматривает дорогу.

— Порядок, можно идти.

Уже готовые соскользнуть со скалы, они вдруг замирают, переглядываются. В легкий шелест леса и всплески реки вмешивается новый звук. В самом нижнем из видимых изгибов дороги появляется коляска, запряженная парой лошадей. Юрда с Гораном, как по команде, берутся за бинокли и тут же переглядываются, словно не могут поверить своим глазам. В самом деле, то, что они увидели, кажется неправдоподобным. В легкой открытой бричке расположились за спиной кучера три немецких офицера. Кони идут спокойным шагом, возчик их не подгоняет, голова его покачивается, кажется, он задремал, а те трое уютно устроились в плетеном кузове, словно выехали на загородную прогулку. Похоже, немцы и в самом деле вздумали прогуляться.

— Который слева — майор, — сообщает Штефан.

— А рядом с ним лейтенант, — дополняет его Горан, не отрывая глаз от окуляров бинокля.

Знаки различия третьего, сидящего к ним спиной, пока разобрать невозможно.

— Старший лейтенант, — деловито докладывает Юрда, когда коляска поворачивается к ним боком.

— Ложись, ребята, — командует Горан, заметив, что Ян высунул голову больше, чем рекомендуется в таких случаях. Ему все еще не верится, что немецкие офицеры способны путешествовать так запросто, без прикрытия. И не в машине, а в коляске. Правда, в удобном, ухоженном, по-старомодному изысканном ландо, но все же это средство передвижения по нынешним временам считается ленивым, малоподвижным, а значит, и опасным. Или, может, эта немчура все еще так самоуверенна, что с олимпийским спокойствием выставляет себя напоказ всюду, где ей только вздумается? И эта дерзость, вопиющая к небу или скорее требующая достойного ответа, заставила Горана принять решение. Пода-

вив приступ гнева, он начал размышлять расчетливо и трезво. Пятеро против троих, момент неожиданности, место удобное, риск практически равен нулю. Не использовать такой шанс было бы преступлением.

Знак Павлу и Борису, несколько слов — и всем всё ясно.

Горан с Яном перебегают дорогу, на этой стороне остаются Павел с Борисом, а наверху, на скале, с автоматом, направленным на дорогу, лежит Штефан Юрда и довольно усмехается. «Горан распорядился именно так, как распорядился бы и я, он все сделал на мой вкус. А эти-то, ведь они прут прямо в руки! — И когда упряжка показалась из-за ближнего поворота и выехала на прямую, Штефан пробормотал про себя: — Ну-ну, давайте, голубчики, давайте, сейчас будет вам музыка. Вы у меня попляшете!»

Между тем внизу Горан напоминает своим:

— Стрелять только в воздух! Будем брать живыми.

Его соблазняют эти чины, особенно майор, такой улов уже имеет свою цену: хотя бы даже как урон, нанесенный неприятелю; или как материал для обмена — за майора ведь можно немало запросить; и наконец, заполучить «языка» в таком звании... если только это не канцелярская крыса, которая по знакомству устроилась в тылу, чтобы переждать здесь войну. «Ну и то ладно, — рассуждает Горан, — мы тебе хотя бы покажем, что даже тыл для вашего брата небезопасен. Если кто-то нарывается на хорошую взбучку, почему не уважить?»

В просвет между ракитой и огромным валуном Горан наблюдает за белой полоской дороги. Головы обоих коней выглянули из-за последнего поворота, они равномерно кивают и светят белыми звездочками. Оба рысака идут легко, без напряжения везут коляску по прямой дороге, ведущей вверх, к седловине. Они приближаются, и Горан явственно видит, как над коляской поднимаются две ленточки дыма. Двое на заднем сиденье спокойно покуривают. «Дадим им подъехать вплотную вот к этой елочке». Он поднимает руку, чтобы Павел на той стороне дороги приготовился.

Пора. Горан резко опустил руку и выскочил на дорогу.

— Хенде хох!

Три автомата нацелены на коляску: спереди, сзади, сбоку.

Павел вскочил на облучок, выхватил у кучера вожжи и стал успокаивать коней.

Двое на заднем сиденье медленно, оторопело поднимают руки, забыв выкинуть сигареты, в то время как рука старшего лейтенанта тянется к правому боку, но повторное «хенде хох!» и взгляд наверх, на скалу, откуда Юрда держит его под прицелом, убеждают и его, что сопротивление было бы чистым самоубийством.

Обошлось без стрельбы, без лишнего шума.

— А теперь вниз! Слезайте, шнель, шнель!

Пленники выбираются из коляски один за другим, неохотно, озадаченно, уныло; их тут же обезоруживают, у каждого было только по пистолету, а Борис выудил из-за сиденья автомат.

В то время как партизаны, подталкивая, уводят офицеров с дороги в лес, Павел передает обалделому кучеру вожжи, соскакивает на землю и кричит: «Н-но!» Разгруженная коляска, покачиваясь на рессорах и поскрипывая, трогается вверх по дороге. Павел смотрит ей вслед и невольно заливается смехом: кучер сидит на облучке скованно, втянув голову в плечи, неподвижный, как чучело. Затем Павел бежит в лес догонять своих. Тем временем партизаны связали пленным руки и выстроили их. Опять метрах в двадцати впереди идет Штефан Юрда, за ним Ян, Горан и Борис (перед каждым идет его пленный), а на подходящей дистанции следует Павел Рис с двумя автоматами: свой он держит в руке, трофейный заброшен за спину.

Яну достался лейтенант, худой и бледный юнец с соломенными волосами. «Отличный нордический экземпляр», — думает Ян. Борису Горан поручил присматривать за щеголеватым малорослым старшим лейтенантом, а себе взял майора, удивительно молодого для такого звания—лет тридцати, не больше. Тот попытался было протестовать, но Горан решительно и красноречиво провел дулом автомата по его груди.

Меньше чем через три часа группа была в лагере. На подходе они завязали немцам глаза.

Горан, не обращая внимания на любопытные взгляды и вопросы, направляется прямо к капитанской землянке.

— Пленных пока отведите в мою землянку, — говорит он Павлу, но тут же спохватывается: — Вообще-то нет, разместите их порознь, так вернее будет. Потом увидим.

У входа в землянку сидит на чурбаке дежурный и греется на солнышке.

— Капитан спит, — предупреждает он Горана.

— Не беда.

Горан наклоняет голову, отдергивает полог из брезента и спускается вниз по ступенькам. Подождав, чтобы глаза привыкли к темноте, он чиркает спичкой, зажигает керосиновую лампу на столе. Подходит к нарам и трогает капитана за плечо.

— Йожко, Йожко!

Капитан открывает глаза, смотрит на Горана, садится.

— Это ты? — Он откидывает одеяло, садится на нарах. — Ну что?

Горан садится рядом и описывает ему события вчерашнего вечера и сегодняшнего дня.

Капитан внимательно слушает, его усталое лицо оживляется.

— Дружище, вот это новости!

— С лесопилкой покончено, это дело ясное. А вот какой прок будет от этой троицы, особенно от майора, — это еще нужно посмотреть.

— Посмотрим, что за птица. Веди его сюда.

Горан вышел, а капитан Йозеф Кепка надел мундир и нахлобучил пилотку. Он вывернул побольше фитиль лампы, но тут же погасил ее, вспомнив, что на дворе уже день; откинул дверной полог, открыл ставень. В землянке сразу стало светло, солнечные лучи упали на узкую, грубо сколоченную столешницу, посаженную на четыре кола, вколоченных в землю, на нары по обе стороны от стола. Капитан сел на те из них, на которых недавно спал, и стал ждать. Вскоре вход потемнел, вошел вначале Горан, за ним дежурный втолкнул в землянку майора.

— Садитесь, — не вставая, предложил капитан Кепка майору и показал на противоположную лежанку. Он отлично говорил по-немецки, так как четыре года прослужил в Либерце и за это время перезнакомился не с одной девушкой-немкой.

Майор не стал садиться, но ему пришлось слегка согнуться в коленях — он был довольно высокого роста, и фуражка задевала жерди настила.

— Я протестую! — Он энергично поднял правую руку.

Капитан улыбнулся: в этом своем полуприседе немец выглядел довольно комично.

— Садитесь, так будет удобнее, — повторил он, продолжая улыбаться, — побеседуем.

Майор понял, чему улыбается Кепка, и сел, подавляя в себе злость.

— Я протестую самым решительным образом!

— Позвольте узнать: против чего?

— Против всего, — взорвался майор, — против нападения на коляску, против нашего похищения, против того, что нас так постыдно притащили в эти... в эти норы. Я категорически требую, чтобы нас немедленно отпустили!

Кепка глядел на него все с той же веселой улыбкой.

— Ты тоже садись, — сказал он Горану и подвинулся.

— Господин майор, вам следовало бы знать, что военнопленных или обменивают, или освобождают только по окончании войны, — обратился капитан к своему визави.

Немец нахмурил брови и наклонил голову, словно он плохо слышал.

— Я вас не понимаю, ведь мы не находимся в состоянии войны с вашей страной. Наоборот, мы с вами сотрудничаем. Доказательством может служить хотя бы то, что мы здесь находимся на лечении на вашем курорте. Я действительно вас не понимаю.

Капитан все еще улыбался. Вообще он охотно улыбался, как бы по привычке. Разобраться в шкале его улыбок умели лишь те, кто хорошо его знал.

— Ну-ну, вы же понимаете, я думаю, вы отлично понимаете, если же нет, то я постараюсь, чтобы вы поняли как можно быстрее. Вы находитесь на территории Чехословацкой республики, а это государство находится в состоянии войны с вами, как и наши союзники. Наши солдаты сражаются с вашей армией на востоке и на западе, а мы начали борьбу с вами и здесь, у себя дома. Ясно?

— Но ведь вы, вы не регулярная армия, вы... — Майор запнулся.

— ...бандиты, — закончил вместо него Кепка. — Для вас мы бандиты. Но только у нас с вами разные словари. Мы партизаны, а вы для нас — оккупанты. Мы приняли такой способ борьбы, какой вы нам навязали.

— Повторяю, вы не имеете права...

— Имеем, имеем. И, кроме права, у нас есть сила. Короче, вы в наших руках. Будьте любезны принять это к сведению. Теперь можно и продолжать. Ваше имя?

— Это что, допрос? — вскинулся майор.

— Совершенно верно. И я бы вам посоветовал не молчать, а говорить правду, вам это пойдет только на пользу. Итак — имя!

Некоторое время майор упорно разглядывал свои руки, зажатые между колен. Затем поднял голову посмотрел в глаза Кепке.

— Ладно. Ганс Вайнер.

— На каком курорте вы лечитесь?

— В Корытнице.

— После какого ранения?

— Ранения? Почему ранения? Я ни разу не был на фронте.

— Странно.

— Что в этом странного?

— А то, — задумчиво сказал капитан, — что после пяти лет войны, после тотальной мобилизации, когда у вас призывают стариков и несовершеннолетних юнцов, мне это кажется странным, а вам нет.

— Не каждый может служить на фронте.

— Не может или не хочет, — утвердительно кивает Кепка. — Например, большие шишки или специалисты. — Но тут же до него доходит, что этого не следовало говорить вслух, и он поспешно задает следующий вопрос: — Сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

«Ну что ж, я не очень промахнулся, когда дал ему лет тридцать», — думает Горан.

— Двадцать восемь — и уже майор? — искренне удивляется Кепка. — Не слишком ли рано?

— Смотря для кого, — отрезал немец.

— Видно, у вас влиятельные дядюшки, — поддевает его Кепка.

Майор отвечает пренебрежительной улыбкой.

— Чем вы занимались на гражданке? Или, может, вы профессиональный военный?

Этот вопрос несколько выводит пленного из равновесия. Он молчит, думает. Кепка внимательно наблюдает за ним, и ему кажется, что он затронул что-то важное. «Да, приятель, — думает он, — кабы знать, что ты за птица, тогда можно догадаться, чем ты здесь занимаешься».

— Я писатель.

Улыбка сползает с лица капитана.

— Писатель? — недоверчиво протягивает он и оглядывается на Горана. — Вот это номер, Лацо, ты слышишь? Выходит, ты взял в плен писателя. Что ты на это скажешь?

— А что тут скажешь? — Горан разочарованно разводит руками: кто мог знать, что такой чин окажется всего лишь писакой.

Капитан ловит себя на том, что невольно обращается к своим гимназическим познаниям в немецкой литературе, но имя Ганс Вайнер абсолютно ничего не говорит ему. «Осел, — тут же одергивает он себя, — когда ты заканчивал гимназию, эта звезда немецкой литературы был максимум в пятом классе».

— И что же вы написали?

— Точнее говоря, я бы только хотел написать.

— Так вы, собственно, собираете материал? — Кепка вглядывается в лицо майора, глаза его снова улыбаются.

— Писатель собирает материал постоянно, на каждом шагу, часто он подсознательно хранит в памяти увиденное, пережитое.

Внезапная мысль осеняет капитана:

— Для какой газеты вы пишете? Писатели ведь бывают военными корреспондентами.

Лицо майора выражает презрение.

— Я не был и не хочу быть военным или каким-либо другим корреспондентом. Кроме того, я ведь уже сказал, что не был на фронте, а информация о моих военных занятиях не представляет интереса.

— Ну а если она будет представлять интерес для нас? — Капитан переходит в лобовую атаку.

— Сомневаюсь. Послушайте, я не выдам никакой военной тайны, если признаюсь, что по желанию отца я получил образование архитектора, чтобы иметь, как выражался отец, верный кусок хлеба. В результате я попал в строительные войска и получил это звание. Я участвовал в сооружении Атлантического вала, который теперь уже взят, я строил кое-какие укрепления на Украине, которые теперь остались в тылу у русских...

— Видно, плохо строили, — ухмыльнулся Кепка.

— Возможно, — на удивление спокойно согласился майор.

— А что вы строите здесь, в Словакии, тоже какой-нибудь вал?

— Здесь я нахожусь на лечении.

— И что же вы лечите, разрешите спросить?

— Скорее вам бы следовало спросить, от чего я лечусь. — В глазах майора появилось какое-то странное веселье. — А я вам отвечу: в основном от иллюзий.

— Значит, от иллюзий, — с улыбкой повторил капитан. — Любопытно. А я-то думал, что на курорте лечатся после ранения. Или восстанавливают силы после лечения.

— И это тоже. Или вернее: это прежде всего. Как, например, в случае двух моих коллег, лейтенанта и старшего лейтенанта. Но существуют и исключения.

«А меня, любезный, прежде всего интересует твое исключение, — думает капитан Кепка, — в нем-то я и хотел бы разобраться». Но все дальнейшие вопросы не приближают его к цели ни на шаг. «То ли я такой неумелый, — сердится он в душе на самого себя, — то ли он такой хитрец; а может, мы имеем дело с какой-то своеобразной, довольно забавной, незначительной личностью, случайно попавшей к нам в руки, и звание майора ни на грош не увеличивает ее ценности».

— Ну, Лацо, что скажешь? — обращается он довольно растерянно к Горану, чувствуя, что топчется на месте. — Мне кажется, ничего больше из него не выжать.

Горан не совсем в этом уверен, хотя ему тоже ничего путного не приходит в голову. Все это время он внимательно следил за вопросами Кепки и соглашался с ними, они казались ему неглупыми, во всяком случае, ничего более умного ему самому не приходило в голову; при этом он не спускал с немца глаз, пытался найти щелку в его ответах, трещинку, в которую можно было бы вставить клин, — и тогда ударить... Невольно он сжал руки в кулаки. Ударить, выбить, выжать, выудить, выколотить из него. Им овладела бессильная злоба, но он тут же взял себя в руки. «Только этого не хватало, — с отвращением сказал он себе. — Не хватало потерять уважение к самому себе, уподобиться им. Бой есть бой, там действует правило: око за око, зуб за зуб или даже десять зубов за один — и это все нормально: чем больше ударов нанесет человек и чем они больнее, тем лучше. Но избивать беззащитного, отводить на нем ду-

шу, даже если это сукин сын и ничего иного не заслуживает, омерзительно, это не для меня».

— Я бы сначала взял в оборот тех двоих, а там посмотрим, — сказал он, подумав. — Потом можно снова взяться за него.

— Пожалуй, ты прав, — без особого энтузиазма согласился Кепка.

Но те двое, как очень быстро выяснилось, в самом деле были только ничтожными офицеришками, абсолютными нулями и как «языки» не имели никакой ценности. Лейтенант прибыл с Восточного фронта со сложным ранением ноги, старший лейтенант получил серьезное ранение в Нормандии. После длительного лечения в госпитале оба восстанавливали силы в Корытнице, а оттуда должны были отбыть в свои части. В Словакии они провели ровно два дня, этим объяснялась и та беззаботность, с которой они наняли коляску для загородной прогулки. По дороге в базовый лагерь, а главное, в самом лагере, когда они поняли, куда попали, они живо присмирели, куда девалась пренебрежительная надменность светловолосого арийца-лейтенанта, да и у старшего лейтенанта поубавилось шику, он явно поблек и привял. Оба отвечали на вопросы с готовностью, добавляли подробности, о которых Кепка с Гораном не спрашивали, а в доказательство, что на курорте не успели даже толком осмотреться, выложили на стол документы с датами отъезда из рейха и прибытия в Словакию.

Кепка и Горан пришли к единодушному мнению, что эти двое говорят правду, хотя бы по той простой причине, что им нечего скрывать ни из своей недолгой боевой биографии, ни из своего еще более короткого пребывания в Словакии. И что особенно огорчало допрашивающих: они ничего не узнали о майоре. Оба офицера согласно и независимо друг от друга твердили одно и то же: «Мы познакомились с ним здесь только позавчера, мы не живем вместе, не сидим за одним столом, на прогулку пригласили его только потому, что он подвернулся в то время, когда мы договаривались с кучером, а в коляске было место».

— А почему вы не пригласили четвертого? — насторожился Горан. — Ведь там было четыре места.

— Потому что рядом никого не оказалось, а мы еще ни с кем не успели сойтись.

— Черт их возьми, — отвел душу Горан, — куда их теперь девать?

Он готов был сожалеть, что волок их сюда. Забрать бы оружие, кучеру приказать живее убираться вперед по дороге, а этих трех пижонов отправить назад пешком; можно было и разуть, чтобы пешая прогулка доставила им максимум удовольствия.

— Об этом пусть распорядится главный штаб, — сказал Кепка и закончил допрос.

— Вообще-то ты прав.

Вечером они с напряженным вниманием прислушивались к попискиванию приемника и следили за карандашом радиста после того, как тот снял руку с ключа.

Приказ из штаба гласил: майора доставить на партизанский аэродром, оттуда он будет переправлен в Киев. С обоими младшими офицерами поступить по собственному усмотрению. И был еще один приказ, неожиданный, заставший Кепку врасплох: приказ передислоцироваться на новое, указанное им место и соединиться с отрядом «Рассвет».

Он вышел из землянки, в которой жил вместе с радистом, и загляделся на небо. В прозрачном, чистом воздухе звезды сияли, как гирлянды фонариков. Каждый вечер, прежде чем лечь на жесткие нары, выстланные хвоей и мхом, он смотрел в небо. В звездах он не разбирался, никогда не ощущал ни малейшей потребности помнить их имена, и никогда ему не хотелось (даже в голову не приходило) избрать из их числа свою звезду, как это делают многие, в том числе и его жена Юлия. Для него звезды были только чем-то вроде природной иллюминации в ясные ночи, к которой привык с детства. Когда Юлия впервые, незадолго до их свадьбы, показала ему свою звезду, он удивился, почему она выбрала именно эту, а не какую-нибудь более крупную, яркую. «Это было в июне, — отвечала она, — когда звезды видны лучше всего, это было в день моего рождения. Я поднялась на холм за деревней и сказала себе: сегодня я найду свою звезду, которая будет со мной всю мою жизнь и принесет мне счастье. Там стояла молодая тонкая березка, теперь это уже большое дерево, я взялась за нее левой рукой, несколько раз обежала вокруг нее, упала навзничь в траву, зажмурилась, а потом резко открыла глаза. И первая звезда, которая бросилась мне в глаза, — я выбрала ее, она моя, самая прекрасная для меня, она приносит мне счастье». — «В самом деле?» — спросил он. «Она принесла мне и тебя тоже», — отвечала ему

Юлия совершенно естественно и так убежденно, что это и удивило и тронуло его. «Я тебе тоже принесу счастье, вот увидишь, Йожко», — добавила она. «Как эта твоя звезда называется?» — спросил он. «Не знаю, — сказала Юлия, — меня это не интересует, я называю ее моя звезда. Если б я знала ее название — наверняка это будет какое-нибудь латинское название, — у меня было бы такое чувство, будто я делю ее еще с кем-то». Капитану Йозефу Кепке, в то время начинающему землемеру, только-только получившему диплом и никогда не интересовавшемуся астрономией, не составило большого труда выяснить, что эта звезда Юлии называется Перея и относится к созвездию Миртанос. Но, конечно, он не сказал об этом Юлии, чтобы ей не пришлось делить ее с кем-нибудь. Теперь он смотрел на Перею, на ее дрожащее мерцание с оранжевым отливом, и был убежден, что в эту самую минуту на нее обращены и глаза Юлии и что там, в той далекой точке во Вселенной, встречаются не только их глаза, но и их мысли.

— Что делать будем? — раздался рядом с ним голос Горана.

Кепка очнулся от своих мыслей.

— Завтра будем делать, а сейчас ничего. Обеспечь охрану. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — буркнул Горан и ушел недовольный. Он был не прочь побеседовать, проанализировать ситуацию; как он любил говорить, «здесь есть над чем подумать», радиограмма из штаба взбудоражила его, но он видел, что капитану не до разговоров, и потому промолчал.

Кепка отошел на пару шагов в сторону, сел на пенек. Давно уже стемнело, лесистая лощина, в которой притаился лагерь, погрузилась во тьму. Кепка прислушивается к звукам, которые стали такими привычными за четыре недели, прошедшие после перехода с горы Магурки; он безошибочно распознает их: приглушенный разговор Яна со Штефаном в соседней землянке, скрежет камешков под сапогами людей, возвращающихся от родника под соседней скалой, легкий стук двери сруба, сколоченной из еловых жердей, шорох брезента, прикрывающего вход в землянку, скрип раздвоенной ели, растущей над лагерем, шелест двух буков поодаль, тихий перелет совы... этих звуков немного, и все они свидетельствуют о том, что партизанам не гро-

зит опасность, что ничего чрезвычайного не происходит. «Нет, все же происходит», — размышляет Кепка. Радиограмма не выходит у него из головы. Он знает, что Горан ушел от него недовольный, но у него просто не было настроения обсуждать ситуацию. Да и чего там обсуждать? Приказ ясен. Как ему распорядиться с пленными, он знает. С этим двумя офицерами он возиться не намерен. Когда завтра утром отряд покинет лагерь, они возьмут их с собой, а в Пустой долине направят в сторону ближайшей деревни, до которой около шестнадцати километров, а там уж кто-нибудь о них позаботится. Хуже обстоит дело с майором. «Доставьте его на партизанский аэродром». Как просто, да, приказы всегда бывают простыми — тут Кепка улыбнулся, потому что вспомнил и свои собственные приказы. Приказы обычно бывают сложнее для тех, кому приходится их выполнять. С самого начала капитану было ясно, что единственный, кому можно без опасений поручить это чертовски непростое задание, — Штефан Юрда, он быстро ориентируется в любой ситуации и не дает сбить себя с толку. К тому же знает эти места, эти горы, а ведь двигаться в основном придется ночью, в том числе и в районах, где кишмя кишат немцы. А если это будет Юрда, потому что из всего отряда, включая Горана и его самого, никто другой не пригоден для этого задания, то вторым будет Ян. Они понимают друг друга, привязались друг к другу, поселились в одной землянке — и сейчас до него доносится их тихий разговор, им всегда есть о чем поговорить, и это тоже симпатичная черта; а ведь бывает и так, что постоянная близость начинает действовать на нервы даже закадычным друзьям. В данном случае (Кепка думает о конвоировании майора Ганса Вайнера) сыгранность и согласие чрезвычайно важны. Да, Юрда и Вотава, окончательно решает Кепка. Хотя... впрочем, Кепка не был бы Кепкой, если бы не использовал этот случай для некой моральной проверки всего отряда. Он встал, медленно потянулся и еще раз посмотрел на звезду своей жены. «Юлинка, милая, если б ты знала, как мне будет нужно твое счастье!» — подумал он.

— Штефан, ты спишь?

Ян знал, что это напрасный вопрос, потому что Штефан имел привычку (если только эту его особенность или скорее способность можно называть привычкой) засыпать мгновенно, посреди предложения или даже не

договорив слова. Ян восхищался этим его уменьем. Штефан относился к редкостной породе людей, способных уснуть в любое время и в любом месте, использовать для этого любую подходящую минуту и спать крепко, глубоко и сладко, как младенец. Для Яна Штефан был воплощением крепко сколоченных героев Джека Лондона, которым ничего не стоит неделю голодать, а потом истребить гору пищи; которые сутками бодрствуют, не проявляя усталости и ни на миг не теряя бдительности, а затем целые сутки спят как убитые; которые умеют не только бессовестно лентяйничать, но и работать до упаду; которые способны трепаться попусту, травить глупые, пустые анекдоты — и вдруг рассказать историю, полную глубокого чувства и житейской мудрости. Просто парень что надо, говорил себе Ян, но когда однажды он высказал свое восхищение Штефану, тот нахмурился: комплиментов он терпеть не мог; более того, Штефан любил и умел подшучивать над самим собой, и эта черта его характера еще больше привлекала к нему Яна. Так или иначе, но для Яна он был Человеком с большой буквы, таким же, как, например, Карел Фафка, который в тридцать девятом угнал с охраняемого аэродрома «этажерку», непрерывно маневрируя, ушел от огня охраны и ускользнул от немецких истребителей в Польшу, а потом на Запад; или таким, как Франсуа Жорже, товарищ Яна по трудовому лагерю: когда немцы-охранники хотели на глазах у Франсуа изнасиловать его девушку, он сумел вырваться, схватил тяжелую пепельницу, размозжил ею голову одному из этих скотов и бесследно исчез в наставшей суматохе. Да, Штефан сделан из того же теста, что и эти замечательные парни, — не чета заурядным пижонам, которые выставляют напоказ свой убогий фасад, а еще больше — убогость своего духа.

Итак, Штефан закончил разговор на свой особый лад: просто уснул. Ян в ответ лишь негромко рассмеялся. Хотя он тоже недоспал за последнюю пару ночей, а ноги гудели после проделанного похода, он чувствовал себя бодро и знал, что ему не сразу удастся заснуть. Воспоминание о Франсуа — «французский Франта» называла его компания чешских парней в лагере — вызвало другое воспоминание, празднично-драгоценное.

Свое двадцатидвухлетие он отмечал в Германии, на принудительных работах. От мамы пришла посылка, как ни странно, неповрежденная и неразграбленная (такое

случалось довольно редко); в посылке были пирожки с повидлом, слегка зачерствевшие в пути, каравай хлеба, кусок шпика и — умереть мало! — бутылка сливовицы. Все это Ян честно выложил на общий стол, и в тот майский вечер посредине их комнаты на том самом, чисто выскобленном столе, кроме добротного «моравского сырья», как назвал Пепек содержимое посылки, красовалась целая кучка скромных лакомств военного времени, включая две бутылки какого-то фруктового вина и бутылочку загадочного ликера еще более загадочного происхождения. Ко дням рождения в лагере относились очень серьезно, и каждый из этой пестрой чешско-польско-французской компании внес в праздник свой вклад, хотя бы в виде доброго слова, шутки или песенки. Девушки с женской заботливостью и педантичной справедливостью выделяли каждому его порцию еды, а парни с не меньшей точностью отмеряли наперстки питья.

Поели, попили, попели, на прощанье вспомнили, чей день рождения на очереди. Влюбленные парочки, а они возникали даже здесь, вышли прогуляться, остальные побрели по длинному коридору одноэтажного барака к своим комнатам.

— Ян, проводи меня, — повернулась к нему Стася.

Он удивился. Ему нравилась эта стройная светловолосая девушка с ясными серо-голубыми глазами. Трижды он приглашал ее в кино, один раз она пошла, два раза отказалась; когда хотел в темноте пожать ей руку, деликатно высвободилась, поцеловать себя не дала, но ему казалось, что он ей не противен, она рада видеть его, а все остальное в ней было неясно. Одно он знал наверняка: она ни с кем не встречается в отличие от многих других.

— Я?

Она молча кивнула.

Он вышел вслед за ней.

На дворе Ян взял ее под руку, она не отстранилась.

Он хотел спросить, куда они пойдут, но разве это было важно? С ней он готов был идти куда угодно. Он наслаждался тем, что она рядом с ним. Шли вдоль ограды, мимо бараков, в конце ограды, там, где начинался луг, Стася замедлила шаг, словно заколебавшись, потом сказала просто: «Пойдем!» Они пересекли луг, тускло освещенный серпом луны, и перед ними затемнела осиновая рощица. Когда они вошли в тень первых де-

ревьев, Стася остановилась, взяла Яна за плечи (она была ростом почти с него), подняла к нему глаза, в глубинах зрачков мерцали огоньки.

— Стася, моя Стася. — Он откинул ее волосы, гладил ее лоб, ее щеки, касался губами ее век, нежно трепещущих, как крылья мотылька.

Ему перехватило горло, но это было от счастья. Голова горела, в ушах стоял звон. Но в следующую секунду до него дошло, что этот звон доносится с высоты, что это эскадра бомбардировщиков, невидимо плывущих в ночи, чтобы в ближайшие минуты (если она не сделала этого раньше) сбросить свой смертоносный груз на людей, на спящих, усталых людей, на дрожащих от страха матерей с сонными, плачущими детьми в бомбоубежищах, на пригнанных сюда рабочих, на влюбленных, таких, как он и Стася, которые в этом зверином мире дарят друг другу минуты счастья. Была холодная ночь. Ян накинул ей на плечи свой пиджак. То и дело он останавливался, брал ее голову в свои ладони, впивался взглядом в ее глаза, чтобы убедиться, что это не сон, что случившееся чудо продолжается, что она рядом с ним, что он хочет и будет видеть ее рядом с собой завтра, послезавтра, всегда.

Он уснул лишь под утро и, когда услышал голоса товарищей, собирающихся в утреннюю смену, повернулся на бок, натянул на голову одеяло, потому что в этот день он выходил во вторую смену, так же как и Стася. Проснувшись в полдень, он спрыгнул с нар и, прежде чем отправиться в столовку, побежал в девичий барак за Стасей. На усыпанной щебнем дорожке он повстречал Руду Бартяка.

— Слыхал, сегодня утром увезли полек!

— Что?

— Точно тебе говорю, теперь скучища будет.

— Как увезли? Куда?

— Откуда мне знать?.. Посадили в вагоны и увезли.

— Не может быть, — прошептал Ян. — Не может этого быть! — И бросился к бараку девушек, до которого он этой ночью проводил Стасю; влетел в пустую комнату, и там немка-уборщица подтвердила ему: «Ja, ja, die Polinnen sind fort *. — И пожала понурыми старческими плечами: — Weiss nicht» **.

Он бежал на вокзал как сумасшедший, но там в от-

* Да-да, польки уехали (нем.).

** Не знаю (нем.).

вет на все свои вопросы слышал только равнодушное «Weiss nicht». Тогда он бросился назад, в лагерь, ворвался в канцелярию начальника охраны.

— Где польки, куда вы их увезли?

Немец оторвался от своих бумаг, повернул к нему свое невозмутимое, одутловатое лицо и благодушно произнес:

— Hau ab! Кому сказано: проваливай, — повторил он, видя, что Ян не трогается с места и твердит свое: «Где они?»

Тут голос Яна дрогнул:

— Прошу вас, скажите мне, где Стася, я вам все отдам, карточки на табак, дам вам шнапс, хороший чешский шнапс, все, что вы захотите.

Начальник охраны не сводил с него глаз, видно, что-то человеческое шевельнулось в нем, потому что он встал из-за стола, подошел к Яну и сказал:

— Стасья, эта шикарная блондинка, да? — Он понимающе покивал головой. — Пообещай мне хоть ведро шнапсу, я ничем не смогу тебе помочь. Мы отвезли их на вокзал, к вагону, и вернулись.

— Но ведь кто-нибудь должен знать.

— Кто-нибудь где-то там, наверху, — согласился немец. — Мы лишь выполнили приказ.

И вернулся к своим бумагам.

Неверными шагами Ян вышел во двор, оперся спиной о деревянную стену и посмотрел в сторону осиновой рощицы. Потом, оттолкнувшись от стены, обошел бараки и, не отрывая глаз от травы, еще хранившей следы двух пар ног, направился к роще. Там он упал на знакомую вмятину в траве, прижался лицом к тому месту, где всего несколько часов назад покоилась голова Стаси. Ему показалось, что оно все еще хранит аромат ее волос. Он вцепился пальцами в траву и заплакал безутешным, отчаянным плачем, который не приносит облегчения.

В городе взвыли сирены. Ян смотрел в небо и видел серебристые точки и белые инверсионные следы американских «летающих крепостей».

— Бросайте на меня! — выкрикнул Ян. — Слышите, вы там, наверху, бросайте бомбу! — Он вскочил, выбежал на луг, раскинул руки. — Я здесь, вы меня видите?

Он стоял там, запрокинув голову и выкрикивая кощунственные слова в небо. Потом рухнул в траву, и в

опустошенной голове стучала единственная мысль: «Почему они не сбросили на нас бомбу этой ночью?»

Теперь Ян глядел во тьму, и впервые ему пришло в голову: все то, что он тогда прожил, что вознесло его в небеса, а потом сбросило на землю, что заставило его бежать из рейха, из городка, где все мучительно напоминало ему о Стасе, и он сбежал, потому что боялся сойти там с ума, — все это теперь стало источником не только страдания, но и холодной, трезвой решимости. Он думал о превращении, происшедшем с ним за это время. Вначале обжигающее, опустошительное горе, затем кровожадное стремление мстить на свой страх и риск, потом дорога в словацкие горы — и только здесь, лицом к лицу с повседневной опасностью, рядом с Юрдой, Кепкой, Гораном, Борисом и другими, каждый из которых имел свое серьезное основание ненавидеть нацистов, — только здесь его страдания приобрели какой-то смысл.

Он засыпал с мыслью о Стасе. Ни разу, даже в самые мрачные минуты, он не усомнился, что Стася жива. Наша любовь так велика, так всемогуща — не может быть, чтобы мы не встретились. Стася жива, и, когда все это кончится — а теперь уже недолго ждать, — я ее найду. Найду, даже если придется обойти полмира.

Перед командирской землянкой — вся группа, кроме двух часовых, охраняющих лагерь. Пленных в эту минуту никто не сторожит. Со связанными руками и ногами они не имеют никаких шансов на побег; впрочем, будь они развязаны, у них все равно ничего бы не вышло, потому что землянки расположены тесным неправильным полукругом, а входы в них смотрят друг на друга. Горан был не очень-то в восторге от такого плотного размещения на малом пространстве, он считал, что это лишает их возможности длительной обороны, но Кепка настоял на своем; по его мнению, такой миниатюрный партизанский лагерь при любом расположении не удастся долго защищать, поэтому на случай, если их выследят и атакуют превосходящими силами, он делал ставку на быстрый уход с учетом рельефа ущелья, как нельзя более подходящего для этого маневра. В данный момент оба они, Кепка и Горан, углубились в тихую, сосредоточенную беседу. Лицо капитана, обрамленное каштановой короткой бородкой (как и все в лагере, он

предпочитает обходиться ножницами вместо бритвы), спокойно, спокойны и его жесты. Смуглый брюнет Горан проявляет свой живой темперамент и в речи, и в движениях. Кепка закончил разговор и обратился к своему подразделению — так он называл свой отряд, и не без оснований: в конце концов, за исключением Яна, Павла, Бориса и Штефана, все остальные десять были из бывшей его части.

— Ребята, — начал он вполголоса и выждал, пока все глаза не обратились к нему, — речь пойдет о двух делах. Во-первых, нужны два добровольца, чтобы надежно, то есть живым, доставить пленного немецкого майора на партизанский аэродром. И во-вторых, — капитан несколько раз прочесал пальцами бороду, задумчиво скользя взглядом по противоположному крутому склону, — и во-вторых, — повторил он чуть громче, — сегодня мы перемещаемся на другое место.

В глазах партизан он прочел удивление, которое кое-кто выразил и вслух. Капитан нарочно повернулся к радисту, но тот спокойно глядел на него, он привык помалкивать о радиограммах, да никто у него и не выспрашивал. Кепка оперся спиной о сруб, покивал головой.

— Итак, начнем с конвоя: нужны два добровольца.

Поднялось шесть рук.

Но похоже было, что капитана больше интересовали те, кто руку не поднял.

— А ты? — спросил он Такача, стоявшего прямо перед ним. — Тебя это не интересует?

— Дело не в интересе. Просто я здесь чужой, не знаю местность, дорогу. Но если вы думаете...

— Нет, я думаю то же, что и ты. И у вас, видимо, та же причина? — сказал он остальным воздержавшимся, хорошо зная своих парней. И, уже не обращая внимания на то, что они говорят, улыбнулся Юрде, который все еще не опустил руку:

— Штефан, все ясно. Пойдешь ты, тебе, здешнему, все карты в руки. И даю тебе право выбора. Второго выбирай сам.

— Вотаву, — не раздумывая, сказал Юрда. — Я беру Янко Вотаву. Если он хочет.

— Ты еще спрашиваешь, — откликнулся Ян.

— Все вышло, как я и думал, — с улыбкой сказал Кепка Горану, стоявшему по правую руку от него. — Порядок, верно?

Горан сдержанно пожал плечами.

Кепка снова повернулся к партизанам:

— Прежде всего ликвидируем лагерь, а потом двигаемся в путь все сразу. Правда, вам в другую сторону, — обратился он к Юрде.

— Не знаю, в другую ли, — рассмеялся Юрда, — во всяком случае, нам туда. — И он обозначил рукой направление.

— Ребята, — повысил голос капитан, — ликвидация лагеря означает, что здесь останутся только голые срубы, пустые землянки, все остальное забираем с собой.

— Что ты собираешься делать с этими офицериками? — спросил Горан.

— Отпустить. А ты как считаешь?

— Я согласен, что еще с ними делать?

— Юрда и Вотава возьмут их с собой, а в седловине под Черной горой пусть пошлют их на Смрековицу через Пустую долину.

Не прошло и получаса, как отряд был готов в путь. Люди стояли перед пустыми землянками с рюкзаками, в которые были упакованы одеяла и палатки, и ждали команды. Кепка с Гораном вывели пленных, развязали их и передали Юрде с Вотавой.

Юрда жестом велел майору взять один из рюкзаков.

— Да, майорчик, придется тебе нести свое одеяло и жратву.

Майор недоверчиво разглядывал ранец, ему явно не нравилось, что оба офицера, хоть и ниже его рангом, пойдут порожняком.

— Эти тебя не касаются. — Юрда не был настроен вдаваться в объяснения.

Капитан с Гораном отвели Юрду в сторону.

— Ну, Штефан, тебе все ясно? — Кепка испытующе посмотрел на Юрду.

— Ясно.

— Снарядился как следует? — вмешался Горан. — Ничего не забыл? Карта, продукты...

— ...на восемь дней плюс двухдневный НЗ, — дополнил вместо него Юрда, — и патроны. Надеюсь, они не понадобятся, а если понадобятся, считай, что задание мы не выполнили. Единственное, что мне нужно, — это везение, а мне до сих пор везло, — ухмыльнулся Юрда. — Да, — вспомнил он вдруг, — вы хотя бы узнаете о том, что мы доставили его куда надо?

Кепка задумался.

— Не знаю, дружище. Я бы, конечно, мог запросить штаб по радио, но кто знает, где мы будем и какая будет связь.

— Не бойся, доставим мы его. А после войны я приду к тебе в Тренчин доложить.

— Отлично, — улыбнулся Кепка, — приходи, будет о чем поговорить.

Они обменялись крепким рукопожатием.

Их слова слышали и Ян с Павлом, прощавшиеся неподалеку. После двухмесячного путешествия в словацкие горы и пребывания в отряде Кепки их пути расходятся. Оба делали вид, что ничего особенного в этом нет, но в душе задавали себе один и тот же вопрос: «Надолго ли?» И оба старательно избегали мысли, что, возможно, они расстаются навсегда.

— Слыхал? — засмеялся Павел. — Они назначают встречу в Тренчине. Как у Швейка: «В шесть вечера в трактире «У Чаши».

— Почему бы и нет. А мы встретимся у нас, «У Шинкаря».

— Ладно, идет, — Павел протянул руку, — значит, после войны, в шесть часов вечера, «У Шинкаря».

— Лучше приходи в полседьмого, на случай, если я вдруг опоздаю, — со смехом сказал Ян.

Они обнялись.

— Жаль, что мы не можем пойти вместе, — сказал Павел. — Ну, ничего.

Он похлопал Яна по плечу, повернулся и пошел к своему рюкзаку.

Путь из расщелины (в которой остался лагерь, так хорошо им послуживший) круто поднимался вверх, к седловине. Юрда умышленно избрал маршрут, не зависящий от исхоженной тропы на гребне хребта, чтобы избежать неприятных встреч. Узнав, в чем заключается задача, на выполнение которой он сам напросился, Штефан первым делом подсчитал расстояние, которое предстояло пройти. Получалось что-то около шестидесяти километров. Если б идти к аэродрому прямо по дорогам, хватило бы двух, максимум трех дней. Однако для того, чтобы выполнить задание, нужно было избегать людей, любой ценой оставаться незамеченными, поэтому они должны держаться подальше от дорог, а прод-

вигаться к цели только в сумерках или по ночам. В итоге он положил на путешествие восемь дней, да еще добавил на всякий случай два дня, и на все это время запасся самой необходимой пищей, чтобы не обращаться к чужим людям и не подвергать конвой риску, который мог испортить все дело. Юрда сформулировал принцип: «Ни с кем не повстречаться!» — и был намерен осуществить его любой ценой.

В первый день они могли позволить себе роскошь идти днем, окрестности лагеря были безлюдны и безопасны, как всегда. Такое идеальное место для лагеря не так-то легко будет подыскать снова, подумал Юрда и опять удивился приказу покинуть лагерь. Но ломать себе над этим голову не имело смысла, начальству всегда виднее. «Впрочем, нам с Яном все равно». Но тут же он понял, что не так уж и все равно: ведь если б лагерь остался на прежнем месте, им было бы куда вернуться, а теперь кто знает, что для них придумают там, на аэродроме.

— Тихо! — Он резко обернулся и прикрикнул на офицеров, которые перебросились парой слов. На этот раз он опередил Яна, который незадолго перед тем уже делал внушение немцам.

— Иначе получите кляп в зубы, — Ян показал им скомканный носовой платок, — и будет полная тишина.

Они шли тихо, впереди Юрда, за ним майор, затем остальные два немца, Ян был замыкающим.

Стоило Штефану оглянуться назад, как ему пришла в голову идея.

— Ян, подбрось свой рюкзак лейтенанту!

— Зачем?

— Мне кажется, он заскучал, не грех ему и поразмяться.

— Вообще-то верно, свободу нужно заслужить.

— Вот я и говорю, — сказал Юрда и передал свой рюкзак старшему лейтенанту. — Нужно беречь силы, они нам еще очень и очень пригодятся.

— Сколько нам идти до седловины?

— Километров пять. Ну видишь, правда, так лучше? — Юрда поправил ремень автомата. — И почему нам не пришло это в голову с самого начала?

Он вытер вспотевший лоб и посмотрел сквозь кроны елей на голубое небо. «Хорошо, если б такая погода продержалась, — подумал он. — Чувствуешь себя, как на загородной прогулке». Это сравнение вмиг ис-

портило ему настроение. Ничего себе прогулочка! Стоит повстречать компанию фрицев — и конец идиллии. Невольно он стал думать над тем, что им следовало бы делать в подобном случае. И поймал себя на мысли, что не знает. Это его обеспокоило. Он остановился и дал знак остальным. Все замерли.

— Что случилось? — спросил Ян.

— Ничего, я слушаю.

С минуту они сосредоточенно прислушивались, но не уловили ни одного звука, который говорил бы о близости человека. Прямо над их головами беззаботно тинькали два зяблика, где-то неподалеку тихо посвистывала трясогузка. Юрда удовлетворенно вздохнул и молча зашагал вперед. Но та, первая мысль, выбившая из душевного равновесия, не выходила из головы. Он обернулся к Яну.

— Если почувствуешь: что-то неладно, тут же все бросаемся на землю, понял?

— Ты думаешь...

— Ничего я не думаю, это так, на всякий случай.

Ян молча кивнул. «Скорей бы избавиться от этой двоицы, — подумал он. — Втроем будет проще». Ему стало казаться, что пленные нарочно ступают слишком тяжело, делают лишний шум, поэтому время от времени он шипел им по-немецки: «Тише!» В то же время Ян признавался себе, что сам не двигается так осторожно, как ему хотелось бы. С восхищением и с капелькой зависти он наблюдал за Штефаном, который, будучи на добрых десять килограммов тяжелее, шел впереди неслышной, легкой походкой горца.

— Штефан, — негромко окликнул он, — а что, если попробовать разок для тренировки?

Юрда повернулся к нему своим широким, покрасневшим от напряжения лицом, утер лоб рукавом и кивнул. Через несколько шагов он быстро обернулся, тихо крикнул: «Ложись!» — и бросился на землю, увлекая за собой майора. Ян проворно последовал его примеру, а оба младших офицера залегли так поспешно, словно от этого в самом деле зависела их жизнь.

Несколько минут они пролежали неподвижно. Ян чувствовал, как возбужденно колотится сердце, — настолько он вжился в мысль, что они действительно в опасности. Ян поднял голову, осмотрелся и невольно улыбнулся. «Нордический экземпляр», как он мысленно прозвал лейтенанта, лежал на животе в брусничнике,

прижавшись щекой к земле, прикрыв голову ладонями с растопыренными пальцами, словно ожидая каждую секунду взрыва бомбы. Старший лейтенант тоже распластался прямо-таки образцово. Только майор удобно улегся на боку, непринужденно оперся правым локтем о рюкзак, левой рукой подпер подбородок и с каким-то безразличным, пренебрежительным видом глядел перед собой. Ян встретил внимательный взгляд Штефана. Юрда кивнул, мол, пожалуй, хватит. «Встать!» Немцы поднимались с растерянным видом, не понимая, что, собственно, произошло.

— Неплохо, да? — сказал Ян.

— Неплохо, — согласился Штефан, отдавая себе отчет в том, что тревога была ложная. А вот если бы они столкнулись с настоящей опасностью, тогда только выяснилось бы, какой толк в этой их вынужденной страусиной маскировке. Он перекинул автомат через плечо, стряхнул с гимнастерки сухую веточку и дал пленным знак следовать за ним.

Ян выждал, пока цепочка растянется как прежде, и тронулся вслед за немцами.

Они не слышали ничего, кроме редких голосов птиц и собственных шагов. Торжественно-тихий лес словно замкнулся в себе. Они шли по северной стороне горного хребта, поэтому первые солнечные лучи пробились сквозь кроны деревьев только к полудню, и сразу потеплело. Приближалось место, где им предстояло избавиться от двух офицеров. Лишь в пути Юрда сообразил, что решение Кепки было не самым удачным. Вовсе не обязательно посылать их именно на Смрековицу, да еще ближайшим, кратчайшим путем. Это решение без всякой нужды ставило под угрозу безопасность конвоя, главную и единственную его задачу: доставить майора на аэродром живым. Ребята из отряда могли спокойно, не подвергая опасности свой переход, взять с собой этих офицериков, а потом в любом месте просто сказать им: катитесь отсюда! Уж как-нибудь эти немцы добрались бы до одной из деревень внизу. «А, черт, — тихо выругался Юрда, — что теперь об этом говорить?» Он обернулся и сказал Яну остаться вместе с пленными и ждать. Пустая долина была совсем рядом.

— Пойду гляну на дорогу, а потом отделаемся от этих сопляков.

Вскоре он вернулся и жестом велел следовать за ним. Юрда прошел лесом немного ниже, к молодому

ельнику, и остановился. На ломаном немецком приказал обоим младшим офицерам сбросить рюкзаки и движением головы показал: идите впереди меня. Те застыли в нерешительности, с расширенными от страха глазами. Он вытолкнул их из ельника на тропу:

— Вы свободны.

Увидев, с каким страхом глядят они на дуло автомата, Юрда закинул его за плечо и еще настойчивее повторил, показывая на дорогу, ведущую вниз:

— Мы вас отпускаем, катитесь отсюда!

Они неуверенно шагнули вперед и снова остановились. В их глазах Юрда безошибочно читал: «Знаем мы этот номер: застрелены при попытке к бегству!» Он покачал головой, сложил руки на груди. Буркнул: «Катитесь ко всем чертям», повернулся к ним спиной и скрылся в ельнике. В просветы между ветвями он видел, как те двое нерешительно, чуть ли не пятясь, спускаются вниз по крутой тропке, не отводя глаз от того места, где он скрылся, и все еще ожидая рокового выстрела. По мере того как расстояние между Юрдой и ними увеличивалось, они ускоряли шаг, потом осмелели и сломя голову помчались. Менее ловкий старший лейтенант споткнулся о торчавший корень, кувыркнулся, но тут же вскочил на ноги и бросился догонять стройного блондина. Невольная улыбка Юрды вскоре перешла в презрительную усмешку. «С этими покончено», — облегченно подумал он и вернулся к Яну с майором.

Майор Ганс Вайнер, лицо которого до сих пор выражало лишь какое-то безучастное пренебрежение к происходящему, встретил Штефана вопросом:

— А что будет со мной? Меня вы не отпускаете?

Штефан поглядел ему в глаза. Где-то на самом их дне за кажущимся равнодушием и наигранным безразличием он увидел обыкновенный человеческий страх. «Да ты, дружочек, из того же теста, что и прочие, — подумал он с состраданием и со странной горечью, — да, из того же теста, что и все мы. Неотступно нас преследует страх. Иногда садится нам на шею и душит человека, иногда мы словно и не знаем о нем, вернее, не хотим знать, не подпускаем его к себе; но достаточно самой малости, чуток невезения, и он опять тут как тут, ледяными когтями сжимает сердце. Иногда преследует, а когда колесо повернется, подставляет ножку. Его породила война, ею он жив, и, пока не придет конец войне, пока не прозвучит последний выстрел, страх, ее вер-

ный сообщник, будет с нами». Юрда опустил глаза, почувствовав, что им овладевает какое-то фальшивое сострадание. «Ну нет, — жестко сказал он себе, — в конце концов твой страх, майорчик, вполне уместен, кем бы ты ни пришел сюда, убежденным фашистом или просто случайным попутчиком, ты пришел сюда с ними, хотя здесь тебе делать нечего».

— Приятель, у тебя немножко не тот случай, — насмешливо сказал Юрда. — Твоя беда, что у тебя такой высокий чин.

Он уселся на кочку и достал из кармана помятую сигарету.

— Хочешь, дам половинку? — великодушно предложил он майору, а когда тот сказал, что не курит, Штефан закурил и с наслаждением затянулся.

— Наше путешествие только начинается, — задумчиво произнес он после нескольких затяжек, обращаясь не столько к майору, сколько к Яну.

Юрда молча курил, не вынимая сигарету изо рта, перекатывая ее из одного уголка губ в другой. Семнадцатилетним подростком он подсмотрел эту манеру в одном французском фильме и не пожалел ни времени, ни сил, чтобы в совершенстве овладеть ею; эта игра доставляла ему не меньше радости, чем само курение. Опираясь локтями о землю, он вытянул ноги перед собой, чтобы дать им передышку, и рассматривал в профиль майора, которого перед выходом из лагеря одели в гражданское тряпье; вместо офицерской фуражки на нем был выцветший берет. Боясь потерять его документы, Юрда зашил их в подкладку своей куртки. «Что-то ты, братец, привял, — подумал Штефан, — но, может, для тебя и лучше, что мы ведем тебя, куда приказано. Если ты не сукин сын и твоя совесть чиста, как ты утверждаешь, то после войны тебя отпустят домой, и ты будешь говорить, как тебе повезло, ты выжил; а ведь кто знает, что ждет твоих товарищей, которые сейчас радуются свободе. Это еще большой вопрос — кому из вас троих, и даже из нас пяти, больше повезло. Всем нам приходится рисковать жизнью, и никто не знает, чем все это кончится. Пожалуй, это справедливо. Справедливо? — задумался он. — Глупости. Пожалуй, единственная справедливость в тугое это время — выиграть войну, всыпать нацистам, чтобы у них раз и навсегда прошла охота портить людям жизнь. Но это еще не означает, что человек обязан вести себя как

скотина. — Окурок начал обжигать ему пальцы. — Расфилософствовался, а сигарета тем временем горит впустую. И добро бы какая-нибудь дрянь, а то ведь самая лучшая, «Мемфис». Он жадно сделал последнюю затяжку и с сожалением расстался с бычком, обжегшим губу. «Это не сигареты, а нектар, запомни, безмозглый мальчишка», — говаривал когда-то пан Турза, бакалейщик, посылая его в табачную лавку за пачкой «Мемфиса»; кроме этого изречения, Штефан получал за труды длинную пеструю карамельку. «Когда вырастешь, ничего другого не кури», — наставлял его пан Турза. А когда Штефан дома спросил отца, почему он курит плохонькую «Зорьку», тот сухо ответил: «Потому что они стоят крону за десять штук, ты, умник. Или, может, думаешь, «Мемфис» плохо смотрелся бы у меня в зубах?» Пришлось Штефану согласиться, что с «Мемфисом» папа выглядел бы не хуже, чем сам пан Турза. А когда сам начал зарабатывать себе на жизнь и отчислять из своего бюджета деньги на курево, понял, что дело тут не во вкусе, не в аромате — его нос и язык распознавали их не менее верно, чем органы обоняния и вкуса пана Турзы, — а в чем-то более существенном, определяющем, как и чем человек удовлетворяет свои потребности. «Нектар, — тихо повторил он про себя, задумчиво глядя на догорающий окурок. — В самом деле, аромат совершенно обалденный». Со вздохом он потрогал кармашек гимнастерки. В помятой пачке остались еще три сигареты «Мемфис» — последние из подаренных аптекарем в Леготе в придачу к лекарствам.

— Слушай, Ян, — громко обрадовался он. — А ты знаешь, что жизнь у нас не такая уж и плохая?

— В каком смысле?

— Еды у нас на десять дней. И сигарет тоже.

Ян невольно улыбнулся этому множественному числу.

— Так сколько их у нас, сигарет?

— Угадай.

— Двадцать?

— Двадцать! — Юрда приподнялся на локтях. — Чудак, да ты знаешь, когда у меня в последний раз была целая пачка? — Он порылся в памяти. — Это было так давно, что я уже и не вспомню.

— Ну, говори: сколько? — Ян заинтересовался.

— Три.

— Хотел бы я знать, как это их тебе хватит на десять дней.

— Во-первых, теперь уже не десять, а только девять, — поправил его Юрда. — Сегодняшнюю я уже выкурил. Если каждый день буду выкуривать по одной трети сигареты, мне хватит как раз на девять дней, ясно?

— Мне-то да, и вообще мне это до лампочки. Главное, чтобы тебе было ясно. Хотя чего тут понимать. Или ты их высмолишь все подряд, или как-нибудь разделишь. Если хочешь, я их возьму себе и буду выдавать тебе дневную норму.

— Не надо, я умею держать себя в узде, если понадобится. — Штефан посмотрел на часы. — Как ты насчет легкого обеда?

— Обед, обед. — Стоило Яну подумать об этом, как он почувствовал, что проголодался. — Так ты предлагаешь на сегодня остаться здесь?

— Нет, наоборот. Перекусим и пойдем. Похоже, здесь безопасно, и мы можем рискнуть идти днем, до наступления темноты. А с завтрашнего дня придется в основном использовать утренние и вечерние сумерки. Днем нужно быть все время начеку... не рисковать, а ночью здесь тоже не больно-то разойдешься.

— Значит, вот как у тебя все продумано. — До сих пор Ян не задумывался над тем, как они будут передвигаться, настолько он доверял Штефану и подсознательно подчинялся ему.

— Именно так, — произнес Юрда свою излюбленную присказку. Из рюкзака майора он достал хлеб, копченое сало и отрезал каждому по куску. Укладывая еду в полотняный мешочек, он вдруг остановился.

— Что случилось? — Ян заметил, как руки Штефана вдруг замерли.

— Что? — задумчиво повторил Юрда. — А то, что майорову жратву я буду держать у себя.

— Почему?

— Чтобы он не соблазнился на какую-нибудь глупость. Например, чтобы не вздумал сбежать, запасшись едой на пару дней.

Ян недоверчиво посмотрел на него, но в душе не мог не оценить основательность и предусмотрительность Штефана, который ничего не оставлял на волю случая; в этом он убедился сразу после еды, когда Юрда достал из кармана ремешок и привязал правое запястье майора к своей левой руке.

— Ну, Штефан, ты голова, — уважительно сказал Ян. — А мне ты его не доверяешь?

— Почему же? Мы будем сменяться. Уверяю тебя, ничего приятного в этом нет. Правда, майорчик?

Ганс Вайнер ответил презрительной усмешкой.

— Вопрос только в том, кто из нас кого сторожит, — рассмеялся Юрда.

— Во всяком случае, со стороны можно подумать, что я конвоирую вас обоих, — сказал Ян, шедший в двух шагах сзади, и невольно усмехнулся.

Ему вспомнилась картинка не такой уж давней поры, когда он был с дядей-лесничим на обходе и они застали врасплох двух завзятых браконьеров, потрошивших серну. По указанию дяди, державшего их на мушке своей двустволки, Ян отобрал ружья, связал тех двоих за руки (левая рука одного к правой другого, точно так же, как теперь связаны Штефан с майором). Повели их на жандармский пост. Когда после часа ходьбы темным лесом они добрались к часовенке над деревней, дядя подтолкнул браконьеров прикладом в спины и сердито сказал: «А теперь проваливайте, и чтоб я вас больше не видел в лесу!» — «А наши пушки ты нам, Венца, не отдашь?» — осмелел один из них, Ганачек. «Не валяй дурака, — осерчал дядя, — не то я еще передумаю». А когда оба браконьера исчезли во тьме, а они возвращались к сторожке, дядя сказал как бы извиняясь: «Кабы не их малышня, я бы их как пить дать доставил в жандармерию. — И добавил: — А ты помалкивай, иначе мне несдобровать».

«Я молчал и до сих пор нем как могила, — подумал Ян, — я даже не решился спросить дядю, что он сделал с отнятыми у браконьеров ружьями, хотя меня это очень интересовало. Умение молчать — одно из моих преимуществ. Забавно, я никогда не испытывал потребности выдать хоть малость из того, что несло на себе малейшую печать тайны». Благодаря своей молчаливости Ян еще в школе пользовался безмерным доверием друзей, они знали, что он ни за что их не выдаст, и не раз рассказывали ему о своих проделках, только чтобы похвастаться, хотя Яну не хотелось их слушать, потому что в результате он становился как бы соучастником и укрывателем. «Ладно, в конце концов это были невинные забавы, над которыми сегодня посмеялись бы и пострадавшие тогда, — говорил себе Ян, перебирая события прошлого, — но есть тайны, которые

человек хранит в глубине души всю свою жизнь и никому не может рассказать, иначе будет невыносимо стыдно перед самим собой и потеряешь последнюю каплю самоуважения». Ян не смог отгородиться от мучительного воспоминания далекого детства и вздрогнул — как всегда, когда оно приходило к нему.

«...прошу тебя, нет, нет, ради бога, нет, что ты делаешь... ох, беда будет, он же меня убьет, если узнает...»

Ян до сих пор не может понять, почему так неизгладимо запечатлелись в его памяти эти обрывки фраз, вздохи, шепот, слова, в которых животная страсть и желание сплавились со страхом и тревогой.

Он проснулся и с затаенным дыханием прислушивался к прерывистым стонам матери. В первый момент он хотел бежать ей на помощь, но тут же замер, чувствуя, как стекает по шее горячий пот. Он понял какой-то недетской интуицией. Вечером к ним зашел Богуш Мартан, отцов двоюродный брат, работавший где-то в Брно, привез бутылку сливовицы, налил себе и матери и выпил за здоровье отца, который, как рассказала ему мать, с весны устроился каменщиком в Вене и должен был вернуться лишь в конце сентября.

Мартана он с той поры ненавидел всей душой и старался избегать его, когда бы он у них ни появился. К матери Ян какое-то время относился с настороженной сдержанностью, хотел бы презирать, но не мог, слишком ее любил. Лишь не хотел ей простить, что она недооценила чуткость восьмилетнего ребенка. Если бы она поднялась с Мартаном в каморку на чердаке, ее прегрешение осталось бы без свидетеля. «Свидетель, который никогда не заговорит», — подумал он. Свидетель, который тем временем сам стал мужчиной.

И тут же в памяти возникло чистое, бледное лицо Стаси, сияющие бесхитростные глаза, полные доброты и нежности. Эти глаза, они с ним повсюду... Тоска накатила с такой силой, что он невольно, бездумно оперся рукой о ближайшее дерево. Змеино-гладкая кора бука холодила ладонь.

— Что с тобой?

Чуткое ухо Штефана уловило остановку Яна.

— Ничего. — Ян откачнулся от дерева. — Просто я вскинул рюкзак поудобнее.

Юрда окинул его испытующим взглядом. «Неужели выдохся?» — встревожился он. По сравнению с расстоя-

ниями, к которым они привыкли, это была легкая прогулка. Но Ян уже топал как ни в чем не бывало. Штефан повел левой рукой, приглашая майора вновь двинуться в путь.

«Разве можно это сравнивать с Магуркой?» — в который раз за последние недели сказал себе Штефан. И всякий раз это заклинание помогало ему справиться с любой проблемой. Магурка — это была школа. Суровая, чудесная, полезная. Те два года останутся лучшими в его жизни, вряд ли ему удастся прожить что-нибудь более прекрасное. «Так ты хочешь ко мне в носильщики?» — снова звучит в его памяти грубый, охрипший голос Гайдошика, снова он чувствует на себе колючий взгляд маленьких, хитрых глазок, беззастенчиво и со знанием дела меривших его с головы до ног. Штефан ожидал, что Гайдошик вот-вот начнет ощупывать его мускулы, как это делают на базаре перекупщики коней. «С виду ты парень крепкий, ничего не скажешь, — произнес он наконец-то спасительные слова, и его крупные белые зубы сверкнули в широкой улыбке. — Но тебе придется вкалывать, заранее предупреждаю. Даром я никого не кормлю».

И он вкалывал. Особенно трудно пришлось вначале. Когда Штефан впервые нес пятидесятикилограммовый рюкзак с продуктами, ему показалось, что путь из деревни наверх соответствует не просто перепаду высот в 1100 метров, а по меньшей мере высоте Памира или Гималаев. Расстояние, которое он позже играючи проходил за три с половиной — четыре часа, в тот день он чуть ли не ползком преодолевал от зари до зари. А последний, самый крутой участок под горной хижиной, так называемую лесенку, он брал с таким напряжением воли, что прокусил себе нижнюю губу. Если б на веранде не стоял Гайдошик, Штефан плюхнулся бы вместе с рюкзаком на пол из шпунтованных досок, но на глазах у того заставил себя сбросить чертов мешок на лавку, облегчив душу ругательством. Он ожидал, что хозяин хижины начнет ехидно подкалывать его, но Гайдошик лишь сочувственно посмотрел и сказал: «Для первого раза неплохо. Нацеди себе пива, а когда очухаешься — перекуси». Это сдержанное признание для Штефана Юрды было дороже всех слов похвалы, которые ему случилось услышать в своей предыдущей жизни. Через месяц-другой он поднимался с грузом в полцентнера таким шагом, словно за плечами у него была

бухта альпинистской веревки. А когда он выходил в горы с веревкой, ему казалось, что он витает на крыльях.

Добросовестную работу Штефана Гайдошик иногда вознаграждал и по-другому. Когда был в настроении, то оставлял хижину на попечение своего отца, жившего с ним в этой горной обители, брал с собой Штефана и поднимал в связке на один из окрестных пиков. Вместе они прошли ряд трудных маршрутов, летних и зимних, были на их счету и два первопрохождения, два «диреттиссимо» *, которые после них никому больше не удавались. Штефан был фанатик альпинизма, горы притягивали его как магнит; чтобы быть к ним как можно ближе, он без колебаний бросил свое хорошо оплачиваемое ремесло инструментальщика и стал носильщиком, а его библиотечка, перекочевавшая с ним на Магурку, состояла исключительно из книжек о горах и альпинизме. «Да ты, брат, знаешь о горах больше моего, хотя я живу в них с малолетства, — уважительно заявил Гайдошик (он был старше Штефана на пять лет), когда они познакомились поближе. — Ну, конечно, в основном теоретически». А поскольку Юрда с самого начала ему приглянулся, Гайдошик решил сделать из него настоящего альпиниста, потому что увидел у парня добрые задатки — и не ошибся. По собственному опыту Гайдошик знал, как важен каждый совет, а главное — пример старшего, которому ученик доверяет, о котором знает, что он в своем деле мастер. На вопрос Штефана, кто учил его лазать, Гайдошик скупо ответил: «Смотрел на других, разбирался, кто что умеет. — И ухмыльнулся: — Я, брат, по природе имею к этому талант, понимаешь?» Видимо, так оно и было, потому что уверенность его движений при лазанье невольно вызывала восхищение. «А я был понятливый ученик, — подумал Юрда, — и чтобы убедить самого себя, что и я не обделен талантом, я принимался за «сольные» восхождения, как только выдавалось свободное время. Маршруты я выбирал, соразмерные моему уменью, незачем было доказывать самому себе, какой я такой-разэтакий, замечательный... комплексами я никогда не страдал, зря рисковать здоровьем, а тем более жизнью не собирался. Меня давно уже манила северная стена Большой Иглы — солидный гранит, расслоенный на прочные блоки, посреди стены проходит крутой камин с многочисленными щелями, чисто техническое лазанье

* Восхождение по кратчайшему маршруту.

четвертой и пятой категории, ничего головоломного, после первовосхождения Фаркаша где-то в двадцатые годы его уже совершали бесчисленное множество раз парами и в одиночку, но от этого оно не становилось менее привлекательным. Я уже рассмотрел Иглу во всех подробностях, с задней веранды хижины она была отлично видна, а в бинокль каждая трещинка вырисовывалась как на ладони. Кроме того, я подробно расспросил обоих альпинистов из Братиславы, последними одолевших этот маршрут. Они подтвердили мне, что в маршруте имеется единственная серьезная проблема: примерно за две длины веревки до вершины скала образует нечто вроде воронки, которая в дождь быстро наполняется водой; вода падает вниз могучим потоком, а уйти траверсом в сторону здесь невозможно. Если пойдет дождь, остаются две возможности: закрепиться крючьями в верхней части нависающего камина, который, к счастью, не лежит на оси воронки, и переждать непогоду или спуститься по веревке — это вариант наиболее благоразумный.

В один прекрасный субботний полдень, как всегда с тщательно вычерченной схемой, я начал проход по маршруту Фаркаша. Отличный июньский день, на фоне темно-синего неба окрестные пики смотрелись как вышитые. Белая вершина Большой Иглы искрилась в солнечных лучах. Какое точное название, думал я, более удачного имени для этой вершины не подыскать. Посреди осыпей вонзался в небо ее острый наконечник. Я постучал по скале на счастье и поднял руку, чтобы схватиться за первый выступ. Прикосновение холодного камня пробудило во мне нетерпение. Через четыре-пять часов я буду наверху, оттуда можно спуститься на веревке или сойти к южной седловине, а затем прогуляться к хижине, времени у меня навалом. Кое-где мои предшественники оставили в стене крючья, и поэтому я продвигался вперед быстрее, чем предполагал. На полочке в нижней трети маршрута я был почти на час раньше намеченного времени. Я застраховался крючьями и стал наслаждаться видом на Магурку сверху. Мы, альпинисты, вознаграждаем себя дважды, — в который раз повторял я себе, — во-первых, той непередаваемой радостью, когда человек достигнет вершины, когда победит не скалу, не камень, а самого себя, и, во-вторых, видом сверху, который открывается только нам — и еще, может быть, летчикам.

Я съел немного меду, запил чаем и стал подниматься выше. Временами мне казалось, что я когда-то уже проходил маршрутом Фаркаша, до того тщательно я его проштудировал и даже словно прожил. Когда я был на полдороге, внезапно раздался гром. Я удивленно поднял голову. Надо мной было синее небо. Гром грянул еще раз, еще громче, в спину ударил порыв ветра. Удары грома раздавались все чаще, горы откликались многократным эхом. Я пытался понять, то ли это безобидная небольшая буря, то ли что-нибудь посерьезнее. Я думал о воронке над собой. Когда упали первые крупные капли, рассуждения пришлось отбросить. Я начал спускаться по веревке. Когда я спустился на две длины веревки, хлынул ливень. Я надеваю куртку и пытаюсь сдернуть мокрую веревку. Безуспешно. Где-то надо мной ее заело, не могу ее спустить, хоть убей. Стою и жду. Когда кончится ливень, вскарабкаюсь наверх и высвобожу веревку. Когда через два часа гроза миновала и дождь кончился, я замерз, как сосулька, о том, чтобы лезть наверх и освобождать веревку, нечего было думать. Из последних сил я застраховался крючьями, меня трясло от холода. И — почему бы мне сегодня не признаться в этом — и от страха. Мне было известно, что такое смерть от переохлаждения».

Всякий раз, когда Юрда вспоминал о своем плене на полочке северной стены Большой Иглы, он зябко поводил плечами. Словно в нем сидел где-то остаток сырого холода, который пронизывал его тогда до мозга костей. Счастье, что дождь лил только два часа, а не два дня, счастье, что со стены можно было докричаться до хижины, счастье, что Гайдошик был классный альпинист и всю спасательную операцию выполнил в одиночку. Когда он еще засветло спустил Штефана вниз и скорее донес, чем довел до хижины, то сказал только: «Тебе, брат, повезло, утром я бы уже спускал тебя завернутым в брезент».

Позже Штефан пытался как-то оправдать свою ошибку, объяснить, что маршрут был хорошо продуман, но, к его удивлению, Гайдошик не отчитывал его, не снимал стружку, не упрекал в просчете, в ошибке. «Ошибка? А ты никакой ошибки и не сделал, — сказал Гайдошик, — это восхождение было тебе под силу, ты вовремя и правильно отступил, а что веревку заело, так это с каждым может случиться... как бы ты ни знал горы, как бы ни рассчитывал во всех подробностях, всегда мо-

жет случиться что-то, чего ты никак не мог предугадать. В горах как в жизни, тут уж ничего не попишешь».

Юрда невольно усмехнулся. После того разговора прошло совсем немного времени, и Гайдошик получил возможность испытать правдивость этой поговорки на самом себе. Неожиданно с ним случилось то, чего он никак не мог ожидать, никак не принимал во внимание, — и тем не менее это случилось. В конце сентября в хижине появилась группа туристов, заранее забронировавшая для себя недельное пребывание в горах. Когда оказалось, что компания состоит из двух молодых людей и шести девушек, Гайдошик обрадовался: «Отлично заканчивается сезон, повеселимся с девушками на славу». Штефан полностью разделял его точку зрения и на всякий случай приволок снизу большой запас разнообразных напитков, чтобы вечера не были испорчены из-за пустяка. Неделя удалась на славу во всех отношениях и ко всеобщему удовлетворению. Они водили девушек по горам (молодые люди охотно предоставили им эту обязанность, сами же проводили время за сливовицей и игрой в марьяж вместе с двумя другими любителями природы, бившими баклуши на приюте), вечерами пели и танцевали под граммофон. О прочих подробностях этого веселого времяпрепровождения Штефан и Гайдошик никогда не разговаривали, но тем не менее в конце недели, когда группа уезжала, одна блондинка решила остаться еще на пару дней, а затем Гайдошик сообщил ошеломленному Штефану, что намерен покинуть хижину и в ближайшее время последует за светловолосой красавицей в Зволен, чтобы жениться на ней и там поселиться.

— А тебя я приглашаю на свадьбу в качестве свидетеля и предлагаю заняться хижиной вместо меня — не бойся, это все я устрою.

— Вот это сюрприз! Чтобы ты да женился? А сколько раз я от тебя слышал, что ты ради одного выстрела не станешь покупать весь тир? — Штефан решил ему напомнить его любимую поговорку. — Где же твои принципы?

— Они, брат, существуют для того, чтобы их заменяли еще лучшими принципами, — невозмутимо возразил Гайдошик.

— Даже у опытного альпиниста иногда заедает веревку, — поддел его Штефан.

— В горах как в жизни, ничего не попишешь, — охотно согласился Гайдошик.

«И ровно через шесть недель я уже был смотрителем горной хижины, — подумал Юрда. — Если б не это, вряд ли бы я теперь тащился по горам с этим паршивым майором». Он нарочно дернул рукой, чтобы убедиться, что это не сон. Ремешок врезался ему в запястье, майор Вайнер испуганно посмотрел на него.

— Не дрейфь, майор, это я просто проверяю, не потерялся ли ты у меня.

Сумерки опустились на лес раньше, чем ожидал Юрда. «Будем идти до полной темноты, — утверждал он себя в своем первоначальном решении. — Нужно попробовать в первый же день, чтобы проверить, насколько верны мои расчеты». Он старался идти как можно быстрее, но, несмотря на все старания, ему приходилось волей-неволей замедлять шаг, так как видимость ухудшалась с каждой минутой. К его разочарованию, оказывалось, что сумерки, во время которых можно идти хотя бы медленно и без особого риска, чертовски непродолжительны, особенно в лесу. А им нужно по возможности идти только лесом, потому что лес их союзник и друг.

— Береги глаза, — предупредил он Яна, и майору тоже показал, что нужно прикрывать лицо левой рукой. Ветки то и дело хлестали их по лицу.

Последние метры они уже не шли, а на ощупь пробирались от дерева к дереву почти в полной темноте, не видя друг друга, спотыкаясь друг о друга.

— Привал, — мрачно заявил Юрда, — дальше идти нет смысла.

— На мягкую постель мы здесь не можем рассчитывать, — заметил Ян, споткнувшись о камень. — Нужно подыскать хоть какую-нибудь ямку.

Он стал на четвереньки и начал ощупью исследовать место. Они были в молодом еловом лесу на довольно крутом склоне, усеянном гранитными валунами. Наконец он обнаружил между двумя плитами ложбинку, в которой могли бы более или менее удобно разместиться три человека. Хотел сходить за Штефаном, но побоялся, что потом не сумеет вернуться на найденное им место. Поэтому предпочел негромко свистнуть, а когда Юрда с майором добрались до него, он предложил Штефану:

— Проверь-ка сам это лежбище, как оно тебе?

— Трехспальный «люкс», — оценил находку Юрда.
— А поверх камней можно натянуть брезент.
— Дождя не будет. — Юрда поднял голову — ему показалось, что в лесу чуть посветлело. Сквозь просветы в кронах проглядывало серебристое небо: видимо, вышла луна.
Они уселись на рюкзаки, Юрда связал пленному ноги, выделил ему порцию еды, терпеливо подождал, пока доест, потом связал ему руки.
— Не слишком ли?.. — сказал Ян.
— Ну да, слишком. Он вскочил и побежал, а ты ищи его потом в этой тьме кромешной... Если б я не держал его на ремешке, он рванул бы от нас в любой момент. Автомат бы тогда пригодился только, чтобы за ухом почесать.
После ужина они выстелили ложбинку палаточным брезентом.
— Он будет без кляпа?
— Вот это уже было бы слишком. — Юрда достал свой охотничий нож и провел им под носом у майора. — Спать и не шуметь — ясно? Иначе капут.
— О да, капут. — Майор пожал плечами и уныло уставился во тьму. «За глупость приходится платить, — подумал он, — во всяком случае, я за нее расплачивался всю жизнь. А уж эта поездка была кардинальной глупостью, и, видимо, последней в моей жизни. Вряд ли у меня будет возможность совершать их и дальше». — Даю вам честное слово офицера, что не убегу, — сказал он вслух. — Вы можете развязать меня без всяких опасений; развяжите хотя бы руки.
— Ну нет, майорчик, тут уж ничего не поделаешь. Иногда честное слово бывает надежнее ремня, но в твоем случае я уж лучше положусь на ремень.
Майор Вайнер кивнул. «Ты прав, — думал он, — вообще-то у меня всегда было то, что принято называть чувством чести, и не помню, чтобы я когда-либо нарушил свое слово, но сейчас я, возможно, удрал бы, если бы представился случай. В конце концов, мои перспективы на будущее дают мне определенное моральное право на бегство. В таких случаях, как говорится, высока честь, да лучше бы слезть».
Все погрузились в свои мысли. Лес стоял тихий, как покинутый храм.
— Спишь? — подал голос Ян.
— Не спится. Закурить бы.

— Крепись, ты сегодняшнюю порцию уже выкурил,— насмешливо фыркнул Ян и, помолчав, спросил: — А мы прошли столько, сколько собирались?

— Думаю, да. Знаешь, я только сегодня понял, до чего день короткий.

— Мне он показался бесконечным.

— Нет, я вот думаю, дни стали страшно короткие, а что еще хуже — быстро темнеет. Придется выходить как можно раньше. Если проснешься раньше моего, разбуди меня. У меня такое чувство, будто мы готовимся подняться на трудную стену.

— Как это?

— Не знаю, у меня странное беспокойство, какая-то непонятная тревога.

Ян подумал, хороший это или плохой знак, но не стал говорить об этом. Он спросил:

— А перед какой стеной ты чувствовал что-нибудь подобное? Можешь вспомнить?

Штефан негромко засмеялся:

— Сколько их было, этих стен и этих беспокойств! Но если уж с чем-нибудь сравнивать, я бы назвал Галерею Черного пика.

— Галерея Черного пика?

— Да. Понимаешь, Ян, эта стена меня дразнила с той поры, как я понял, что кой-чему научился в альпинизме. Я глядел на нее как на непреступную женщину, которая дает тебе понять, что она слишком хороша для таких, как ты. А тебя это унижает, мучит, но в то же время заставляет доказывать ей, что она ошибается, что именно ты — тот, кого не следует отвергать.

— И ты ей это доказал?

Юрда протяжно вздохнул.

— Может, тебе это покажется странным, но я не решаюсь сказать ни «да», ни «нет». Сам посуди. Сначала я хотел пойти на нее с Гайдошиком, но тот уже проводил медовый месяц со своей белокурой феей, и я стал ждать, когда ко мне в хижину наведается стоящий парень. В таких делах напарнику нужно доверять как самому себе. — Юрда приподнялся на локтях, повернулся к Яну, спросил через голову майора: — Не спишь, тебе это интересно?

— Давай рассказывай, не дразни.

— В глубине души я думал про Жучка, это кличка, понимаешь, годом раньше мы с ним сделали пару восхождений, понимали друг друга с полуслова. И пред-

ставь себе, однажды к вечеру стою на веранде, смотрю, как меняются цвета долины при закате солнца, и вдруг вижу: кто-то топает от деревни вверх — неужто Жучок? А он мне говорит: «Штефан, что-то меня вдруг сюда потянуло со страшной силой — вот я и пришел». Я ему говорю: «Дружище, ты пришел вовремя, я как раз о тебе думал». Погода была как на заказ, мы не стали откладывать, на следующее утро двинулись на место. Нависающая стена, смотрит на северо-запад, за несколько дней до того лил дождь, так что она была сырая, это уже минус. «Мы ее сделаем», — говорит Жучок. Я пустил его первым. Одно удовольствие было смотреть, как солидно он вбивает крючья, как страхует, как ощупывает каждый камень, прежде чем ухватиться, — никакой халтуры. Мы шли почти все время молча, понимали друг друга без разговора, отлично шли. Подробностями я тебя утомлять не буду. Осталось пройти примерно две длины веревки, он скрылся за выступом, и вдруг слышу: «Держи!» Я был хорошо застрахован на своей позиции и сразу приготовился. Видеть я его не видел, скрывал выступ, я слышал только, как крючья, которыми он страховался, прозвенели «дзинь, дзинь, дзинь» и все остались на веревке. Рывок был не снизу, а через верхний крюк, меня вздернуло к нему вверх, так я там и повис. Правда, я был к этому готов, веревка у меня не проскочила, и я его удержал. Потом слышу, как он кричит снизу: «Все, сливай воду, я ногу себе вывихнул». Потом крикнул, что он уже застраховался; значит, у меня руки освободились, я закрепил веревку крючьями и спустился к нему. Он вывихнул ногу в бедре и не мог двигаться. «Прощай, Галерея», — подумал я с сожалением. Что теперь делать? Спускаться по веревке вместе? Об этом нечего было и думать, он шевельнуться не мог, а оставить его в таком состоянии на стене и идти за помощью мне не хотелось, это страшно долго, он за это время мог концы отдать от боли, такое очень даже возможно. И тогда я решил: сам попробую.

— Что сам? — не удержался Ян.

— Вправить ему ногу.

— Что ты мелешь, это не такая простая штука, и делают ее под наркозом.

— Да-да, потом в больнице мне так и сказали. Ну ничего, я основательно застраховал его и себя, схватил его за ногу и стал тянуть, поворачивая ее против на-

правления вывиха. Он ревел как бык, но с третьей попытки сустав вправился, я слышал, как там хрустнуло. Мы оба купались в поту, но ему сразу полегчало, он смог сесть, а когда очухался, сумел сам спуститься на веревке, благо руки у него были в порядке. Дело шло медленно, но мы справились. Я притащил его в хижину, а потом, в больнице, ему уже только зафиксировали ногу. Вот такой конец у истории, как я покорял чертову Галерею. То ли это поражение, то ли победа, сам не знаю.

— Я бы сказал, — помолчав, отозвался Ян, — что вопрос поставлен неверно... какое поражение, какая победа? История покорения Галереи переросла в совсем другую историю... вдруг оказалось более важным совсем другое.

— Ну что ж, возможно, — согласился Юрда.

— Больше ты не пытался на нее подняться?

— Потом было не до нее, вскоре на Магурку пришли Кепка с Гораном и их ребята... эту историю ты уже знаешь.

Штефан завернулся в одеяло.

Майор рядом с ним спал, он слышал его спокойное дыхание.

Штефан прижался к нему. «Друг ли, враг ли, но хотя бы погреться можно, — ухмыльнулся он, улегся поудобнее. — А неплохой получился бивак. По сравнению с теми, какие бывают зимой в горах, просто шикарный».

— Ян, — тихо сказал он в темноту, — когда все это кончится, возьму тебя на Магурку и мы с тобой пройдемся с веревкой по тамошним скалам. Что скажешь? — «Ничего он не скажет, — ответил он сам себе, — уснул наш Яничек. Странно, уснул раньше моего. Спи, брат, спи, это самое разумное, что сейчас можно предпринять. И мне бы не грех поспать».

Штефан закрыл глаза, но, хотя обычно он умел засыпать буквально по команде, теперь сон упорно не шел к нему. Он никак не мог избавиться от какого-то странного напряжения, которое не давало отключиться. Он лежал, глядел во тьму, думал — и тут вдруг рядом с ним шевельнулся немецкий майор, и Штефан понял, откуда это чувство, не то приятное, щекочущее нервы беспокойство, нетерпение, которое испытывает альпинист перед интересным и трудным восхождением, а совсем другое: сознание ответственности, сознание, что

задача, за которую взялся, вовсе не такая уж простая и невинная, как он пытался внушить Яну.

Именно сегодняшний вечер и блуждание ощупью по стемневшему лесу показали, что в своих представлениях человеку бывает легче справиться с некоторыми проблемами, чем в действительности. А ведь это только начало. Майор просто пошевелился, бессознательно, как любой человек, норовящий поуютнее угнездиться во сне, а Юрда уже весь напрягся, готовый броситься на пленного, если бы тот попытался сбежать. И так будет все эти восемь-десять дней: все время начеку, в постоянной готовности к любому повороту событий. И нужно, пожалуй, чтобы так же настроился и Ян. Не дергаться, не пугаться каждого куста, но и не размагничиваться, а то как бы им не поплатиться за это.

Штефан вздрогнул, приподнявшись, схватился за автомат.

— Тихо, тихо, — успокаивал его Ян, — это я, не хотелось тебя будить.

Штефан протирал глаза.

— Господи, неужто уже утро?

А ведь казалось: только-только уснул. Он посмотрел на пленного. Широко открытыми глазами майор глядел вверх, на темные своды елей, сквозь которые просвечивало небо. Юрда оперся локтями о колени и стиснул ладонями голову. Она была как чугунная.

— Кофе, горячего кофе бы сейчас, — пробормотал он, и ему представилась уютная кухонька в хижине на Магурке, где на растопленной плите всегда кипела вода в кофейнике. Он услышал аромат этого божественного напитка, с которого привык начинать день.

— Oh, Kaffee, mein Gott *. — понимающе вздохнул майор Вайнер.

Юрда помрачнел, оторвал голову от ладоней, зло покосился на него.

— Сидели б вы смирно дома и не лезли «нах Остен», тогда б мы оба сейчас попивали свой утренний кофеек.

— Что? Я не понял, — уставился на него майор.

— А, что с тобой говорить, — буркнул Юрда. — Как выспался, Ян?

* О, кофе, боже мой (нем.).

— Каждый бы день так!

Через несколько минут они уже шагали по сумеречному, просыпающемуся лесу. Чтобы не терять драгоценного времени, завтракали на ходу. Первым шел Юрда, за ним Ян, к левой руке которого была привязана правая рука майора. Каждый сосредоточенно жевал сухую колбасу. «Почему я не запас в хижине побольше этой колбасы?» — упрекал себя Юрда. Правда, он тогда сказал мяснику: «Приготовьте к следующей неделе побольше колбас». Но между тем Магурку «оккупировал» отряд Кепки, и пошли другие заботы.

«В отличие от Гайдошика я старался, чтобы кладовка всегда была полна продуктов, главное, таких, которые не портятся: копченое сало, окорока, консервы. Когда мы покидали Магурку, я посоветовал ребятам взять с собой из хижины любое снаряжение и оружие, которое может им пригодиться на будущее. Потом привел Кепку в кладовую и спросил с невинным видом: «А с этим что делать? Возьмем что-нибудь с собой?» И краем глаза смотрел, как у него расширяются зрачки. «Как? — сказал он на выдохе, придя в себя от изумления. — Что-нибудь? Все берем. Даже если придется в зубах нести. Да ты знаешь, что это для нас значит?» Штефана согревало сознание того, что отряд до сих пор питается припасами, взятыми с Магурки. Кладовку очистили классически, даже четыре пятикилограммовые жестянки огурцов взяли с собой.

— Bitte, ein Moment *, — услышал он за собой пленного.

— В чем дело?

— Там, — показывал майор Вайнер на родничок, вытекающий из-под скалы. — Нельзя ли мне умыться?

— А что, это мысль, — сказал Юрда, поколебавшись. — Мы тоже ополоснемся. Кто знает, когда еще представится случай. Видал, каков глаз у стервеца? — кивнул он Яну. — Вот ты заметил эту струйку? И я не заметил.

— Теперь бы еще побриться, — вздохнул пленный после умывания.

— Об этой роскоши, майорчик, пока и не мечтай.

Они напились, наполнили водой фляги.

— Сколько нам нужно сегодня пройти? — спросил Ян. — Туман поднимается, — озабоченно добавил он.

---

* Пожалуйста, на минутку (нем.).

— Это нам на руку. Туман передо мной, туман за мной. Самая лучшая маскировка. Сколько нам пройти? Хорошо бы дойти до Трех копèн, но тебе это название ничего не говорит. А если нам туман подсобит, можно дойти до сеновала в Долгой долине, переспали бы под крышей.

И действительно, туман был им на руку. Отдельные светлые клочья, рассеянные по лесу, постепенно сливались в однородную сырую массу, пока горы не растворились в белом молоке. Юрда то и дело останавливался, прислушивался. Хотя туман и обеспечивал идеальную защиту с точки зрения видимости, именно в тумане можно было столкнуться с кем-нибудь носом к носу.

Ян было думал, что эти частые остановки нужны, чтобы сориентироваться. Но вскоре он убедился, что Штефан может определять местонахождение почти вслепую. На этот раз они в основном держались дороги, туман вокруг ходил волнами, как в прачечной, в сыром воздухе любой звук был слышен издалека. «Слышишь, а тебя не услышат, видишь, а тебя не увидят», — вспоминал Штефан излюбленное правило Горана. У Горана можно было многому научиться, с виду бирюк, чудак, а по сути, парень, каких поискать. Штефана, который обожал горы и в какой-то мере видел в себе «дитя природы», Горан привлекал тем, что замечательно понимал и чувствовал природу, действовал в ладу с ней, и она всегда была ему помощницей, а не врагом — у Штефана был нюх на таких людей, и он умел оценить их по достоинству. «Ты ведь житель лесов и душой и телом, — сказал он как-то Горану. — Так и вижу тебя лесником, егерем, представляю, как ты живешь себе в лесной сторожке и в ус не дуешь». — «Лесником? — Горан блеснул белыми зубами в одной из редких своих улыбок. — Угадал». — «Так ты и есть лесник?» — удивился Штефан. «У меня сторожка в горах Большой Фатры, вернее, была сторожка, — помрачнел Горан, — гардисты* ее спалили. Потому я и здесь». — «Большую Фатру не знаю», — признался Штефан. «Если не знаешь, можешь узнать, — сказал Горан. — Когда построю сторожку, приезжай, я тебя приглашаю». — «Что значит: когда построю? — возразил Штефан. — Я тебе помогу ее построить. Холостой я человек, свободный, могу делать, что хочу». — «Идет, — протянул ему ру-

* Гардисты — члены фашистской организации в Словакии в 1935—1945 годах.

ку Горан, — с таким мастером на все руки, глядь, дело пойдет. Слушай, — спросил он тогда у Юрды, — сколько ты знаешь ремесел?» — «Одно, — улыбнулся польщенный Штефан. — Одно, зато королевское: я слесарь-инструментальщик. А уж оно тебя всему научит». — «Постой, постой, — не сдавался Горан, — и взрывному делу тоже?» — «А, этому я научился в каменоломне, я там одно время работал».

Штефана отвлек от мыслей неожиданный звук. Он остановился и придержал Яна с майором. Из тумана перед ними донесся хруст щебенки на дороге. Кто-то шел им навстречу. Штефан схватил майора за левую руку и вместе с Яном потащил его в сторону, в лес. Когда дорога исчезла в тумане, они остановились. «Нет смысла продираться сквозь чащу дальше и обращать на себя внимание, — думал Штефан, — с дороги могут стрелять на звук». Они прислушивались с автоматами на изготовку. В нескольких шагах от них по дороге шла группа людей. Было очевидно, что у них тоже были основания идти как можно тише, они не разговаривали, ступали легко, осторожно.

— По-моему, их было человек двадцать-тридцать, — сказал Ян, когда люди прошли.

— Похоже, что так.

— Ты думаешь, наши?

— Трудно сказать. Главное, что мы вовремя уклонились от встречи.

Они опять вернулись на дорогу.

— Ян, держи ушки на макушке, чтобы нас ничто не застало врасплох, — еще раз предупредил Юрда и благодарил небеса за то, что туман не рассеивается.

— Покажи мне, где мы находимся, — попросил Ян, когда они свернули с дороги в лес, чтобы передохнуть.

Юрда достал карту, разложил ее и ткнул пальцем. Майор, понявший, о чем идет речь, тоже наклонился над картой, но Юрда отодвинул ее.

— Тебе до этого нет дела. — Яну он сказал: — Вот здесь был лагерь, а мы вот здесь.

— Ну что ж, неплохо, — оценил Ян пройденное ими расстояние. — Но я тебе честно скажу: в этом тумане я бы с картой заблудился в два счета. А эти Три копны где?

— Остались позади, — улыбнулся Юрда и постучал пальцем по точке, которую отделяли от них три километра. — Скоро придем к сенному сараю.

Это «скоро» растянулось на добрых два часа, но еще засветло они свернули с дороги, идущей по гребню, и начали постепенно спускаться. Потом вышли из леса, и перед ними открылся вход в Долгую долину; впрочем, в этом тумане его распознал только Юрда. И то впервые за все время их путешествия Штефан заколебался. Он пытался восстановить в памяти точную картину поросшего травой склона, на верхнем краю которого стоял когда-то сенной сарай. Но стоит ли он еще? «Как же давно я здесь не был? — вспоминал он. — Семь? Нет, восемь лет». А почему бы и не стоять, такой рубленый сарай простоит десятки лет. Если только его не сожгли. Но в этих краях до сих пор было спокойно. «А тут еще этот туман, в бога его», — тихо выругался он про себя, тайком, чтобы его не поймал на слове тот, кто там, наверху, возможно, правит ходом вещей на этом свете, если только он существует, но над этим вопросом Штефан никогда не ломал себе голову. «Если бы сарай стоял на краю леса, я бы нашел его играючи, но он, как назло, торчит где-то посредине склона». Дело было не только в соблазнительной перспективе выспаться в сухом, теплом сене. Хотя Штефан не хотел себе в этом признаваться, он чувствовал, что его влечет сюда и сила воспоминаний. «Черт побери, с каких это пор я стал сентиментальничать», — бранил он себя за эту слабость и в то же время поддавался ей.

— Пошли, — позвал он Яна. Он решил идти по лугу зигзагами, от леса и снова к лесу. Рано или поздно наткнешься на сеновал.

— Видишь? — протянул руку Ян, когда после четвертого зигзага перед ними вынырнул из мглы черный контур какого-то строения.

— Вижу, — довольно кивнул Юрда. — На сегодня отбой.

«Но не сразу», — подумал он. В такое время неожиданности возможны в любой момент и в любом месте. Приют легко мог стать ловушкой. Он взял Яна за рукав, и они отступили в лес. Сарай снова погрузился в туман.

— Постойте здесь, я скоро вернусь.

Штефан не стал возвращаться по следам, оставленным ими в росистой от тумана траве, а пошел вдоль опушки леса вверх. Теперь он мог полностью положиться на свое умение ориентироваться, выработанное го-

дами жизни в горах. Он обошел сруб по дуге и приблизился к нему с противоположной стороны, держа в руке гранату, готовый ко всему. Подумалось: «Нужно было дать Яну карту», — и он заколебался, не вернуться ли, но не сделал этого: взяла перевес уверенность, что, кроме них, здесь нет никого. Он лежал в траве и сосредоточенно прислушивался. Ниоткуда ни звука, полная, неподвижная тишина. Штефан знал, что у сарая есть воротца, обращенные к опушке леса, а над ними — окно со ставнем, через которое забрасывают внутрь сено. Остальные стены были глухие. Штефан подкрался к сараю, стоя на колене, пристально вглядывался в силуэт сруба, потом осторожно подошел вплотную и заглянул за угол. В пробой запертых ворот был вставлен потемневший суковатый колышек. И окно над ними заколочено снаружи. Штефан облегченно и радостно вздохнул. Прильнул ухом к стене и долго прислушивался. Не услышав даже малейшего шороха, вытащил колышек и открыл воротца стволом автомата. Сарай был пуст. Прошлогоднее сено скормили, а в этом году, похоже, и вовсе не косили.

Штефан запер ворота на колышек и прямиком пошел к месту, где ждал его Ян с майором.

— Ян, — негромко окликнул он издали, чтобы не напугать его неожиданным появлением.

— Думаешь, тут безопасно? — спросил Ян, когда они вошли в сарай.

— На сегодняшнюю ночь определенно. Как было бы днем — не знаю.

Наступала темнота. Штефан был уверен, что ночью никто — ни местный, ни случайный попутчик — не рискнет приблизиться к сеновалу. Слишком опасное было время, слишком неясное для каждого, кто не был уверен в своей силе и превосходстве.

«Вот разве только, если сюда забредет молодежь снизу, из деревни, как мы когда-то с Душаном», — подумал Штефан, когда они сгребли на дощатом полу остатки сена и улеглись на них, завернувшись в одеяла. Но в такое паршивое время это мало вероятно, у молодых людей теперь иные заботы. А хоть бы и пришли, такой визит нам бы не был опасен.

«Сразу ли понял я тогда намерения Душана, или только догадывался, что у него на уме? — так размыш-

лял Штефан, заложив руки под голову. — Ну да, — вживался он в тогдашние свои чувства, — я догадывался, чего он хочет, не так уж я был тогда наивен, но я-то не думал об этом и ни на что не рассчитывал. Быть готовым, но ни на что не рассчитывать как на что-то верное; ничему не радоваться заранее; наоборот, скорее предполагать, что ожидаемая радость или то, чего ты так страстно желал, не случится, не произойдет, в последнюю минуту превратится в прямую противоположность». Это отношение к жизни, не имевшее ничего общего с какой-нибудь суеверностью или пессимизмом, Штефан перенял у деда по матери, самобытного деревенского мыслителя, прошедшего огонь и воду (причем огонь в буквальном смысле: в первую мировую войну он лишился двух пальцев на правой руке, а где-то в бедре у него так и осталась пуля из итальянского карабина), и тем не менее несокрушимого оптимиста, который печали и разочарования внука лечил настоятельным советом: наслаждайся радостью, смакуй ее только тогда, когда она у тебя в руках! Нелегко было усвоить эту «философию наизнанку», как позже стал называть ее Штефан. Но она оправдывала себя и помогала. «Восход солнца, — улыбался Штефан в темноте, — красивая выдумка Душана, поэтическая. Восход солнца в самый долгий день года». Чтобы не проспать его, нужно было подняться на Крутой склон к четырем утра. Но для этого нужно выйти из деревни хотя бы в два часа ночи. А что, если развести там, наверху, костерок и вообще не ложиться спать; а если уж будет невмоготу, можно вздремнуть на сеновале, а оттуда до Крутого склона рукой подать! — развивал свою идею Душан-искуситель. Данка, правда, была не в восторге, ей приходилось тайком выбираться из дома, но Бетка ее уговорила.

На кострище около сарая, где косари обычно разогревали обед, они развели небольшой костер, обжаривали шпекачки, пели. Душан со Штефаном показывали себя перед девчатами, соревновались, кто прыгнет выше и дальше, потом вели разговоры до глубокой ночи, пока Бетка не поднялась: мол, устала, пойдет вздремнуть. Когда она и Душан скрылись в сарае, Штефан еще долго сидел с Данкой у догорающего костра, обняв ее за плечи, они молча глядели на пламенеющие угли. Когда она зябко поежилась от холода, он бережно и нежно повел ее к сеновалу. Она пошла с ним без колеба-

ний. Услышав во тьме смешки Душана и Бетки, они ушли в дальний угол. Он обнял Данку, она прильнула к нему. Штефан стал целовать ее, но почувствовал, как она вдруг застыла, когда вторая парочка стала предаваться любви без всякого стеснения. В этом было что-то отталкивающее и в то же время возбуждающее. Штефан тоже замер на мгновение, ошарашенный, — это было уж слишком. Но потом желание взяло верх, и он начал гладить Данку. Она схватила его за руки, подняла их к своей голове, словно хотела закрыть ими уши, и умоляюще зашептала: «Только не так, прошу тебя». Он лежал рядом с ней неподвижно и пытался понять, нужно ли ему преодолевать ее сопротивление. Звуки, которые он слышал, вдруг стали ему омерзительны. В эту минуту ему хотелось одного: схватить Душана за шиворот и вышвырнуть отсюда. Если это было для него главным, незачем было заманивать сюда. Он положил голову Данки себе на грудь и был благодарен ей за стыдливость, которой Бетка явно не отличалась. Они лежали рядом долго, пока в щели между балками не начал просачиваться слабый свет. Они не спали.

— Пойдем, — тихо сказал Штефан, и они бесшумно выбрались с сеновала. Умылись в речушке под Крутым склоном, в которую сбегали окрестные родники, и поднялись на вершину. Мглу, скопившуюся за ночь в горных долинах, начали пронзать оранжевые лучи, а потом горизонт запылал пожаром, из которого вынырнул ослепительный диск. Они стояли рядом и смотрели, как разгорается у них на глазах новый день, самый долгий день в году. Неприятные переживания ночи остались где-то позади. Они чувствовали себя как после очистительного омовения.

Когда через несколько дней он встретился с Душаном, они, как ни странно, ни словом не обменялись о происшедшем.

«Не прошло и двух недель, как отца, железнодорожника, перевели на другую работу, мы переехали в Липтовский Микулаш, и я там тоже начал работать в железнодорожных мастерских. Кончилась недолгая любовь с Данкой, с тех пор я с ней не встречался. И не было у нас с ней самой последней близости. Но я об этом не жалел: то, что мы дали друг другу в ту ночь, было для нас обоих ценнее, чем то, от чего мы отказались. Иногда человек больше обогатится тем, от чего он откажется, нежели тем, что мог бы иметь. Наверное, Данка тем

временем уже вышла замуж, обзавелась детьми, стройная, хрупкая девушка превратилась в статную, рассудительную женщину, практичную и решительную, — такими обычно бывают женщины в этих краях». «В этих краях», — повторил про себя Юрда и сам удивился, что не сказал «в наших» или «в моих краях». Правда, родился он не здесь, но прожил здесь лет десять с лишком, больше трети своей жизни, так долго он пока еще нигде не жил. И это были славные годы, на старости лет они вспоминаются как самые прекрасные... школа, мальчишеские игры и драки, учеба, первые поцелуи и невинные прикосновения, Данка... Но даже теперь, возвращаясь мыслью в не такое уж далекое время, которое он мог считать если не самым счастливым, то хотя бы самым беззаботным, вспоминая его теперь, в условиях, которые он не сумел бы представить себе даже в самой необузданной фантазии, — даже теперь он глядел на то время с какой-то дистанции, как бы с птичьего полета, как любопытный наблюдатель, который сердцем все же находится в другом месте. «Да, именно так, сердцем, всем своим существом я уже принадлежу другому краю. За несравненно более краткое время я укоренился в другом краю, привязался к нему, а то недавнее прошлое для меня не больше, чем приятное воспоминание. Горы меня околдовали, это мой край, мой мир — эти крутые, возносящиеся, расщепленные, манящие и отвергающие пики, гладкие, раскаленные солнцем плато и хмурые, оледенелые, вечно сырые камины в северных стенах». Штефан даже затрепетал от счастья. Никогда ему не найти слов, способных выразить его безграничное восхищение этим каменным морем, неутолимую жажду быть и жить в постоянном контакте с ним. «Магурка стала моей судьбой, — подумал он, — и может быть, роковой», — промелькнуло у него в голове. Если б не Магурка, не попал бы он в отряд Кепки и не было бы этого похода во тьме.... и во тьму. Ну да, каждый путь может быть роковым, последним. Если так рассуждать, человеку нельзя шагу ступить из дому или высунуть нос из-под одеяла, но и тогда он не избежал бы опасности. Он вспомнил Гашпирека и Яношку, знаменитых скалолазов, которые шутя одолевали самые трудные стены и считались некоронованными королями альпинизма. Один свалился с крыши, когда чинил кровлю, другой захлебнулся собственной рвотой на свадебном гулянье. Этот нынешний путь имеет что-то общее с прохожде-

нием незнакомой и, возможно, трудной стены. Необходимо продумывать каждый хват рукой, каждый шаг ноги, находить самые подходящие места для крючьев, выискивать площадки, на которых можно разбить хоть какой-нибудь бивак, и при этом все время продвигаться к вершине не только руками и ногами, как говаривал Гайдошик, но и головой. «Опять я мыслями вернулся к нему», — подумал он. Если задать себе вопрос, кто сильнее всего в жизни повлиял на него, кто больше всего дал ему для жизни, — кто знает, возможно, Гайдошик попал бы на первое место. Эта мысль заинтересовала его настолько, что он начал всерьез заниматься ею.

Родители. Конечно, он их любил, уважал их, и, хотя ему не под силу было оценить по справедливости, что они дали ему, кроме самой жизни, Штефан не мог избавиться от чувства стыда за то, что они для него как бы отступили на второй план с тех пор, как он вылетел из семейного гнезда. Но, видно, такова уж задача родителей: научить детей становиться на крыло. И если верить словам деда Матея: «Парень, ты в жизни не пропадешь», — родители сделали для Штефана все, что могли, что было в их силах. Нет-нет, в этом ряду людей, с которыми он до сих пор общался, родители вне всякой конкуренции.

Если говорить об остальных, то дед Матей занял бы место рядом с Гайдошиком. Трудно сказать, что́ притягивало Штефана к этому костлявому, с виду неприветливому старику, которого он так боялся, когда был малышом. Наверное, то, что он, как принято теперь говорить, всегда был «на высоте положения». Штефан никогда не забудет, какой сумасшедший дом был у них, когда ни с того ни с сего стала вдруг издыхать их корова — как потом выяснилось, она проглотила гвоздь. Мама плакала так, что сердце разрывалось, сестры подпевали ей как могли, отец ломал руки и сокрушался: какое несчастье! — и тут появился откуда-то дед. Постоял, глядя на лежавшую корову (она уже была при последнем издыхании), а потом набросился на причитавшего отца: «А ты что, не мог позвать мясника? Хотя бы за мясо деньги выручили бы». Тут же сбегал в дом, принес длинный и острый нож, выгнал всех из хлева и собственноручно прирезал корову. Потом скрылся с деньгами, вырученными за мясо, а через две недели привел откуда-то славную телушку, для покупки которой ему

пришлось, видно, добавить не одну крону. Привел и без лишних слов привязал ее в стойле.

И еще один случай вынырнул из памяти. Бог его знает за что он получил от Ондрея изрядную взбучку и с ревом прибежал домой. Дед Матей мрачно его выслушал. «Плачем делу не поможешь, — сказал он и всадил топор в колоду. — Понимаешь, чтобы не быть битым, нужно уметь драться. Смотри. — Дед несильно ударил Штефана в живот, тот охнул, а дед скрутил ему руки за спину и подсек ноги. — Так, а когда он будет на земле и не сдастся, двинь ему еще разочек в нос. А теперь попробуй на мне». Они повторяли эти захваты до тех пор, пока Штефан не овладел ими в совершенстве. «Вот теперь можешь с ним сквитаться», — с довольным видом сказал ему дед. Он сквитался с Ондреем на другой же день. А так как тот не хотел сдаваться, он двинул ему и в нос, памятуя дедов совет. С тех пор они с Ондреем стали закадычными друзьями.

Дед Матей. Когда ему было семьдесят два, его принесли в феврале от заводи, куда он ходил рыбачить. Замерзшего. Сказали, что он напился и заснул на морозе. Он сидел, прислонившись к вербе, и глядел на реку. Как сказал им доктор, это не был несчастный случай. У деда был рак, и он это знал.

Человек встречает массу людей, встречаются и расходятся, как на гулянье, добрый день, привет, как поживаешь, для одного сделает что-нибудь, тот сделает что-то для него, этому ты нужен, а он, опять же, нужен тебе, но вот таких, которые западают тебе в душу, не так уж много. Дед Матей, Гайдошик, Кепка. «...Кепка? — задумался Штефан. — Ну конечно, Кепка отличный мужик, порядочный до мозга костей, я его уважаю, но Горан мне как-то ближе, у него что-то общее с дедом Матеем. И видит бог, я ему эту сторожку построю. А потом уже остается, пожалуй, только Ян. — Штефан повернул голову туда, где раздавалось в темноте его спокойное, глубокое дыхание. — Даже странно, до чего мне полюбился этот моравский паренек. Что за особые сигналы оживают где-то в мозгу, но скорее всего в сердце, и вдруг связывают с кем-то другим, и мы безошибочно чувствуем, что настроены на одну и ту же волну, хотя с иным свои сигналы не согласуешь, хоть в лепешку расшибись».

Он услышал, как Ян рассмеялся во сне. Может, встретился во сне со Стасей? Хотя бы во сне, потому

что в жизни это ему вряд ли удастся. Разве что в самом невероятном случае... хотя почему бы и нет, в жизни и не такое случается. Наверное, это головокружительно сильное чувство, если ради него человек готов отказаться от всего и совершенно забыть о себе.

«Вот странно, — подумалось Штефану, — а я в свои двадцать семь все еще не повстречал девушку, без которой, как говорится, не мог бы жить. Была Данка, первая моя любовь, которая оборвалась не по моей вине, не оставив на душе ни малейшего шрама. И была пара придорожных цветочков, сорванных мимоходом. А все равно хотелось бы прожить что-нибудь головокружительное, безрассудно прекрасное, вроде той лихорадки, которая постигла Гайдошика и его белокурую фею».

— Ложись! — крикнул он Яну и втащил майора под корни вывороченной ели.

На полоску леса, изувеченную весенней бурей, обрушился град выстрелов. Они трещали слева и справа, одиночные сухие винтовочные выстрелы и лающие автоматные очереди. Слышен был свист пуль и глухой стук, когда какая-нибудь из них врезалась в одно из деревьев, местами стоявших над буреломом.

После первых же выстрелов Юрда понял, что стрельба относилась не к ним.

— Мы влипли в перестрелку, — ответил он на невысказанный вопрос Яна. Судя по направлению стрельбы, через бурелом, оказавшийся на их пути, отступал какой-то отряд, снизу преследуемый противником.

С наибольшей вероятностью можно было предполагать, что отступали н а ш и, но могло быть и наоборот.

Они лежали в углублении под комлем вывороченного дерева, а над ними виднелся кусочек неба. Штефан лихорадочно думал, что делать. До сих пор он всю дорогу придумывал самые невероятные н е о ж и д а н н о с т и, которые могли их встретить и которых он стремился избежать, но ситуация, в которую они вдруг попали, ни разу не приходила ему в голову. Ждать! Ждать и надеяться, что никто из отступающих или преследователей не обнаружит их в этой яме. Ждать, когда утихнет перестрелка, когда все перекатятся через них... А если кто-нибудь заметит их, тут же безжалостно стрелять — в этом пекле никто не обратит внимания на лишний выстрел.

— Ян, держи на прицеле пространство перед собой. Увидишь глаза — стреляй! — сказал Штефан. Подталкивая впереди себя майора, он проскользнул под комлем на противоположную сторону, чтобы их не застал врасплох кто-нибудь из поднимающихся по склону.

Скорчившись, Ян втиснулся в корни и застыл, выставив перед собой автомат. Теперь стрельба раздавалась отовсюду. В ушах его все еще звучали слова Штефана: «Увидишь глаза...» Он понял. Любой из преследователей или преследуемых опасен, лишь если обнаружит их. Опасны только глаза... Впервые ему пришлось бы стрелять почти в упор, на этом расстоянии он, пожалуй, различил бы даже цвет глаз того, другого. Если только другой не среагирует быстрее. Ян чувствовал, как стекает по позвоночнику холодная капля пота. «Нет, первым буду я, — настойчиво уговаривал он себя. — Если дело дойдет до этого, мне нельзя заколебаться, нельзя дать осечку. Ради Стаси, ради ее глаз. Ради Штефана». Он отогнал мысли, отвлекавшие его, сосредоточил все внимание на поле зрения перед собой. Оно было невелико: в полукруге, ограниченном сверху буреломом, а снизу — соседним лежащим стволом, покачивался на фоне неба желтый цветок пижмы. Между стеблем и околоцветником развевалась на слабом ветру паутинка бабьего лета. В этом малом пространстве могли появиться чужие глаза, туда было направлено дуло его автомата.

Ян не был уверен, не случилось ли это в ту долю секунды, в которую он моргнул. Паутинка исчезла, а вместо цветка торчал лишь расщепленный стволик пижмы. Где-то захлебывался пулемет. Ян стиснул автомат и ждал. Спокойно, хладнокровно.

Но в его поле зрения ничего больше не менялось.

Стрельба удалялась вверх по склону, слабела, редела и наконец утихла совсем. Наступившая тишина закладывала уши. Наконец Ян шевельнулся. Хруст в онемевшем колене прозвучал как выстрел. Он переменил положение, но все еще был начеку. Прошло немало времени, прежде чем он осмелился выглянуть из укрытия. И то сначала он выставил на дуле автомата шапку и лишь потом выбрался наружу. Когда он разглядывал изувеченный лес, ему показалось, что сокрушительная буря пронеслась над ним только что. Стрельба, которая еще звучала в его ушах, лишь усиливала это впечатление.

— Штефан, — тихо позвал он, а когда Юрда не ответил, он повторил еще настойчивее: — Штефан!

Ответное молчание заставило его снова припасть к земле; чуть ли не ползком он пробрался на другую сторону, обогнув огромный ком вывороченных корней.

— Штефан, все уже кончилось, — свистящим шепотом произнес он.

Юрда, скорчившийся, никак не реагировал на его слова. Рядом с ним понуро сидел майор.

— Нет, — бросился Ян к Штефану. — Не может быть!

Он взялся за голову Юрды, поникшую к левому плечу, потом медленно отпустил ее.

— Мертвый, — тихо произнес он, глядя на растопыренные пальцы своей правой руки, мокрые от крови.

— Шальная пуля, — сказал майор сдавленным голосом.

— Шальная пуля, — тупо повторил за ним Ян и повалился рядом с Юрдой.

С наступлением дня утренний туман стал рассеиваться. В лесу показалось несмелое осеннее солнце. Его косые худосочные лучи упали и на дорогу, по которой шли рядом два человека, сгорбившиеся под тяжелыми рюкзаками. Ян недовольно поднял глаза к небу, просвечивающему между вершинами деревьев, потом принялся разглядывать лес. На склоне с правой стороны он увидел груду валунов и направился к ней. Майор Вайнер, привязанный за правую руку к левой руке Яна, молча зашагал за ним. Между огромными камнями и скалой, от которой те когда-то откололись, Ян нашел укромное место.

— Есть хочешь? — спросил он майора и, не дожидаясь ответа, отрезал ему по ломтю хлеба и копченого сала. Теперь можно было есть вволю, еды было больше, чем требуется до конца пути. Конец пути!.. Судя по карте, идти оставалось всего четыре-пять дней. Но с учетом того, что уже произошло и что еще может случиться, это страшно долгий срок.

Они сидели друг против друга, почти соприкасаясь вытянутыми ногами, и время от времени бросали изучающие, но внешне равнодушные взгляды, хотя оба знали, что в этом взгляде есть что угодно, только не равнодушие. Были моменты, когда они ненавидели друг

друга так неистово, что с трудом сдерживали желание кинуться друг на друга, а были минуты, когда они видели в себе двух потерпевших кораблекрушение, заброшенных и забытых всем миром.

Уже второй день они шли вдвоем.

Бессмысленная, невероятная смерть Юрды неожиданно и полностью изменила все. «Изменение, — размышлял Ян, — не только в том, что ранее у нас было двое против одного и нам нетрудно было настоять на своем. С уходом Штефана изменилось не только то, что можно назвать соотношением сил». Как ни пытался Ян, он не мог этого выразить, но явственно чувствовал, что рядом не просто какой-то пленный, на которого ему наплевать, какой-то немецкий майор, которого нужно доставить на предназначенное место. «Майорчик», как они насмешливо называли его, вдруг стал даже слишком живым человеком; наедине, в такой тесной близости, Яну было от этого жутко.

Ян резал еду ломтями над развернутой картой. Какое счастье, что Кепка навязал ее Штефану. Ян представить себе не мог, что бы он теперь без нее делал. Из всего, что имел с собой Штефан, ничто не имело такой цены, как карта. Прежде чем они с майором уложили его в яму от корней вывороченной ели, прикрыли хвоей и засыпали землей, нанесенной в горстях, Ян взял у него только карту и документы, все остальное, включая автомат, оставил покойнику; разумеется, кроме продуктов, одеяла и брезентового полотнища от палатки.

«Если от этого паршивого времени я сохраню память о самой вопиющей, жестокой несправедливости, то это будет воспоминание о последней минуте Юрды», — подумал Ян. Подняв глаза, он наткнулся на взгляд майора.

— Наелся? — спросил он его.

— Да, — сказал майор, вытирая рот.

После возбужденного разговора у могилы Юрды они обменялись каким-нибудь десятком слов.

— Отпусти меня, — сказал тогда майор.

— Отпустить? — поразился Ян. — Ты что, серьезно?

— Отпусти меня... смотри, чем это кончилось для него, — майор показал на могилу. — В конце концов нас обоих прикончат... наши или ваши. Если мы разойдемся, у нас еще есть надежда...

— Хватит!

— Что ты этим выиграешь? Чего добьешься?

— Об этом я и говорить с тобой не хочу, — осадил его Ян.

— Ты думаешь об орденах, медалях?

— И ты мне еще будешь говорить о наградах! Тебе-то за что дали майора? Небось вкалывал на совесть.

— Этому вашему начальнику я уже рассказывал, за что получил звание... То, что мне в свое время казалось везением, обернулось неудачей.

— Если у тебя чистая совесть...

— Совесть! — Майор судорожно засмеялся. — Отлично, во время войны ей просто цены нет. Смотри, — он кивнул в сторону могилы Штефана, — кто его спрашивал о совести... Ты, я вижу, простак... или слепой фанатик.

Ян побагровел. Ему хотелось выкрикнуть: «Это я-то фанатик?» — но он сдержался и лишь пренебрежительно тряхнул головой.

— Попал пальцем в небо, — сказал он. — Да я до недавних пор и не знал толком, что это такое. Не видал живых фанатиков, понял? Я их увидел только у вас. Вообще я у немцев видел только фанатиков — или тех, кто покорно им служит. Никаких других.

— Ну что ж, ты прав, — отвечал майор на удивление спокойно. — И я тоже других не видал.

Ян смерил его удивленным взглядом.

— А ты-то из каких? — злорадно спросил он.

— Я из второй категории. — Майор задумчиво теребил прядь светлых волос, свисавшую на лоб. — К первым я не принадлежу по самой своей природе... в третью категорию я не рвался, кишка тонка.

— Что еще за третья категория?

— Их ты не мог увидеть. Это те, которые подыхают в концлагерях.

После долгого молчания майор снова сказал:

— Отпусти меня. Никто ничего не узнает.

Оба опирались о вывороченное дерево, майор о корни, Ян — о ствол, туго набитые рюкзаки лежали у их ног.

— Слушай, — настаивал майор, — никто тебе ничего не докажет. Чего ты боишься?

— Чего? — Ян вгляделся в голубые глаза майора. Ему казалось, что он смотрит в непрозрачное стекло. — Ничего я не боюсь. Дело совсем не в том.

— А в чем же?

— А в том, что я не имею права тебя судить.

— Не понимаю.
— Да нет, понимаешь. Отпустить тебя — это все равно, что признать тебя невиновным.
— И ты бы не ошибся.
Ян решительно покачал головой, подхватил рюкзак, вскинул его себе на спину, строго приказал:
— Пошли!
Майор не шелохнулся.
— Ты что, не слышишь? — прикрикнул на него Ян.
Майор побледнел, его глаза заблестели. Он стоял неподвижно, в упор глядя на Яна, руки непроизвольно сжимались. «Схватить его за горло, — говорил он себе. — Схватить и стиснуть». Чувствуя, как стучит кровь в висках, он сделал шаг вперед и протянул руки.
Ян увидел это движение и понял его. Прежде чем он успел ударить прикладом автомата, майор опомнился и опустил руки. Потом пробормотал что-то и нагнулся за рюкзаком.
— Пошли, — сказал он со вздохом.
Этот утренний конфликт обеспокоил Яна. Втроем у них все было иначе, там не могло быть сомнений, кто кого конвоирует. Чтобы сбежать, пленник должен был бы прибегнуть к хитрости, использовать их ошибку или подвернувшийся неожиданно момент. Теперь появилась возможность силой добиться своего. «Мое единственное преимущество, — рассуждал Ян, — в том, что я вооружен. Если бы дело дошло до кулаков, еще неизвестно, чем бы это кончилось. Нужно быть готовым ко всему». Он покосился на руки майора. Тонкие длинные пальцы явно никогда не сжимали ничего, кроме карандаша. «А могли бы они стиснуть чье-то горло? В случае крайней необходимости, самозащиты — конечно. А у майорчика есть все основания защищать свою шкуру, ведь будущее ничего хорошего ему не сулит. С его точки зрения все, что он ни предпримет, будет самозащитой. Он будет прав, если прибегнет к тем же средствам, которыми угрожаю ему я. Кто кого. А между нами — война, между им и мной проходит линия фронта. Война не на жизнь, а на смерть. Погоди! — вдруг прервал себя Ян. — Ведь он мог спокойно уйти, не сбежать, а уйти. Когда Юрду убило, он мог освободиться, разрезать ремни — знал, что у Штефана за поясом нож. У него было сколько угодно времени, чтобы выбраться из укрытия и исчезнуть, пока я сидел по ту сторону, дожидаясь конца стрельбы. Он мог взять автомат

Штефана, рюкзак, все, что ему было нужно, и спокойненько смыться».

Ян недоуменно поглядывал на майора: «Почему он этого не сделал?»

«Почему я этого не сделал? — думал о том же майор Вайнер. — Проклятье, почему же я этого не сделал? Почему я пренебрег такой исключительной возможностью, больше она мне не подвернется! Что это было со мной?» Он восстанавливал в памяти тот момент, когда голова Юрды вдруг упала на плечо, а руки опустились. Ведь он все время наблюдал за Штефаном, ему больше не на что было смотреть, он видел сосредоточенный, настороженный взгляд Штефана, руки, обхватившие автомат, указательный палец на спусковом крючке. И струйку крови в волосах, и тело, обмякшее в последнем движении. Он понял, что произошло, это было так ясно и однозначно: Штефан стал жертвой случайного попадания, никто не обнаружил его, никто в него не целился, участники перестрелки понятия не имели, что рядом прячется кто-то. «Черт меня возьми, зачем же я тогда сидел как окаменелый и таращился на это бледное, бесповоротно застывшее лицо? Неужели меня так ошеломила смерть, которая ударила как молния и могла так же поразить меня, как поразила его? Или у меня вызвал шок тот факт, что впервые в жизни человек умер рядом со мной, у меня на глазах? Конечно, я не бесчувственная, равнодушная скотина, — размышлял Вайнер, — и войны, настоящей войны, я еще не нюхал, но не это обстоятельство связало мне руки. Ведь я даже не испугался, я не чувствовал ужаса или страха, ничего похожего, скорее я чувствовал какое-то изумление, сильное, невероятное изумление: неужели такое вообще возможно? Это было в первый момент. А когда я опомнился, когда понял, что случилось, я чуть не разревелся, что рядом со мной умер человек. Человек, которого я знал, который еще секунду назад был жив — и вдруг его нет. Я совсем не думал о том, что это был неприятель, что я должен радоваться его смерти. Человек ушел от нас внезапно, напрасно, ни за что ни про что. И мною овладело чувство такой тщетности, такого бессилия, что невозможно выразить. То и дело я слышал: этот пал, тот погиб у Авранша, тот где-то на Балканах, сегодня и ежедневно кто-то где-то погибал, умирал, знакомые, незнакомые, друзья-товарищи или совсем чужие, каждый день этим были полны газеты,

люди говорили о смерти, как о погоде, я привык к этому, сочувствовал тем, кого я знал, их семьям и потихонечку, про себя, чтобы не сглазить, думал: слава богу, что я еще живой, что меня это не коснулось. Но совсем другое — ощутить этот переход от бытия к небытию, который я никогда не умел или не хотел представить себе, просто никогда не задумывался над ним.

Правда, у меня были связаны руки и ноги, но это не помешало бы мне дотянуться до ножа Штефана. Он лежал на боку, охотничий нож в чехле висел на поясе, и верхняя часть рукоятки блестела, как зеркальце. Я ее отчетливо видел и сейчас вижу, как вызывающе она блестела. Но смерть Штефана как-то сломила меня, я обмяк, растекся в печали и полной апатии.

И потом, когда мы его хоронили, стоило мне взять в руки один из автоматов, они были брошены в одну кучу с рюкзаками, потому что Ян был выбит из равновесия точно так же, как и я, и забыл про свою роль. Да, стоило мне подхватить самопал, навести на Яна и скомандовать: «Шагай отсюда подобру-поздорову, здесь наши пути расходятся, не поминай лихом». Ну да, теперь легко говорить, — издевался сам над собой майор Вайнер, — теперь-то я выдаю цветистые тирады на прощанье, которое не состоялось». Майор Вайнер тихо вздохнул. Хотел левой рукой откинуть волосы со лба, но тут же сообразил, что у него связаны обе руки и к тому же он привязан ремешком к левой руке Яна. «Ein blöder unverbesser licher Trottel *, — пробормотал он с отвращением. — Поделом тебе, безнадежному кретину. Впрочем, говорят, дуракам счастье. И в библии, насколько я помню, говорится: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное...» К царству небесному я и не стремлюсь, но куском земного счастья не побрезговал бы. Счастье... счастье... — рассуждал Вайнер. — Счастье само повернулось ко мне как перспектива, как возможность, как шанс, а я, растяпа, этот шанс не использовал. Конечно, я могу сказать: «Нет худа без добра» — так всегда утешается моя тетушка. Правда, я до сих пор не знаю, какое добро в том, что меня сбили на улице горячие кони пивовара и я месяц провалялся в больнице весь в ссадинах или что я у деда свалился с крыши и сломал себе руку... нет-нет, это философия для неудачников, соска-пустышка, ка-

* Безмозглый, неисправимый кретин (нем.).

рамелька, чтобы подсластить неудачу и проигрыш. Поэтому и мне ничего не остается, — ухмыльнулся Ганс Вайнер, — кроме как найти какую-нибудь пользу в своем проигрыше или, более того, обернуть его в полную противоположность и увидеть в нем перст божий. Например, я могу себе сказать: милый Ганс, у тебя была возможность сбежать, но ты этого не сделал, и потому остался жив, потому что ты мог спокойно попасть в руки других бандитов, пардон, партизан, которые вряд ли поверили бы россказням о побеге и повесили бы тебя на первом попавшемся дереве; или тебя сцапали бы наши и, в свою очередь, не поверили, что ты не дезертир, и повесили бы тебя на каком-нибудь другом дереве. А посему радуйся, что ты еще живой, что у тебя есть сторож, который сделает все, чтобы волосок не упал с головы твоей, который как ангел-хранитель будет защищать тебя на всех путях твоих от всякой опасности».

Ян внимательно посмотрел на него, но майор опомнился и сделал вид, что закашлялся.

Они лежали рядом на хвое, застланной полотнищами палатки, накинув на себя одеяла, а поверх — еще полотнище. От Юрды им досталось лишнее одеяло и брезентовое полотнище.

«Вот единственная польза, которую принесла смерть Штефана», — горько подумал Ян. Еще одна ночь один на один с пленным. Он чувствовал его рядом с собой, они соприкасались плечами, боками и ногами. Так было теплее обоим. Холод заставлял жаться друг к другу. Укладываясь вечером, они словно забывали, почему ж они вместе. «Согреваем друг друга, а того и гляди вцепимся друг другу в глотку... то есть, я-то нет, — оправдывался Ян перед самим собой, — я только, если бы он напал первым. А уж он, наверное, только об этом и думает, при первой возможности свернул бы мне шею... для него это единственный путь на свободу... через мой труп, в прямом смысле слова, знает ведь, что добровольно я его не отпущу. — Тут Ян опять запнулся, как и всякий раз, когда вспоминал, что Вайнер мог беспрепятственно сбежать и все же остался... — А потом просит отпустить его. Как это понимать? Все время я верчусь вокруг одной точки, — рассердился Ян сам на себя и попытался дать мыслям другое направление. — Если б знать, что он за птица. Архитектор... почему бы

и нет, писатель... писатель, который только собирается писать... ладно, и такое может быть. Но что он за человек?»

Где-то в лесу раздалось гулкое совиное тремоло. Ян приподнялся на локтях. Неясыть! Он безошибочно узнал этот голос, который из года в год доносился в конце зимы с Пасецкой горки. Для Яна он означал предвестие весны, жажду жизни. Впервые Ян услышал его лет в двенадцать. Он поправлялся после ангины и ночью проснулся от духоты. Встал, приоткрыл окно, пошел на кухню напиться. Возвращаясь к постели, он услышал приглушенное уханье: словно дядя-лесничий дул в один из своих манков. Ян сообразил, что это не иначе, как голос какой-нибудь ночной птицы. Он стоял у окна, пока птица не умолкла. Когда через несколько дней он снова пошел в школу, с гор дул теплый ветер, обещавший весну. Ян не утерпел, зашел к дяде в сторожку и попытался передать звук, услышанный им ночью. «Это была неясыть», — сказал дядя, заухал ее голосом и показал Яну ее чучело. С тех пор неясыть, сыч и другие совы, о которых он узнал от дяди, стали означать для Яна приход весны, здоровье и жажду жизни. В отличие от других людей, боявшихся уханья сов, он считал, что смешно видеть предзнаменование смерти и болезни в этом приглушенном звуке, напоминающем одновременно и фагот и флейту.

Он прислушивался к темноте, но неясыть больше не подавала голоса. «Да ведь сейчас октябрь, — сообразил Ян, — что-то ты, совушка, напутала! Видно, и птицы ошалели от этой вечной стрельбы, все перепутали».

Он улегся и непроизвольно прижался к майору. Тот повел плечами и что-то пробормотал со сна. Яну вспомнилась первая ночь с Павлом, когда они перешли словацкую границу. Они тоже спали рядом в небольшой лощине, поросшей густым молодым ельником. Среди ночи Ян проснулся от испуга. Рядом с ним бился всем телом Павел, бормоча какие-то невнятные слова. Ян не сразу сообразил, что его друг кричит во сне. Он прижал ладонь к его губам и зашипел ему на ухо: «Ради бога, молчи!» Павел сопротивлялся, Яну не сразу удалось его утихомирить. Придя наконец в себя, Павел облегченно вздохнул: «Слушай, что за мерзость мне снилась! Будто мы попали прямо к ним в руки». «Возможно, это нам еще предстоит, — с тревогой подумал Ян, — кто знает, как долго он кричал, пока я не проснулся».

До самого утра они не сомкнули глаз, в каждом шорохе ночного леса мерещились шаги преследователей. Как только начало светать, они выбрались из лощины и двинулись дальше на восток. Павел держался особенно осторожно, словно пытаясь искупить свою невольную вину. Пока они добрались до отряда Кепки, прошло еще несколько ночей, и Павел каждую ночь повязывал себе на лицо носовой платок, прикрывавший рот, — на всякий случай. Но Ян больше ни разу не слышал, чтобы Павел разговаривал во сне.

И теперь тоже Ян затаил дыхание, долго и настороженно прислушивался. Майор не издавал ни звука, лишь иногда сладко причмокивал; Ян закрыл глаза и вскоре уснул.

Он проснулся от прохладной сырости на лице.

Шел дождь.

Мелкий дождь с настойчивым шорохом сеялся на брезент. Ян натянул одеяло и брезент на голову и еще теснее прижался к майору. Ему не хотелось думать ни о слякоти, по которой им придется брести, если дождь не уймется, ни о холоде, ни о чем. Ему было тепло и хотелось спать.

Спать, спать, спать.

— Ян! Ян! — доносилось до него из страшной дали. — Ян, ты слышишь?

Наконец он пришел в себя. В сумерках разглядел прямо над собой заросшее лицо майора и мгновенно напружинился.

— Что такое? Почему не спишь? — Ян вскочил. И тут же понял бессмысленность своего вопроса. Неуклюжими движениями майор пытался выбраться из своей насквозь промокшей «постели», невзирая на связанные руки и ноги.

— Погоди. — Ян развязал ему руки и велел собрать свои вещи.

Дождь был несильный, моросило, но вода, скопившаяся в кронах деревьев, падала вниз частыми полновесными каплями. Получалось, что в лесу дождь вдвое сильнее.

— Может, разведем огонь?

— Ты что, спятил? — яростно огрызнулся Ян. Все на нем отсырело, и хотелось лишь одного — тепла. Но развести огонь он не решился бы ни за что на све-

те. Особенно теперь, когда дым от сырого дерева разносился бы бог знает как далеко.

— Ладно, будем греться изнутри, — сказал он примирительно и отрезал каждому по изрядному куску копченого сала. — А теперь пошли.

Он чувствовал, как мороз продирает его по коже, настырный холод проникал во все поры. Поесть поплотнее — к счастью, еды хватает, — а потом в путь, двигаться, только так можно согреться. Может, погода разгуляется, дождь кончится. Дождя он боялся. При известной осторожности можно избежать людей, но от дождя никуда не денешься, его как-то не учли, когда планировали это путешествие. Может, где-нибудь и нашлось бы прибежище, но какой ценой? У них в запасе три, максимум четыре дня, бог даст, как-нибудь перетерпят. Ян посмотрел на карту. Благодаря речке, протекавшей справа, он довольно точно определил место, где они ночевали. Через несколько сот метров они должны натолкнуться на дорогу, которая кратчайшим путем привела бы их к цели, если б они могли по ней идти. Но, к сожалению, где-то здесь кончается сплошная полоса леса, который до сих пор укрывал их, а обозначенная на карте дорога проходит по открытым склонам, лугам, полям, где найдешь укрытие лишь в случайной рощице или в кустах на меже.

Ян набросил обоим на голову брезентовое полотнище, но вскоре стащил его на плечи: брезент слишком сильно шуршал, и Ян боялся, что не услышит звуки опасности.

Он навязал майору быстрый темп, чтобы в сумерках пройти как можно дальше и заодно согреться. «Если б можно было так идти весь день, к вечеру мы б уже были на аэродроме. Если бы... — уныло подумал он, — если б не было этой открытой долины перед нами, реки, бегущей по ней, а главное — шоссе, которого нам не избежать... А еще на нашем пути окажутся три деревни, которые мы обязательно должны избежать...»

— Так быстро я не могу, — пожаловался майор, — я ногу натер.

— Не выдумывай, — проворчал Ян, покосившись на свои сапоги. Они, правда, не терли, зато протекали. «Промокнем с головы до ног», — подумал он и тут же отогнал эту мысль.

— Слушай, Ян, — начал майор.

— Слушаю.

С какого-то времени Вайнер начал обращаться к нему по имени. Сперва это раздражало, хотя Ян и не дал этого понять, но потом привык. «Неважно, как он меня называет, в наших отношениях это не меняет ничего». Однако для него Вайнер остался «майором» или «майорчиком». Называть его Гансом Яну как-то не хотелось.

— Ян, что ты будешь делать, когда все это кончится?

— Я служил в ссудной кассе, но без большой охоты. Мы с Павлом хотели бы, пожалуй, учительствовать.

— С Павлом?

— Это мой друг из гимназии. Мы вместе сюда пришли. А ты? — спросил Ян, помолчав.

— Я? Кем буду? Тебе не кажется, что это и от тебя зависит?

— Пожалуйста, не заводись опять.

Ганс Вайнер опустил голову, бесцветным голосом спросил:

— Родители есть?

— Мать. Отец погиб при воздушном налете у вас в рейхе.

— А у меня только отец. Мама умерла, когда мне было три года. Я ее не помню. — Вайнер отряхнул шапку. — А девушка есть?

Ян стиснул губы.

— Есть, — сказал он, упрямо дернув головой. — Если только вы ее не отняли у меня.

Майор остановился, посмотрел Яну в глаза.

— Ян, — серьезно сказал он, — что ты все «вы» да «вы», я-то здесь при чем?

Снизу до них донеслось тарахтенье подводы, ехавшей по дороге в сторону леса.

— Молчи уж, — только и сказал Ян, уводя за собой майора в глубь леса.

Как только подвода проехала, они вышли на опушку, откуда открывался вид на долину. Ян поразился, насколько его представление о ней, продиктованное картой, оказалось близким к действительности. Единственная неожиданность (он проглядел маленький черный прямоугольничек на карте) — приземистое здание внизу у реки, с горой бревен и белыми штабелями пиленого леса. Лесопилка. Ян не верил своим глазам. Он невольно оперся плечом о дерево. Сходство с пилорамой, которую они взорвали недавно, было поразительным. До чего эта картина деревенской лесопилки со штабелями досок

и брусьев, с рекой и дорогой была похожа на картину недавних дней, там, по ту сторону гор, на картину, которая ночью вдруг вспыхнула в ослепительном сиянии взрыва. Только здешняя долина была помельче, склоны более пологи, а от шоссе к лесу вела простая каменистая дорога. Сейчас вверх по ней громыхала подвода, две другие сворачивали на дорогу с шоссе.

Зима на носу, понял Ян, лесорубы спешат доставить весь поваленный лес на пилу. Ему это было знакомо. Перед отправкой в рейх он устроился на местную пилораму, которая принадлежала двоюродному брату матери. Там он был в безопасности, дядя по возможности щадил его, но уберечь от рейха не мог.

Железные ободья тяжелых подвод звенели о камень. «Пустые едут вверх, груженые — вниз, движение как на пражском мосту, — рассуждал Ян. — Днем нам не перебраться. Эти хозяева для нас вряд ли опасны, но кто знает?» В голове у него мелькнула мысль, столь же соблазнительная, как и неосуществимая: завладеть одной из этих подвод и дерзко поехать на ней к цели. Он не сомневался, что это был бы самый быстрый и явно самый безопасный путь. Никто не обратил бы на них внимания, так же как не обращают внимания на всех этих хозяйчиков и возчиков, едущих по своим каждодневным делам в город, на поле, в лес. Можно было упиваться этой идеей, но ее не осуществишь.

Оставалось только уйти в лес и ждать. Ждать до самого вечера, когда начнет темнеть... а сейчас только-только рассвело. Это будет жутко длинный день, наверно, самый долгий и самый мучительный из всех, прожитых ими в пути... под дождем, в слякоти. Яна трясло от холода, холодные капли стекали по шее на спину, плечи, лопатки — все было мокрое, а снизу по всему телу шел холод от закоченевших промокших ног. Майор был не в лучшем состоянии. Стоять неподвижно на месте нельзя. Даже если им придется бессмысленно ходить в лесу вдоль опушки туда-сюда, только чтобы двигаться, все равно это лучше, чем стоять вот так, в бесконечном, убийственном ожидании.

— Пошли. — Ян дернул рукой.

— Куда? — спросил майор, когда Ян потащил его обратно в лес.

— Туда, — строго отвечал Ян.

Ганс Вайнер громко вздохнул. Мокрый, холодный лес начал внушать ему больший страх, чем самое худшее

из того, что могло ждать его в конце этого путешествия. Он чувствовал, как застывает и тяжелеет все тело, превращаясь в камень, как ноги уходят в землю под этой тяжестью.

— Нет, — сказал он, не в силах сделать следующий шаг.

— Что значит «нет»? — обеспокоенно спросил Ян.

Ганс Вайнер стоял неподвижно, молчал, уставившись куда-то в пространство.

— Что значит «нет»?

Вайнер все так же молчал и не трогался с места.

— Дьявольщина, да что это с тобой?

— Нет, — тихо повторил Вайнер. Потом, словно готовясь помешать чему-то ужасному, поднял руки и крикнул: — Нет! — Его трясло, в остекленевших глазах застыло безумие. — Нет, нет, нет! — бешено вопил он.

Ян остолбенел от страха и, разинув рот, таращился на майора.

Спятил! На миг Ян впал в малодушное отчаяние. Понуро и бессильно стоял рядом с орущим пленником, чувствуя, что вот-вот начнет буйствовать вместе с ним. Выть от тоски и отчаяния. В истерическом припадке Вайнер размахивал руками, раскачивая и дергая левую руку Яна, к которой была привязана его правая рука. Возможно, именно это дерганье и привело Яна в себя. Он чувствовал, как его руку бросает вверх-вниз, взад-вперед, эти движения выводили его из равновесия. Он слышал вопли майора. И вдруг очнулся.

— Заткнись!

Вайнер продолжал вопить, не обращая на него внимания.

Ян зажал ему рот свободной рукой и вдруг почувствовал жуткую боль в мизинце. Он вырвал руку из зубов майора, но тут же получил удар в нос, который на мгновение ошеломил его. Однако после второго удара в лицо к нему вернулась холодная ясность сознания. Он отпрыгнул в сторону — и в результате потащил майора за собой. Потеряв равновесие, оба упали. Связанные руки ограничивали их движения. Они метались по земле, наваливались друг на друга, наносили удары свободными руками, уклонялись от них. Дрались тихо, упорно. Когда одному из них удавалось схватить другого, они скалили зубы, пыхтели от напряжения и ярости в окровавленное лицо противника, готовые вцепиться в него зубами.

Ян понимал, что майор тяжелее и сильнее его, а использовать свою ловкость не мог — мешал проклятый ремешок, которым он был связан с левой рукой майора. Без ножа, вылетевшего из чехла во время драки, и без автомата, бесполезного в этой рукопашной схватке, Ян мог рассчитывать только на то, что его правая рука сильнее левой руки противника. На карту была поставлена жизнь. Если он оплошает, майор убьет его, должен убить, ничего другого ему не остается, если он хочет сбежать. Главное, чтобы майор не подмял его под себя, говорил он себе и старался не расходовать силу в слепой, безрассудной ярости. Он наносил удары расчетливо и хладнокровно. После одного из ударов Ян почувствовал, что майор обмяк. Он напряг все силы, придавил противнику руку одним коленом, другим уперся ему в живот. И снова ударил.

Майор дернулся и замер. «Не убил ли я его?» В свой последний удар Ян вложил всю оставшуюся силу. Он упал грудью на грудь майора и громко перевел дух. Но тут же опомнился, освободился от ремешка и из последних сил поднялся. Оперся спиной о дерево, снял автомат с предохранителя. Широко расставленные ноги с трудом держали его. Дышалось тяжело и прерывисто. Постепенно силы возвращались к нему, он приходил в себя.

Вдруг до ушей Яна долетел знакомый звук. Он вздрогнул. Пилорама. «Ах да, рядом лесопилка!» — вспомнил он. Ян жадно вслушивался в высокий ритмичный звук, установившийся в одной тональности. Было в нем что-то успокаивающее, в этом привычном звуке, — как в милой знакомой музыке. Он закрыл глаза и увидел себя, как он с колом в руке подпирает бревно, он на одном конце, Павел на другом, как они вкатывают его на толстые доски, по которым оно уже само, под собственным весом скатывается к упору, а там уже рабочие выкатывают его на тележку и по рельсам подают к рамам.

Майор шевельнулся. Сел, тупо, недоуменно уставился перед собой. Прижал ладони к лицу, протер глаза и начал ощупывать подбородок, щеки, нос, лоб. Отвел от себя руки со следами крови и стал сосредоточенно разглядывать их. Покачал головой, поднял глаза и встретился с настороженным взглядом Яна.

— Здорово мы друг друга отделали.

Только сейчас Ян почувствовал, что у него горит

правая бровь, болит нос, а по лицу на усы стекает вряд ли одна лишь вода. Но он не стал этого проверять.

— Вставай!

Ганс Вайнер поднимался медленно и тяжело. Приведя в порядок свое промокшее тряпье, нахлобучил на голову измятый берет. Стоял, неуверенно, виновато глядя на Яна.

«Чучело, — подумал Ян. — Образцовое чучело. Насадить ему на голову пучок соломы, увешать станиолем, и можно смело пугать зайцев в капустном поле. А я что? — Ян посмотрел на себя. — Я бы мог пугать зайцев на другом конце поля».

Вайнер шагнул к Яну.

— Стой! Кругом! — Ян поднял автомат.

Вайнер не шелохнулся.

— Извини, сам не знаю, что на меня нашло.

— Если б ты меня прикончил, небось тоже сказал бы «извини».

— Я бы тебя не убил.

— Теперь пойдешь впереди меня.

— Куда?

— Туда. — Ян показал в сторону леса.

Дождь все накрапывал.

Мокрая одежда облепила их ледяным панцирем.

Неотступная мысль: «Куда?» Пересечь долину он не решался, лес начинал внушать ему страх. Ян знал одно: нельзя стоять на месте. С деревьев текло, как из водосточных труб. Ян дрожал не переставая, на нем не было сухой нитки. Ему казалось, что он с головы до ног закутан в холодный компресс.

«Нет, я не хотел его убивать, — повторял себе Ганс Вайнер. — Когда на уроках закона божьего нам говорили о десяти заповедях, мне казалось странным и ненужным, что нам внушали эту заповедь: «Не убий!» Чтить бога, родителей, не лгать, не красть — да, к этому нужно приучать. Но говорить нам, чтоб мы не убивали? Не ставится ли тем под сомнение сам основной принцип жизни?

Разумеется, эти мысли были взаимосвязаны с моим стремлением посвятить себя литературе, с моими представлениями о ней, о ее гуманной миссии. Даже и не знаю, когда мне вообще пришло в голову стать писателем? — думал Ганс Вайнер. — С детства я тайком вел дневник, которому с опасной откровенностью (если б он попал кому-нибудь в руки) вверял все, что меня осо-

бенно интересовало, что выходило за рамки привычного. Я записывал свои суждения о людях вокруг меня, об учителях, об однокашниках. Именно эта рискованная щекотливая откровенность, с которой я писал, моя слабость к деталям побудили меня в один прекрасный день упаковать свой дневник в восковую бумагу, вложить его в жестяную коробку и закопать в саду.

Если я после всего этого дерьма вернусь домой живой и невредимый, этот дневник мне очень и очень пригодится, в нем запечатлена память моих гимназических лет... Было бы жаль лишиться его. Он представляет бесспорную ценность, именно из-за подобных деталей и фактов, которыми жизнь так богата, а человеку они, увы, не придут в голову даже в самой буйной фантазии; зато как легко они улетучиваются из памяти со временем... Кто знает, не сгнил ли мой дневник, пролежав столько лет в своем сыром тайнике?..

В отличие от дневника приключенческий роман, первую главу которого я написал каллиграфическим почерком в свои одиннадцать лет, был наивным лепетом, слабым отваром прочтенных и обожаемых мною великих образцов этого жанра. Мне ничуть не жалко, что вскоре после завершения этого шедевра я устыдился и, разорвав, сжег его в печи... наоборот, в этом проявилась определенная творческая зрелость и требовательность к себе.

Лишь в шестом классе преподаватель литературы Зихер распахнул передо мной магический мир писаного слова, и я загорелся сознательным желанием вступить в него. Кроме того, в глубине души я понял всю трудность, взыскательность и ответственность этого призвания, понял, как многого мне недостает для того, чтобы отправиться в путь, по которому прошло до меня столько великих мастеров. Талант? Если он хотя бы отчасти совпадает с настоятельной потребностью писать, то не исключено, что судьба в какой-то мере одарила меня им при рождении. Но как же далеки были мои опусы от жизни, которая служит источником любого подлинного шедевра. Серая пригородная улица, серый доходный дом, бесцветные монотонные дни с тетей Анной, старой девой, которая вела наше хозяйство, и с замкнутым педантом отцом, чертежником городского строительного управления... таков был мой мир. Серым, бесцветным, банальным было и то, что я кропал по вечерам, рассчитывая создать опорные точки для буду-

щей фамильной саги, задуманной мною... Но вот пришла моя «Ночь великой расплаты», ночь немилосердного сведения счетов с самим собой, с моими наивными иллюзиями. Медленно, в каком-то необычайном провидческом озарении читал я свои записки, и впервые мне удалось превзойти самого себя, стать над своим самовлюбленным «я», которое связывало меня с тем, что я написал до сих пор. Спокойно, беспристрастно (так, как привык я читать других) читал я на этот раз себя — словно это был не я, а чужой, незнакомый автор, который страница за страницей, строчка за строчкой старается добиться моей симпатии. Были места, заинтересовавшие меня, и к ним я возвращался дважды, чтобы быть уверенным в своей критичности, были немногочисленные отрывки, о которых я мог сказать: «Неплохо написано». Я дочитал к утру, глаза жгло от усталости, зато в голове была ясность, доходящая до боли: «Это, как говорят музыканты, упражнения на постановку пальцев, не более. Настоящая литература, всегда привлекавшая меня, в моих записках и не ночевала. Скука, серость, невыразительность, худосочная, вялая описательность. Худосочной, скучной, серой была и жизнь, которой я жил. И к тому же — мне было всего двадцать лет!»

Ганс Вайнер точно восстанавливает чувство, с которым он тогда встал из-за стола, погасил лампу и, не раздеваясь, вытянулся на неразостланной постели. Лежал, неотрывно глядя в потолок, светлевший с приближением дня, и не чувствовал ни разочарования, ни печали. Заключение, к которому он пришел, было ценнее понесенной потери. Пусть бесчисленные часы, посвященные его запискам, покажутся бесплодными, выброшенными впустую, однако они принесли плод — хоть и горький, но чрезвычайно полезный плод познания. А узнал он следующее: то, что он написал до сих пор, то, в чем видел готовые, обработанные части задуманного произведения, в действительности не более чем учебные этюды, зачастую сыгранные не по-дилетантски и все же страшно далекие от того восхитительного, ослепительного концерта, о котором он мечтал.

В тот раз он решил стать моряком. Именно плавание по мировым океанам показалось ему наилучшим способом вкусить суровой, неподдельной жизни, чтобы впоследствии черпать из нее материал для своего творчества.

И тогда вмешался отец. Сухой, неразговорчивый и вроде бы смирившийся с судьбой человек вдруг стал решительным, красноречивым и целеустремленным родителем, который приложил все усилия, все свои нерастраченные чувства, чтобы отвратить сына от сомнительных замыслов и фальшивой романтики. Незрелым и односторонне мотивированным планам сына он противопоставил, как ни странно, логичную и хорошо продуманную альтернативу: «Иди учиться на архитектора. В архитектуре, как нигде почти, преломляются все компоненты жизни и ее потребности, архитектура — сочетание будничности и искусства, технических и гуманитарных аспектов». Таковы были аргументы отца. «Допустим, ты хочешь быть писателем, почему бы и нет, ты хочешь на своей шкуре, своим умом и душой познать иную жизнь, отличную от жизни нашей спокойной улочки, нашего сонного городка, — хотя, если не ошибаюсь, есть немало примеров того, что хороший писатель способен писать обо всем и черпать отовсюду, — но пусть будет по-твоему. Корабли, палубы, доки, вечные шатания от порта к порту, экзотический, но, по сути, до отвращения однообразный (а главное — столько раз описанный) мир моряков, трактиров и борделей... тебе не кажется, что этот вид на жизнь подозрительно узок? Ты уверен, что он настолько заинтересует и вдохновит тебя, что тебе захочется писать о нем? Что он не поглотит, не растопчет тебя, не удушит талант, которым, по твоему мнению, ты обладаешь? Не будь пустым мечтателем, не дай ослепить себя мишурой. А если писатель из тебя не выйдет, то какие жизненные предпосылки (я имею в виду средства для существования, для основания семьи, для обеспечения твоей семьи и собственной старости) даст тебе профессия моряка, матроса, то есть рядового рабочего? Ведь без образования тебе нечего и рассчитывать на большее. И об этом тоже нужно думать, сынок, трезво, рассудительно.

Ты можешь возразить мне, — продолжал отец (хотя я больше слушал, чем возражал), — ты можешь сказать мне: «А какие возможности, какую жизнь может обеспечить мне профессия, которую ты, отец, мне предлагаешь?» Поскольку я кое-что смыслю в этом деле, я могу тебе сказать, что инженеру-архитектору открыты пути повсюду: от проектных бюро до самой последней стройки. А любая более или менее крупная строительная площадка — сложный, изощренный орга-

низм с десятками профессий, а значит, и людей, а значит, и судеб, с которыми ты благодаря своей профессии можешь познакомиться очень близко. А если тебя соблазнит аромат экзотики, зов дальних стран, то тебе при твоих языковых способностях ничто не помешает попытать счастья в других краях».

Отцовские слова звучали настолько убедительно, что я согласился с ними, а от своих первоначальных намерений отказался без всякого сопротивления, с такой легкостью, что меня это самого удивило. Лишь впоследствии, когда я уже учился в Берлине, мне пришло в голову (но отцу я об этом никогда не говорил), что за его убедительными доводами скрывалось страстное желание отца-неудачника, который так и остался чертежником, чтобы, по крайней мере, сын добился того, о чем мечтал отец. Возможно, это был не главный мотив, но он явно играл определенную роль, даже если отец и не отдавал себе в этом отчета.

Но только вскоре после получения диплома началась война и всем планам пришел конец. Тем более я благодарен отцу, что он изменил мои первичные намерения. В результате мне не пришлось брать в руки ружье, стрелять, а значит, и убивать; может, только поэтому я и остался в живых. Вопрос, правда, долго ли мне еще жить? Все равно странно, что Ян меня не убил». И тут Ганс Вайнер понял, что точно так же и он мог убить Яна. Эта мысль испугала его. «Gott bewahre *, только не это, этого я бы не сделал ни за что, — ужаснулся он, не в силах объяснить, что же нашло на него тогда, ведь до сих пор ничего подобного ему и в голову не приходило. — Почему я набросился на него, когда он всего лишь заткнул мне рот, почему я спровоцировал эту жуткую драку, почему я полез в нее как безумный?» Он не находил ответа. Да, где-то в глубине его личности скрываются силы, которые в известных обстоятельствах способны прийти в движение и привести к последствиям, совершенно несовместимым с его принципами, с его моралью. «Убить его я не хотел, и тем не менее убить его я мог, — продолжал рассуждать Вайнер, — в состоянии бешеной злобы, потеряв над собой контроль, или под влиянием инстинкта самосохранения». Сознание, что он тоже способен убить, поразило его, застало врасплох. Оно действовало удру-

---

* Боже упаси! (нем.).

чающе: приходилось признаться, что он сам в себе заблуждался.

Дождь все сеялся.

Двое наобум слонялись по лесу. Напрасно искали они какое-нибудь прибежище, покинутую избушку лесорубов или хотя бы навес над кормушкой. Ян ловит себя на том, что он лязгает зубами, по телу иногда словно огонь пробегает. Он ведет жестокий внутренний бой между жаждой выйти из леса и направиться к первому попавшемуся дому и страхом, что они нарвутся на обман, ловушку, — и тогда все пропало, все усилия, страдания были напрасны.

Вайнер шагает тупо и тихо, неловко ступая на правую ногу: он уже перевязал платком стертую пятку. Его тоже трясет как в лихорадке. Вот разве что разбитое, опухшее лицо приятно холодят стекающие дождевые капли. После той драки по всему его телу разлилась изнуряющая усталость. Вихрь мыслей улегся, в отупевшем мозгу воцарилась полная апатия. Не думалось и не хотелось думать совершенно ни о чем. Рядом с ним Ян дважды спотыкался на мокрой хвое и падал. Майор останавливался и равнодушно ждал, когда он опять встанет на ноги. Безучастно наблюдал, как тяжело, не сразу он подымался с земли, и не испытывал ни малейшего желания броситься на него. Видел и камень, лежавший у его головы, достаточно было нагнуться и ударить. Вайнер этого не сделал.

Когда они обходили овражек, служивший свалкой для ближайшей деревни, у Яна подвернулась нога. Падая, он инстинктивно ухватился за майора, оба потеряли равновесие и скатились по склону к старым плиткам, кастрюлям и черепкам. Майора что-то ударило в бок, но приземлился он мягко и теперь лежал на спине; вставать не хотелось. Рядом с собой он слышал хруст стекла и хриплые ругательства Яна. Медленно, неохотно майор поднялся, увидел Яна, который стоял на одном колене, с лицом, искаженным болезненной гримасой.

— Что случилось?

— Что-то с ногой. — Ян положил руку на свою левую лодыжку.

Майор приковылял к нему и протянул руку. Ян осторожно встал, но при первом же шаге зашипел от боли и рухнул на землю.

Майор разглядывал склоны оврага, ища место, где было бы легче выбраться наверх. Его взгляд упал на

несколько ступенек на сравнительно пологом склоне; по ним, видно, спускались в овражек мальчишки, чтобы выбирать среди этого барахла сокровища, которые могли бы им пригодиться.

— Давай руку, я потащу тебя за собой.

После нескольких попыток майор сдался.

Склон был все же крутой, скользкий, а Ян, не способный опираться на поврежденную ногу, слишком тяжел.

Ганс Вайнер обдумывал ситуацию. Выход был один: выбраться наверх самому, протянуть Яну сверху какую-нибудь жердь и вытащить его.

— Нет, — сказал Ян, — никуда ты один не пойдешь.

— Значит, здесь нам и подыхать?

Ян не отвечал, он был на грани отчаяния. Он чувствовал, что оказался в тупике.

— Да мне на тебя наплевать. Я пойду, и ты мне не помешаешь.

— Только через мой труп.

Но Вайнер был быстрее. Обеими руками он схватился за автомат и прижал им Яна к земле. Потом придавил поврежденную лодыжку Яна, а когда тот, парализованный болью, перестал сопротивляться, майор завладел ножом, отрезал ремень автомата и вырвал оружие у Яна из рук.

Ганс Вайнер стоял и целился ему в голову из автомата.

— Ладно, через труп так через труп.

Ян заслонил глаза предплечьем правой руки:

— Стреляй, сволочь. Стреляй, фашистская свинья!

Ганс Вайнер вынул магазин и забросил его на другой конец свалки. Потом поставил автомат на землю и несколькими ударами ноги превратил его в бесполезную железку.

— И запомни, с этой минуты я уже не твой пленник. С этим покончено.

Майор повернулся и молча выкарабкался из ямы.

«С этим покончено», — звучали в ушах у Яна слова майора. «С этим покончено», — пробормотал он вслух, глядя невидящими глазами на противоположный склон. «Все было напрасно, — удрученно думал он, — весь этот кошмар, это путешествие как в бреду, все тяготы, страдания... и главное, смерть Штефана. Я вот живу, он меня не застрелил, ну и что с того... зачем это мне?

Чтобы я терзался своим бессилием, сознанием, что не оправдал доверия, что все пошло вкривь и вкось, что весь мир был против меня? Чтобы я здесь подох среди старого хлама — с чувством, что и сам я ни на что не годен, как это барахло вокруг?» В поле его зрения находилось старое тележное колесо с поломанными спицами, ржавый обод, рядом с ним прогорелая, закопченная труба и треснувший глиняный горшок, стянутый проволокой. У ног его валялся дырявый бидон, облупленная эмаль которого напоминала насмешливую рожу.

— Не скаль зубы, я еще живой, — возмутился Ян.

В эту минуту он вспомнил Павла, слова прощания, когда они покидали лагерь.

— Я еще живой, — упрямо повторил он, — у меня еще хватит сил, чтобы выбраться из этой ямы.

Он сел, осмотрел склоны оврага. Потом пополз к месту, которое показалось ему наименее крутым. Левую ногу он осторожно тащил за собой, но все равно каждое движение отзывалось дергающей болью в раненой лодыжке и вместо холода по всему телу разливался обжигающий жар. Он передвигался на четвереньках, время от времени припадая горящим лбом к мокрой холодной траве.

Нельзя ни разу поскользнуться, съехать вниз, тогда уже вряд ли найдутся силы для нового подъема. Штефан бы выкарабкался без проблем, подумал он, у него пальцы были железные. Ян ухватился за ближний кустик и уперся здоровой ногой. Подтянулся чуть выше и вдавил носок сапога в размокшую землю.

— На, берись, — услышал он сверху, увидел тонкий еловый ствол, протянутый ему Вайнером. На секунду он заколебался. — Берись!

Он взялся за жердь одной рукой, потом, отпустив терновый куст, вцепился в нее обеими руками. Можно было и не помогать себе ногами, майор, пожалуй, вытащил бы его, даже если бы он висел на жерди беспомощным мешком. И все равно наверху Ян повалился на траву, ему казалось, что от усталости он испустит дух. Он попытался встать, но, едва опершись на левую ногу, заржал от боли.

Ганс Вайнер мрачно и задумчиво глядел на него. Потом принял решение. Переложил еду из рюкзака Яна в свой, поверх него привязал палаточные полотнища.

Ян наблюдал за ним ненавидящим взглядом.

Вайнер вскинул свой рюкзак на спину, второй рюкзак спихнул ногой в яму.

— Пошли. — Он взял Яна под мышки и поднял его. — Ступай только на здоровую ногу.

Ян прыгал на одной ноге, и, хотя он всем своим весом налегал на майора, для каждого следующего скачка ему требовалось все больше и больше времени. Интервалы увеличивались до тех пор, пока у него вообще не нашлось сил, чтобы оттолкнуться в очередной раз. Он стоял, опираясь о майора, дрожа от изнеможения и, по-видимому, от жара.

Ганс Вайнер осмотрелся. До дороги, которая вела вниз к лесопилке и с которой они утром ушли в лес, было недалеко. Он скинул рюкзак, взял Яна за обе руки, взвалил себе на спину и потащил к опушке. Перед ними была долина с лесопилкой, рекой и дорогой, по спирали спускающейся к шоссе. Ни одна подвода не поднималась вверх. Зато где-то над ними, там, где дорога терялась в лесу, слышны были человеческие голоса. Вайнер не стал больше ждать. Он схватил Яна за плечи и вытащил на дорогу.

— Лежи здесь, они тебя найдут.

Ян лежал неподвижно, закрыв глаза.

Ганс Вайнер пошел прочь, но через несколько шагов вернулся, огляделся воровато, наклонился к Яну и вытащил у него из-за пазухи карту. Потом вошел в лес и по собственным следам в мокрой траве вернулся к рюкзаку. Накинул его лямки на плечи, вытер мокрым носовым платком пот и воду со лба. «Пронеси господи», — подумал он и зашагал навстречу неизвестности.


PRAHA
9 мая
45 год

2

Направление-Прага

Над Берлином клубился дым.

В одном из разрушенных домов, в чудом сохранившемся просторном помещении, капитан Донской стоял перед своим командиром, поздравлявшим его с присвоением звания майора.

Командир пожал ему руку:

— Война кончается, но опытные воины вроде вас нашей армии будут нужны и в мирное время.

Донской стоял навытяжку, прямо глядя в лицо командира.

«Сегодня семнадцатый день...» — устало подумал он.

Глаза его были воспалены, лицо бледно.

— Вы не больны? — спросил командир дивизии.

— Плохо выгляжу? Времени совсем нет, чтоб...

— Знаю.

— Да, товарищ командир. Семнадцать суток почти без сна. Все мы, наверное, так выглядим.

— Но воевали вы хорошо, как настоящие герои, — с признательностью проговорил командир и сердечно обнял Донского.

С достоинством шагал майор Донской по улицам Берлина. Его танковый батальон располо-



Карол Томашчик

жился почти в самом центре города, машины все — видавшие виды, со следами недавних боев. Бойцы спали прямо на мостовой, а то и на танках, будто на мягкой постели, лишь часовые прохаживались взад-вперед в нетерпеливом ожидании смены, чтобы и самим немного вздремнуть.

— Золотые ребята,— произнес Донской, всматриваясь в утомленные и грязные от пыли и копоти лица бойцов. — Ну ничего, недолго уже осталось.

С начала Берлинской операции батальон его уменьшился вполовину.

Майор вошел в палатку, разбитую прямо на газоне; собираясь прилечь, подложил под голову полевую сумку, где хранилось самое необходимое, натянул шинель и укрылся с головой.

Подошел механик из ремонтной службы полка, заглянул внутрь.

Часовой остановил его:

— Не трогай, дай соснуть немного.

— Ты из батальона Донского?

— Да.

— У меня приказ для него, прими; часть ваших танков отправляют в ремонт.

Спрятав приказ в кар-

ман гимнастерки, часовой залез на танк и оглядел окрестности. Потом слез, превозмогая сон и усталость, подошел к палатке. Майор сладко спал. Часовой вынул из кармана фотографию, на обороте которой стояло: «Бойцу Дмитрию Попову посылают на фронт мать и сестра Люда. До скорого свидания, Дмитрий!»

Никогда не свидится он с матерью, ее убили фашисты, и бог весть, найдет ли когда сестру, которую угнали на работу в Германию вот уже три с половиной года назад.

От невеселых дум его отвлек шум и говор в конце сквера: прибыла пехота. Солдаты разбрелись по траве, стали заравнивать вырытые траншеи, устанавливать палатки, располагаясь на отдых под искалеченными деревьями.

— Где ваш командир? — сердито окликнул Попова офицер.

— Тише, он спит.

— Ничего себе! Он должен сдать мне участок, вы что, не получили еще приказ?

— Нет, никого здесь не было.

— Ждите с минуты на минуту, будет.

Налетел сильный порыв ветра, подняв край, а затем и вовсе повалив наскоро поставленную палатку Донского. Майор не проснулся. Упали первые капли весеннего дождя. Майор продолжал спать, лицо его лишь словно покрылось капельками пота.

Часовой глянул на часы.

«Где смена-то? Пора уж, забыли, что ли, что и мне не мешает выспаться?»

Вдруг из танка выскочил радист и побежал прочь.

— Ты чего? Менять меня будут или как? — закричал ему вдогонку часовой.

Радист остановился.

— Знаешь новость?

— Я одно знаю — на наше место пришла пехота.

— Майор где?

— Да оставь ты его, так крепко спит, что и от дождя не проснулся.

Радист собрался бежать дальше.

— Да постой ты! Нашумел, а сам удираешь! Чего там у тебя за новости?

— В Праге восстание. Прага просит помощи, надо разбудить майора.

Он выбежал на сквер, но не увидел палатки коман-

дира. Приглядевшись, заметил спящего на траве под шинелью офицера с полевой сумкой под головой.

Попов между тем подошел к танку, заглянул в люк и постучал по плечу сержанта. Сержант снял наушники и протянул Попову:

— Слушай. Говорит радио повстанцев.

— Говорит радиостанция революционного комитета. Внимание! Внимание!

Голос диктора прерывался от волнения.

После паузы он продолжал по-русски:

— Внимание! Внимание! Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага! Большое количество германских танков и авиация нападают в данный момент со всех сторон на наш город. Мы обращаемся с пламенным призывом к геройской Красной Армии с просьбой о поддержке. Пошлите нам на помощь танки и самолеты!

Мы будем сражаться до последнего издыхания, но нам нужна ваша помощь!

Пошлите нам танки и самолеты, не дайте погибнуть нашему городу Праге!

Затем диктор обращался к союзническим войскам, к американской армии с просьбой о помощи, призывал партизан и всех чехов преградить путь немецким войскам баррикадами.

— ...обращаемся... к Красной Армии... Слушайте нас на волне четыреста пятнадцать!

«Война кончается, а в Праге восстали...» — подумал Дмитрий, прислушиваясь, не раздастся ли снова взволнованный голос из Праги.

Майору Донскому что-то снилось, но вдруг он услышал шум, крик и, открыв глаза, вскочил на ноги.

— Тьфу ты, в чем дело? — сонно посмотрел он на радиста.

— Товарищ майор, в Праге восстание!

— Ты в своем уме? Войне конец, а ты — восстание!

— Немцы бесчинствуют в Праге, вот чехи и восстали. Просят нас помочь им.

— Откуда ты знаешь?

— Я перехватил сообщение Пражского радио.

Донской подбежал к танку, где Дмитрий слушал радио, выхватил у него из рук наушники, после чего спустился в люк и вызвал своего соседа:

— Алло, говорит «Воробей», отвечай мне, «Астра»!

«Астра» ответила:

— Слушаем призывы Праги. Передам соседу.

Вскоре все слушали Прагу — и танкисты и пехота.

— Товарищ майор, сколько километров до Праги? — спросил Попов.

— Да порядочно, около четырехсот будет.

Достав карту, он посмотрел на коричневую краску Рудных гор.

— Да уж, танкам туда дороги нет, разве что царице полей, — усмехнулся, обращаясь к нему, командир пехотинцев.

Семен Степанович сидел, привалясь спиной к своей машине, и чинил Любке ботинки. Любка с братишкой Степкой носились вокруг «виллиса» наперегонки с собачонкой, и все радостно визжали.

— Дядя Семен, — дернула его за ватник запыхавшаяся Любка.

— Погоди, обувку справить надо.

— А зачем, уже тепло, можно босиком ходить.

— Это непорядок, чтоб солдаты босые ходили, устав такое не разрешает.

— А кто он? Он сильнее тебя, дядя?

Ей кажется, что сильней дяди Семена никого нет, — дядя Семен даже машину приподнять может.

— Устав — это такая книга, в которой написано, что солдату положено, а чего не положено, как он должен одеваться, как себя вести.

После такого объяснения Любка собралась убежать, но Семен подхватил ее и посадил на колени.

— Ну как, не жмет? — спросил он, надевая ей ботинок.

— Когда сижу, не жмет.

— Ну, пройдись.

Она сделала несколько шагов, но тут на нее налетела собачонка, и Любка снова вскочила Семену на колени.

— Дядя Семен, а почему у вас есть усы, а у других солдат нету?

— Они все моложе меня.

— А как это моложе?

— Им меньше лет, чем мне.

— А сколько вам лет?

— Много, не сосчитать.

Любка гладит Семена по щеке и закручивает ему кончик уса.

Семен приглядывается к девочке. «Да, она уже не такая бледная, как была, и глаза смотрят веселее, и волосенки чистые, мягкие, блестят».

Прибежал Степка с собакой и тоже полез на колени к Семену.

Из-за «виллиса» вышел старшина Степан Иванович, остановился, скрестил руки на груди, усмехнулся:

— Ну, Семен, ты прямо как дома на завалинке с семейством расположился.

Дети прижались к Семену.

Старшина достал из кармана кусок сахара и протянул его ребятишкам.

— Если надо чего будет, обращайся прямо ко мне. Не знаю только, что начальство скажет, если узнает, что мы ребят с собой возим.

Ребята принялись собирать в траве мелкие цветочки и плести из них венки, однако короткие стебли рвались, но Семен нашелся — достал из кармана обрывок шпагата, и вот на голове у Любки уже красовался веночек.

— Семен Степанович, — услышал он знакомый голос.

Он оглянулся — по траве к ним торопливо шла Янкова Люба.

Приблизившись к девочке, она наклонилась и поцеловала ее.

— Ох, плохи у вас дела, — проговорила она.

Семен непонимающе уставился на Любу.

У сквера остановился легковой автомобиль, из него вышел Борис Полевой, корреспондент «Правды», и окликнул расстроенную Любу:

— В чем дело, партизанская семья, с Янко что-нибудь случилось?

— Нет.

— Что же тогда?

— Да вот у них, — она кивнула на ребят, — в Праге немцы бесчинствуют, убивают людей, когда уже ясен исход войны, товарищ подполковник.

— Не плачь, я понимаю, что душа у тебя чехословацкая, ничего, скоро узнаешь большую новость.

— Какую же? — Люба подошла ближе.

— Тебя вызывают в штаб... А ребята твои, что ли?

Люба молча отвернулась, и вместо нее ответил Семен, встав «смирно»:

— Мои, товарищ подполковник.

— Откуда же тебе их прислали?

— В лесу нашел.

Полевой потрепал девочку по щеке, и она спряталась за Семена, украдкой оттуда выглядывая.

— А ну покажись, что ты за солдат! — И он поправил Степке пилотку. — Откуда ты?

— Из Чехословакии! — смело, как учил его Семен, отвечал Степка.

— Соскучились мы по детям, — задумчиво проговорил Полевой. — Поиграть бы с ними, а танки отправить на переплавку и наделать бы из них тракторов!

— Так-то оно так, да видите, что творится в Праге, — вздохнул Семен.

— Интересно, какой приказ везет нам командир? — проговорил Попов, стоя с ветошью в руке — он только что кончил протирать танк и глядел на подъехавшего командира.

Улыбающийся майор подхватил детей и понес их к Семену:

— Ну, Семен Степанович, думаю, что скоро вы повезете их в Прагу.

Раннее утро. Суббота. Пятое мая. Над Берлином все еще клубятся тучи дыма и пыли. Танки, преодолевая развалины, стягиваются с разных улиц к скверу. С гусениц осыпаются обломки кирпичей, комки земли с травой.

В расположение батальона Донского въезжает пыльный танк, из него вылезают трое, прогибаются в поясе, разводят руки, приседают и даже подпрыгивают, делая затем глубокие вдохи.

— Мы уж забыли, как свет божий выглядит, — сказал другу Янко, потягиваясь. — Больше двух недель смотрю на него через прицел, все вижу разделенное на клеточки. И солнце что-то нам не показывается.

— Нужен дождик, — замечает Янков друг, поднимая глаза к небу, а затем глядя на землю. — Май на дворе. Не мешало бы и пыль смыть с танков. А на деревья посмотри — все в копоти, трава почернела, будто осенью.

Янко сорвал цветок, сдул с него пыль и скоро набрал маленький букетик.

— Для кого собираешь цветы, Янко? — кричит ему майор Донской, добродушно улыбаясь.

Янко, смутившись, прячет руку с цветами за спину.

— Ну вот, ты же мужчина, к тому же партизан и танкист, воевать можешь, а преподнести девушке букетик цветов смелости не хватает? — говорит майор.

— Я хотел сказать, что через три дня у Любы знаменательная дата...

— Какая же? — поинтересовался Донской.

В замешательстве Янко сует цветы в карман.

— Ну ладно, Янко, пошли вместе, я вижу, ты совсем оробел. — И, взяв Янко под руку, он показал на Любу, как раз выходившую из автомашины связи.

Янко радостно улыбнулся: прошло больше недели после последней их встречи.

— И ничто ее не берет, все так же хороша, — подмигнул майор, — хоть не прикорнула, как и все мы.

Девушка торопливо поправила волосы, выбившиеся из-под пилотки, собираясь отдать честь, как положено, выпрямилась, вскинула руку.

— Отставить, — улыбнулся майор. — В данном случае я пришел не как командир батальона, Янко меня посылает сватом к невесте.

Люба в недоумении посмотрела на майора, но, видя его улыбку, осмелела:

— Выходит, и я могу говорить неофициально?

— Конечно, ведь и я выступаю в новой роли; к сожалению, пирогов у нас нет, да и водки тоже.

— Ой, что-то, дорогой сват, глаза у вас обоих такие, словно водку эту вы уже выпили.

— Попрошу без оскорблений, впрочем, у вас глазки не лучше наших, и тоже не от водки, честное слово! Ну, Янко, давай же цветы, не стой столбом!

Янко неловко протянул Любе букетик.

— Что празднуем? Конец войны? — воскликнула Люба.

— Пока что нет, но, думаю, и этот праздник не за горами. А вот Янко сказал, что у вас через три дня какая-то знаменательная дата, только не признался какая.

— Ой, Янко, ты не забыл!

Люба порывисто обняла Янко за шею и поцеловала, покраснев от радости.

— Ну, вижу, тут я лишний. Ухожу. — И майор повернулся.

— Нет, нет, не уходите, товарищ майор, или, как вы говорите, сват.

— Все, роль моя кончилась. Теперь спрашиваю как командир — что за дата у вас?

— Пускай Янко расскажет, товарищ майор, — проговорила Люба и перестала улыбаться.

Янко отвел глаза и, вздохнув, сказал:

— История не из веселых.

— Ладно, слушайте, — перебила его Люба, но, начав говорить, опустила глаза: — Это было еще весной сорок второго года. Я помогала партизанам, действовавшим в округе. В наш городок прибыла воинская часть. Как мы вскоре узнали, это были словаки, их расселили по домам, но наш дом стоял на краю, вблизи леса, и я очень была рада, что к нам никого из них не определили на постой! Я ненавидела их так же, как и немцев. Какая между ними была разница? Все они прибывали с одной целью.

Тем не менее солдаты приходили и к нам то за картошкой, то за яйцами, а другой раз утром мы обнаруживали, что недостает курицы. Но в остальном они вели себя дружелюбно, и народ тоже относился к ним хорошо. Когда стало ясно, что солдаты задержатся в городе, я получила от партизан задание. Погода благоприятствовала их боевым действиям, и мне поручили достать патроны и взрывчатку. Откуда — не сказали, но это и так было ясно. В городе вражеские солдаты, вот у них и бери. Подруга мне сказала, что словацкие солдаты продают и меняют на продукты мыло и табак. Я организовала девчат, и мы решили за яйца и масло достать, что нужно было партизанам. Все, что мы выменивали у солдат, прятали у нас в сарае, а уж отсюда дорожка к партизанам нашим ребятам была знакома. Продолжалось это довольно долго, но потом об этом пронюхала полиция. Немцы начали шастать по домам, искали мыло и другие вещи, но ничего не обнаружили. Тогда они послали своих людей выследить, кто из местных покупает мыло, ну, и их люди, переодетые в словацкую форму, продавали в городе кто что, предлагали и тол и понемногу втерлись в нашу организацию.

Люба помолчала.

Янко стоял, уставясь в землю, и ковырял носком сапога ямку.

— И тут к нам зачастил Янко. Куры у нас перестали пропадать, но я не хотела с ним разговаривать, хотя он помогал нам по дому. Рубил дрова, иногда и из лесу приносил дерево-другое, воду из колодца таскал, и мама очень его полюбила. Но я не верила ему, а мать

корила меня, что я, дескать, должна быть ему благодарна, лучше относиться, и еще невесть что говорила. Матери всегда знают больше дочерей.

— А вы так и не догадывались, чего он к вам ходит? — пошутил майор.

— Нет, товарищ майор, я была уверена, что Янко шпионит, ни о чем другом я и думать не смела.

Люба вздохнула, посмотрела на Янко и продолжала:

— Но вот пришли и те, кого со страхом я ждала все время. Я только позднее узнала обо всем. В доверие к нашим ребятам из подпольной организации втерся один полицай по приказу немцев. Он даже и полицаем-то не был, черт его поймет, кто это был, никто его не знал. И вот этот подлец продал моей подружке тол, а сам два дня следил за ней, куда она его денет. Следы привели к нам. Дом наш окружили так быстро, что я не успела убежать. Пришли полицаи и немцы. Двое угрозами принуждали сознаться, задержав нас в кухне, остальные переворачивали дом вверх ногами. Искали долго и все же нашли в погребе килограммов пять тола. Когда его принесли в дом, тот самый, который выследил нас — он был теперь уже в форме эсэсовца, — схватил шашку тола и ударил меня по голове. — И Люба показала шрам, откинув назад волосы. — А сам при этом смеялся: «Что, больно? С чего бы? Ведь мыло мягкое!» Мать подскочила было ко мне, но этот дьявол оттолкнул ее в угол. Шашки взрывчатки мне сунули в руки, но я выпустила их, и они посыпались на пол. Меня начали хлестать ремнями, велели поднять тол и выгнали на улицу.

Когда мы оказались во дворе, я увидела Янко, он шел нам навстречу. Я не опустила глаза, а сама подумала: «Если любишь — стреляй, освободи меня!» Мы прошли мимо него, он то бледнел, то краснел, но не выстрелил и ни слова не сказал. «Трус!» — подумала я, и хорошо еще, что так презрительно на него смотрела...

— Было не совсем так, — возразил Янко. — Ты ведь хорошо знаешь, что было потом. Понимаете, товарищ майор, — продолжал он, — когда я увидел ее с толом в руках под конвоем полицаев, я понял, что один ничего не сделаю, и придумал другое. Сбегал за своими товарищами, верными ребятами, с которыми мы собирались перейти к партизанам, и все вместе мы явились в участок, куда отвели Любу. Жаль ребят, оба они погибли потом, уже в отряде. Так вот. — Янко задумался,

вздохнул и покачал головой, словно сам не верил, что все получилось тогда, как он задумывал. — Понимаете, товарищ майор, когда фашисты видели, что ты поднимаешь руку и приветствуешь эту собаку Гитлера, сразу проникались к тебе доверием, да еще если ты добавлял, что «Россия — капут». Один из моих ребят объяснил по-немецки, что нас посылает офицер разведки, у которого он вестовым, просит передать ему девушку, за которой давно следит, потому что на ее совести несколько словацких солдат и ее искали по всей области. А сам предложил немцу сигареты. Сигареты немец взял, но к нам отнесся с недоверием. Потом, правда, сказал: «Ладно, забирайте, но с условием, что сообщите нам все сведения, какие получите от нее». И отпустил. Мы попросили у немца несколько кусков тола в качестве вещественного доказательства и вывели Любу из помещения. Пока мы были в поле зрения немца и полицаев, нам, естественно, было не по себе, мы боялись, что немец пойдет следом или позвонит в отдел словацкой разведки и все откроется. Поэтому мы велели Любе шагать быстрее, а когда отошли довольно далеко, я шепнул ей: «Любочка, не бойся, никто тебя не будет ни допрашивать, ни бить». Люба ничего не ответила, только головой тряхнула и пошла еще быстрей. Мы подошли к нашим казармам, и тут нас нагнали три телеги. Мы их остановили, на две нагрузили что смогли взять для партизан, на третью сели сами и айда в лес...

— Да, товарищ майор, все так и было, — кивнула Люба. — А когда мы миновали березовую рощу и остановились перед болотами, Янко с товарищами сгрузили два ящика тола, патроны, гранаты, мне же он сунул в руки пистолет: «Любочка, ты свободна! Ступай к своим партизанам, а мы пойдем к тем, с кем уже связались». Мне стало стыдно, что я все время подозревала Янко, но прошлого не вернешь, — виновато призналась Люба.

— Ничего, все поправимо, особенно теперь, когда война кончается, — серьезно сказал майор и пожал руку Янко. — Вы молодец, товарищ чехословак, настоящий рыцарь, не из сказки.

Через сквер к ним торопливо шагал вестовой из штаба. Донской настороженно поднялся, а тот, подойдя, отрапортовал:

— Товарищ майор, вас вызывает генерал-майор Зиберов, срочно.

Майор наклонился к Любе и Янко и шепнул:

— Ну, голубки, прощайтесь и собирайтесь в дорогу.

Те недоуменно переглянулись и проводили взглядом майора, удалявшегося по засыпанной осколками кирпичей улице.

В здании, где расположился штаб фронта, гул стоял как в улье. Солдаты переносили карты, спешили вестовые с донесениями, связисты тянули провода, радисты сосредоточенно сидели над аппаратами. В большом зале убирали со стола карту Берлина и тут же разворачивали новую, складывая по номерам отдельные куски, соединяя воедино реки, горы, города.

Радиоприемник настроен на волну 415. Офицеры, находящиеся в зале, останавливаются около него. Двенадцать часов тридцать три минуты. Они ждут сообщения из Праги.

Собираются высшие военачальники. Прибыли генералы Рыбалко, Лелюшенко и Зиберов. Они входят в зал, где на столе уже разложена физическая карта Чехословакии. На дворе шумит теплый майский дождик, через разбитые стекла окон брызги попадают в зал.

В зале нет еще командующего 1-м Украинским фронтом маршала Конева. Но вот он входит в зал, прямой, подтянутый, живым взглядом окидывает офицеров, склонившихся над картой.

— Приветствую, товарищи!

Собравшиеся отвечают на приветствие и замирают в выжидании.

— Да, думали мы: возьмем Берлин — и войне конец, а в Праге вон что начинается.

Генерал Рыбалко и другие офицеры, изучавшие карту, стоят выпрямившись.

— Товарищи! — говорит маршал Конев. — Я получил приказ не отлучаться из штаба. С минуты на минуту должны поступить дальнейшие распоряжения из Ставки. Имейте это в виду.

Подойдя к карте, он останавливается взглядом на высоте 909, отмеченной на пути из Берлина через Рудные горы в Прагу.

Входит генерал и направляется прямо к карте.

— Ну, какие секреты ты нам расскажешь о Праге? — приветствует его генерал Рыбалко. — Нам не мешало бы послушать, что ты о ней знаешь.

— Оборона Праги уходит на пятьдесят километров

вглубь на восток. На западе основная оборонительная линия — на западном берегу Влтавы, выгодное расположение с естественными препятствиями. В городе в настоящее время численность войск тридцать тысяч. В случае наступления на Прагу с востока приготовлен план уничтожения всей восточной части Праги вместе с мостами. Генерал Шёрнер — последняя крупная фашистская змея, которая еще ползает по Чехословакии со своей армией, он сильно укрепился в горном массиве Рудных гор.

Генерал, руководящий разведкой, докладывает о дислокации сил генерала Шёрнера.

— А он не так уж слаб, как казалось, — кивает Рыбалко. — Четырнадцать пехотных, три горные, две танковые, одна моторизованная дивизия...

— И кроме того, он намерен пробиться к войскам генерал-полковника Вальтера, это значит, что он рассчитывает воевать в Чехословакии несколько недель, — заключает генерал разведки.

— А чего ему не воевать? В Чехии у него есть все для ведения войны, есть заводы, производящие все необходимое для армии. — И Конев показывает на карте города с военными заводами.

— На оружейный завод в Пльзени ему уже нечего рассчитывать, — засмеялся генерал Лелюшенко. — Тут уж американцы поторопились, разбомбили его несколько дней назад.

Полевой, стоявший до этого в стороне среди офицеров, подошел к карте и вопросительно посмотрел на военачальников:

— Какое ваше решение о помощи Праге? Что я могу доложить редакции газеты?

— Вот смотрите, — и начальник разведки показывает на карте, — мы отдалены от Праги более чем на триста восемьдесят километров. Кроме того, перед нами значительные препятствия: горный массив с укреплениями. Далее. На пути к Праге придется преодолеть две реки — Эльбу северо-западнее Дрездена, а на территории Чехии Влтаву на открытой равнине. При этом у Пльзени, недалеко от Праги, стоит 3-я американская армия генерала Патона, она может достичь окраин Праги за день-два. А пробиться с танками через Рудные горы возможно только чудом, разве что перебросить их на самолетах?

По радио голос пражского диктора по-английски:

— Призываем на помощь американскую армию, стоящую под Пльзенью! Помогите нам авиацией! Немецкие части продвигаются к Праге! Бомбардируйте их на пути!

В зал вошел офицер, оглядел присутствующих и подошел к маршалу Коневу, став навытяжку, доложил:

— Москва на проводе, товарищ маршал. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин.

Конев оглядел своих боевых соратников и направился к двери. Офицеры расступились, освобождая ему проход в соседнее помещение, куда он вышел в сопровождении адъютанта.

В зале наступила напряженная тишина, все взгляды устремлены на дверь комнаты, где должен состояться разговор.

Маршал Конев поднял телефонную трубку и взволнованно ждал... Он стоит выпрямившись, отвечает на вопросы, на лице у него спокойствие.

— Вы очень устали?

— Нет, товарищ Сталин, наша армия готова выступить на Прагу!

— Хорошо. **Стальным щитом** закройте дорогу остаткам фашистской армии, устремившимся к Праге. Уничтожьте врага и помогите пражскому населению в его неравном бою. Прага должна быть освобождена не позднее двенадцатого мая!

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Конев вернулся в зал, где собрались офицеры, с нетерпением ожидавшие решения Ставки. Через разбитые окна врывался свежий ветерок. Конев повторил приказ Сталина.

— **Стальным щитом!** Это значит — опять мы с тобой, — говорит генерал Рыбалко, указывая на Лелюшенко и на себя, — и наши танкисты.

— Да, — усмехнулся Конев. — Ваши танкисты получают последнее боевое задание: помочь пражскому восстанию и уберечь Прагу от судьбы, постигшей Варшаву. Мы получили приказ освободить Прагу. И мы его выполним как можно быстрее, товарищи. А для совершения чуда у нас есть наши танкисты, — проговорил Конев. — Немедленно займитесь подготовкой частей к выступлению. И надо принять во внимание один важный фактор: наши солдаты очень устали. Я видел, разговаривал с ними...

Пражская операция была задумана ранее. Восста-

ние в Праге сократило и без того сжатые сроки подготовки: операция началась 6 мая — на сутки раньше, чем планировалось. Предстояла серьезная борьба с большой группировкой вооруженных сил Германии.

...Генералы Рыбалко и Лелюшенко покидали штаб фронта, уже имея на руках подробно разработанный план операции по переброске танковых частей на Прагу. В зале слышны были телефонные звонки, работали радиопередатчики.

— Ну а вы, товарищ подполковник, сообщите в редакцию «Правды», что мы двигаемся в поход на Прагу.

— Есть, товарищ маршал. Но... я хотел еще кое о чем вас попросить.

— Уж не собираетесь ли вы повести армию? Ну, чего же вы хотите, дотошный газетчик?

— Дайте мне Костю с самолетом.

Конев с удивлением посмотрел на Полевого.

— Вы что же, собираетесь наблюдать за фронтом с самолета? С самолета можно увидеть воду, но не рыбу в ней, мой дорогой. Если хотите, могу дать танк.

— Я хотел бы, товарищ маршал, наблюдать с самолета за продвижением войск.

— Ах так! Понимаю. Когда танки будут на окраине Праги, вы сойдете где-нибудь на площади и будете в Праге первый. Ладно. Костя в вашем распоряжении вместе с самолетом.

Было уже под вечер, когда по команде танковые подразделения построились, чтобы выслушать ободряющие слова командующего фронтом.

Танки и грузовые машины стали наготове на широком шоссе, ведущем из Берлина на юг. Майор Донской давал последние распоряжения бойцам, которым уже было известно, что скоро прибудет командующий. Танкисты Донского предполагали, что их последний поход будет в Прагу, когда им объявили приказ, они ничуть не удивились.

Старшина Степан Иванович, командир колонны грузовых машин, согнувшись подбежал к «виллису» Семена. Тот протирал стекла. На лице у старшины было отчаяние.

— Прошу вас, Семен, спрячьте детей, потому что достанется прежде всего мне. Быстро спрячьте!

— Куда ж я их спрячу? И кому они мешают? Велю им, чтоб тихонько сидели в кабине, вот и все, что я могу сделать.

Старшина вздохнул и побежал назад к колонне.

Майор Донской, увидев командующего, вышел вперед и встал «смирно»:

— Товарищ маршал, докладывает командир танкового батальона. Батальон готов к выступлению.

Из ближайшего танка послышался голос диктора:

— Прага зовет на помощь Красную Армию! Прага зовет Красную Армию!

Конев прошел перед строем солдат, глядя в их лица. Останавливался перед водителями и танкистами, расспрашивал о техническом состоянии машин.

Вот он и возле «виллиса» Семена. За стеклом его внимание привлекла пилотка, из-под которой на него поглядывали любопытные детские глаза. Конев подошел ближе, постучал по стеклу, и тут же на него уставилась и вторая пара детских глаз.

— Надо же! — удивленно воскликнул Конев. — Наши уже готовят себе боевую смену. Чьи это дети? — спросил он у спокойно стоящего рядом Семена.

— Не знаю, товарищ маршал. Мы обнаружили их в лесу во время боя. Скорей всего бежали из лагеря.

— Вы установили, откуда они и чьи?

— Никак нет. Знаю только, что они из Чехословакии.

Конев распахнул переднюю дверцу. Ребята скорчились на сиденье перед рулем и боязливо смотрели на незнакомого военного. В ногах у них, в ящике, ворчал щенок. Конев улыбнулся.

— Я гляжу, у тебя тут целое хозяйство.

— Все они сироты, — проговорил Семен, словно оправдываясь.

— После войны сделаем тебя на Родине директором детского дома для сирот, — продолжал шутливо маршал. — А свои дети есть?

— Были. Трое.

— И что же?

— Фашисты... сожгли всех...

Конев задумался. Постоял, потом нагнулся:

— А ну-ка, маленький солдат, выходи, устроим тебе проверку, — и взял Степку за руку.

Тот сперва неуверенно поерзал на сиденье, но, видя улыбку на лице незнакомца, выскочил из машины и встал, вытянувшись и выпятив грудь.

— Настоящий солдат, — похвалил его маршал и повел к выстроившимся шеренгам. Держа левую руку на плече Степки, правой он приветствовал танкистов.

Растроганный Семен остался стоять возле своей машины. К нему подошел генерал Рыбалко. Внимательно осматривая машины, он похвалил Семена:

— Приятно посмотреть на такую машину, чистая — прямо загляденье. Примерный шофер! — Тут он заметил Любку. — А это кто? Дочка?

— Нет, товарищ генерал, мы ее в лесу с братишкой нашли, видать, сбежали из лагеря. Не знаем чьи, но они из Чехии.

Рыбалко взял девчушку за руку:

— К тебе на родину отправляемся, в Прагу.

Подошел и Донской:

— Да, у него и автомашина и дети в порядке.

Рыбалко нагнулся к девочке и проговорил, обращаясь к Семену:

— Неподходящие тут условия для детишек...

Осмотр заканчивается. Офицеры штаба спокойны — они уверены, что люди и оружие в порядке.

Маршал Конев стоял перед выстроившимися войсками. Рядом был Степка. А Конев, глядя на солдат, замерших в ровных шеренгах, обратился к ним с речью, заговорил дружеским тоном:

— Товарищи! Наша Родина и Главнокомандующий поставили перед нами славную боевую задачу: помочь Праге, помочь пражским повстанцам в их борьбе за свободу. Я верю, что эту роль вы выполните с честью. Остатки вражеских орд намерены разрушить этот древнейший город и задушить восстание братского чешского народа. Наша победа над фашистским зверем здесь, в Берлине, в его собственной берлоге, обязывает нас довершить эту победу освобождением Праги, чтобы снова воцарился мир на земле.

— Товарищи! Слушайте приказ: отрезать врага от Праги **стальным щитом** и освободить город не позднее двенадцатого мая.

Вперед на освобождение Праги и чехословацкого народа!

«Ура! Ура! Ура!» — прокатилось по шеренгам.

Тихая майская ночь. Ветерок шевелит ветки деревьев и гонит густые тучи на запад. Месяц то вынырнет из тучи, то снова спрячется. Танкисты сидят в танках, саперы заняли места на танках. Приятно выспаться после стольких бессонных ночей! Жесткая сталь кажется мяг-

чайшей периной. Но вот гул и грохот моторов пробуждают людей от сна. Колонна трогается.

Включил мотор и Семен. Дети продолжают спать, а щенок заворчал, почуяв, что на ступеньку «виллиса» поставил ногу кто-то чужой.

— Ну что, никто не ругался?

— А, это вы, товарищ старшина. Нет, обошлось. Сказали, раз вы разрешили, то и они не против.

— Ну, Семен, я же не против.

— Знаю, товарищ старшина, — улыбнулся Семен.

— До свидания в Праге! Следите за детьми! — И старшина соскочил с подножки.

Два параллельно тянущихся на юг от Берлина шоссе окутаны серым дымом, ветер относит его на обочину и поднимает над деревьями. Начинает моросить дождь. Грохочут моторы, лязгают гусеницы танков и бронетранспортеров. Колонна растянулась на тридцать километров, за ней дорога остается высушенной и местами полита маслом. Танки идут на предельной скорости. Чем дальше продвигаются они на юг, тем дождь становится гуще. Передние танки уже всего лишь в тридцати километрах от Дрездена. Немецкая группировка «Миттель», обнаружив продвижение частей Красной Армии, выслала против них свои танковые подразделения и самоходные орудия. Бой длится долго и задерживает продвижение на юг. Но и немецкие части отступают в том же направлении, и их арьергард прикрывают отроги Рудных гор.

И хотя враг отчаянно сопротивляется, стальная громада неумолимо продвигается вперед. Башни на танках, едва утихает стрельба, открываются, танкисты внимательно всматриваются в приближающуюся синеватую даль, заслоняют глаза от света, чтобы лучше разглядеть, что там впереди. И стрелки через перископы рассматривают кряжи Рудных гор.

— Нам бы только наверх взобраться, а дальше дело пойдет, — подбадривает по радио майор Донской.

Танки продвигаются к подножию Рудных гор. На их склонах укрыты вражеские противотанковые пушки, они открывают стрельбу. Танки из колонны, останавливаясь, стреляют туда, откуда только что поднялся дымок.

К границе Чехословакии ведут две дороги через горные перевалы. Обе они отходят от Альтенберга, и отсюда танки пускаются по петляющим дорожкам, чтобы перевалить через горный хребет.

Майор Донской пересел на Т-34 и возглавил атакующую группу. Но, пройдя всего метров сто, приходится остановиться. Саперы, обследующие дорогу перед танками, обнаружили серьезные препятствия. Пехотинцы, сойдя с танков, растянулись цепью, саперы обезвреживают мины, расставленные у завалов.

Хорошее обозрение врагом тоже затрудняет продвижение наших танков и моторизованных частей.

— Ну, ребята, — говорят командиры саперов и пехотинцев, — пришел наш черед! — И поглядывают вслед танкам, которые сворачивают с полдороги, чтобы внизу присоединиться к танкистам генерала Лелюшенко, продвигающимся к отрогам Рудных гор по соседней дороге.

Идет передовой отряд саперов и пехотинцев, справа продвигаются танки Лелюшенко, преодолевая шаг за шагом крутой подъем. Донской вернулся в Альтенберг и присоединился к Лелюшенко. Немцы упорно стреляют сверху, засев в старых чехословацких укреплениях.

— Кто будет первым на чехословацкой границе — мы или Рыбалко? — прикидывают танкисты Лелюшенко, разговаривая между собой.

Части генерала Рыбалко подходят к границе еще перед полуднем. Туман, окутавший долины, поднимается по склонам, теплый ветер разгоняет его по полянам и склонам, гонит к полям, раскинувшимся на северных склонах Рудных гор. Солдаты, всего несколько дней назад воевавшие на загроможденных развалинами улицах Берлина, беря с боем каждый дом, этаж, передвигались теперь по голому горному склону. В Берлине на них, помимо пуль, сыпались кирпичи и штукатурка, а сейчас их поливали пулеметные очереди, обстреливала артиллерия — немцы, засевшие в бетонированных бункерах. Батальон Донского смешался с колонной Лелюшенко, и Донской ставит своего регулировщика, чтобы его танкистам и водителям грузовиков легче было ориентироваться. Танки старшего лейтенанта Ющенко уже миновали высоту 895 и продвигаются западнее ее по склону, поднимаясь все выше и выше.

Подбитый в правую гусеницу танк стремительно падает вниз вместе со своим экипажем, но по его пути уже поднимается другой, осторожно, но неуклонно приближаясь к границе.

Командир первого танка докладывает Ющенко:

— Товарищ старший лейтенант, невозможно продви-

нуться ни на шаг, снаряды ложатся точно на дорогу, надо обойти поворот!

— Как пойдешь обходить? Назад? — язвительно кричит Ющенко.

— Надо проложить новую дорогу, — предлагает танкист.

Ющенко вылезает из танка и напрямик через лес бежит к первому танку. Его командир стоит рядом с сапером и что-то объясняет ему, а саперы вместе с пехотой валят деревья, расширяя под непрерывным обстрелом дорогу. Ющенко видит, что из-за прицельного огня хорошо укрытого врага пройти по прежней дороге действительно невозможно. Пушки так надежно спрятаны за бетонированными заслонами, что его танки не в состоянии заставить их замолчать. Орудия, правда, ненадолго стихают, но стоит появиться под обрывистой дорогой саперам, как снова начинают грохотать.

— Так мы и до вечера не пробьемся! — выходит из себя Ющенко.

Сбежав к первому танку, он услышал звуки бодрой песенки, а затем голос: «Призываем на помощь Красную Армию! Призываем американскую армию! Внимание! Внимание! — После этого голос продолжал: — Немцы в Праге убивают невинных людей. Сегодня в шестнадцать часов при атаке на мост Главачека немцы гнали впереди себя чешских женщин, стариков, детей, наступая на баррикады защитников Праги».

— Слыхали, ребята? — закричал старший лейтенант танкистам.

Навстречу ему выскочил майор Донской, хлопнул его по плечу:

— Ну что, соседи? И вы не можете пробиться?

— Забрались, сволочи, в бункеры, не подступишься.

Над головой у них просвистела мина и разорвалась возле саперов.

— На моем участке столько завалов, что мы и за несколько недель их не разберем.

— Слыхали, что творится в Праге?

— Если уж они своих же в Берлине в метро затопили, детей и больных, то могу себе представить, что с чехами и подавно не станут церемониться.

— Что будем делать, товарищ майор?

— Новую дорогу, — отрезал Донской.

И оба последовали в глубь леса за саперами.

Оттуда доносились удары топоров, визг пил.

Вскоре в густых зарослях появилась неширокая просека.

Ющенко подошел к ближайшему танку:

— Танки, за мной!

— Прямо? — переспросил танкист, высунувшись из башни.

— Прямо! Прямо! — закричал Ющенко.

Танк под прикрытием густых веток высоких деревьев устремился чуть не вертикально по склону. Неловкий маневр — и он может свалиться вниз, куда лучше не смотреть. Дорога проложена заново и соединяется с шоссе на небольшом повороте. Ползут гусеницы танков по низко спиленным белым пням, впиваются в дерево кромками траков, танки поднимаются в тыл немецким укреплениям.

Танки, а за ними саперы и пехота выходят на небольшое плоскогорье возле деревеньки Молдавы уже на закате дня. Прибавив газ, танки следуют далее; людям жарко от перегревшихся моторов и от напряжения, они вытирают потные лица. Немцы продолжают обстреливать старую дорогу, новую, видать, они еще не обнаружили.

А пехота и саперы между тем наперегонки спешат к границе. Перед ними открывается большой зеленый луг с разбросанными на нем небольшими кирпичными домиками. Позади луга проходит железная дорога.

Саперы суетятся около моста, осматривают его снизу и снова бегут вперед.

— Ура, мы первые! — радостно кричат они, подбрасывая пилотки вверх.

— Наша рота первая?

— А не наша?

— А вы чьи, Лелюшенко? — спрашивает их майор Донской.

— Точно! — с гордостью отвечает один из них.

— А вы, товарищ майор?

— А мы пришли вам помочь. — Донской указал на саперов.

— Теперь дело пойдет легче, — смеются солдаты. — Спустим танки волоком на тросах.

— Ну-ну-ну, это вам так кажется, и спускаться вниз будет непросто, — с сомнением возразил Донской, доставая карту. — Вот поглядите.

Солдаты подходят, рассматривают карту.

— Каким маршрутом двинем, товарищ майор?

— Проселками нам надо пройти к Циновцу, а оттуда по южному склону Рудных гор и в Прагу, — объясняет Донской.

Солдаты склонились над картой, и тут на горизонте ухнуло орудие, а затем раздалась канонада. Казалось, немцы палили туда, где предстояло идти старшему лейтенанту Ющенко.

— Саперы, мост в порядке? — спрашивает Донской и затем дает знак своим. Первый танк осторожно пересекает мост, не переставая обстреливать немецкие позиции в лесу, и вот уже и остальные танки переправляются на чешскую сторону. Но тут снова остановка на опушке леса: саперы сообщают, что придется расчищать дорогу, для чего понадобится не один час. Команда: стоять.

Танки Донского выходят из колонны и направляются на восток по хребту Рудных гор.

— Ну, друг, пока, — попрощался Донской с Ющенко. — Вы подойдете к Праге с запада, мы с северо-востока. Согласно приказу мы должны встретиться двенадцатого мая. А может, сократим срок?

— Товарищ майор! — протянул ему руку Ющенко. — Вот вам моя рука: кто первый приходит в Прагу, тот ставит. Согласны, ребята?— обернулся он к своим танкистам.

— Идет! — ответили ему.

— Когда встретимся в Праге на главной площади, я тебя расцелую. И еще кое-что у меня есть, из последнего пайка! — И показал флягу.

— Думаете, один вы богатый? У меня тоже есть. Приберегаю на конец войны, вот вместе и разопьем, — пообещал Ющенко.

— Товарищ старший лейтенант, — докладывает связной, вернувшийся от саперов. — Дорогу очищают, но управятся за несколько часов, не раньше.

Ющенко достает карту, рассматривает ее. Лицо его сосредоточенно.

— Не можем же мы прорубаться через леса до самой Праги, а тут вот опять склон.

Донской тоже разглядывает карту и показывает:

— А что, если по железной дороге?

— В самом деле! — радостно восклицает Ющенко.

— Так-то оно так, но вот два туннеля...

— Танки пройдут! — уверенно заявляет Ющенко.

— Так мы сократим дорогу и выйдем им в тыл. Только надо соблюдать осторожность.

— Товарищ майор, через болота я уже проходил, через леса и реки тоже, но по туннелю и по такой узкой насыпи еще не пробовал.

— Пусть танкисты не смотрят даже в щели, не то голова закружится.

Ющенко разделил свои танки на две группы.

— Но приказ другой, — напомнил Донской.

— Ничего не поделаешь, придется нарушить приказ.

Они доходят вместе по проселочной дороге до железнодорожного полотна.

Ющенко садится в танк и поднимается по насыпи, танк почти весь свесился вправо, затем он входит в туннель, Ющенко открывает люк. Туннель сворачивает влево. Следом за Ющенко идет второй танк, и вот уже вся колонна выходит к большому железнодорожному виадуку на южном склоне Рудных гор.

Ющенко вышел из танка и глубоко вздохнул:

— Даже воздух чешский лучше, чем на той стороне гор.

Он осмотрелся. Виадук был разрушен немцами при отступлении. Ничего не поделаешь, придется снова спускаться вниз по насыпи. Спуск прошел удачно. Саперы подкопали насыпь и сделали пологую дорогу. Ющенко обошел Нове Место стороной и дожидался свою часть, которая пробивалась через город, здесь, на высоте восемьсот метров над уровнем моря. Соединившись с остальными танками, вызвал майора Донского:

— Товарищ майор, мы благополучно перебрались по жердочке.

— Ну вот, был бы тут Суворов, он сказал бы, что, где не проскочит олень, там пройдет русский танк, — услышал он в наушниках.

Донской со своими танками пробирается по узкой проселочной дороге, проложенной деревенскими телегами. Одной гусеницей они ползут по колее, а второй — по обочине, заваленной стволами деревьев. Гусеницы крушат дерево, подминают под себя молодые сосенки, попадающиеся на пути. Дороги петляют по всему лесу. Которая из них верная? Майор Донской смотрит на карту с компасом в руке, а мимо грохочут танки, направляясь пока к старым чехословацким укреплениям, которые добивают саперы.

Попов останавливается на холме — барахлит мотор. Механик налаживает его работу, но предупреждает Попова, что машина долго не выдержит. Тут Попов спох-

ватывается, что не передал Донскому распоряжение направить часть танков в ремонт, а ведь в списке был и номер его танка...

Но мотор снова работает исправно, и надо торопиться вперед.

Танки выходят на дорогу к Циновцу. Мелкий песок перемешан с металлической оловянной пылью, гусеницы взвихривают его, а ветер поднимает столбом.

Командир саперов докладывает, что они заняли широкий склон, оттуда видно Чехословакию.

Сверху спускается еще один танк. Притормозив возле группы офицеров и солдат, он открывает люк, из люка выскакивает Янко.

— Товарищ майор! — радостно кричит он, обнимает Донского и, нагнувшись, берет щепоть родной земли. — Там, товарищ майор, — указывает он рукой в синие дали, — там лежит «земля прекрасная, любимая...».

Седьмое мая, пополудни.

На пограничной полосе возле большой кучи оловянной руды выкопаны четыре ямы. Заходит солнце, обливая вершины гор и леса огненным светом. Над горизонтом поднимается узенький серпик месяца, тоже красный. Заходит солнце, и в четыре могилы укладывают четырех советских солдат, погибших на чехословацкой границе близ Циновца.

— Прощайте, русские братья, — шепчет Янко и с каждой могилы берет по щепотке земли в носовой платок, чтобы отвезти ее в Прагу.

Танки переваливают через хребет на южную сторону. Деревья здесь зеленее, чем на северном склоне. Пехотинцы и саперы прочесывают лес и просматривают дороги. Сбоку на склонах гор размещены фашистские противотанковые пушки, у немцев тут лучшее обозрение, чем было на северной стороне, и они сильно затрудняют продвижение наших танков.

Старший лейтенант Ющенко продирается по узкой заросшей дороге, которая не лучше той, где проходили танки Донского. Дорога петляет на крутом уклоне, на ней не разминулись бы и две крестьянские телеги, по обочинам она заминирована и перекрыта надолбами. Пехотинцы и саперы вместе с танкистами метр за метром разбирают завалы, по возможности засыпают ямы над крутыми обрывами — при взгляде с них кружится голова. Ночь. Дорога то почти отвесно уходит вниз, то вьется змеей.

Но танки все продвигаются вперед. По сторонам каждого идут радист и механик, помогая водителю ориентироваться. С яркими вспышками рвутся мины и снаряды, слепя водителя и сопровождающих.

Только под утро отряд Ющенко добирается до первой деревушки на южной стороне Рудных гор. Внизу танки обгоняют друг друга, сверху их обстреливают из пулеметов отступающие фашисты. Солдат, сидевший на танке, падает на землю между двумя танками.

— Вперед! Вперед! — звучит команда танкистам.

Ющенко связывается с Донским, который все еще пробирается через леса. Его саперы выгоняют засевших в укреплениях фашистов, бегом передвигаясь по склону. Танки спускаются в деревню.

По железнодорожному полотну над деревней Дуби Ющенко накануне вечером проник в тыл к неприятелю, а теперь солдаты вытесняют фашистов из деревни.

В хатенке, притулившейся под косогором, за столом сидит старушка и молится, губы ее шевелятся, в глазах беспокойство. На дворе не прекращается стрельба. Отложив на стол четки, старушка подходит к окну. Там стоит солдат с санитарной сумкой через плечо. Прислонившись к стволу дерева, он высматривает, откуда можно подобраться к фашистскому пулемету, засыпающему дорогу пулями.

Старушка вышла на порог и внимательно приглядывается к солдату.

— Это и вправду они? — шепчет она про себя. — Это русские?

— Фрау, где тут фашисты? — окликает ее солдат из-за дерева.

— Сынок, я не фрау, я чешка.

— Вот оно что, чешка!

— Да, да, сынок.

Солдат машет ей рукой:

— Спрячьтесь, вон пулемет стреляет.

Старушка уходит в дом и зовет из-за дверей:

— Сынок, ты бы тоже спрятался. Заходи в дом, поди, есть хочешь.

— Нет, мать, не до того, а вы прячьтесь.

— Голодный же, наверно. Испеку я тебе лепешек, лепешек испеку, пирогов-то нету у нас, а уж как бы хотелось угостить тебя. Ну, погоди же, принесу тебе лепешку сама, раз ты не хочешь зайти.

Она набирает в миску муки, чтобы приготовить ле-

пешки. Руки ее месят тесто, а глаза обращены к святому образу, губы шепчут молитву, она молится за солдата, что видела у себя во дворе. Теперь можно говорить почешски, русский солдат гонит прочь от ее дома извечного врага! Вдруг рядом жахает мина, и старушка торопливо крестится. На плите печется лепешка. Старушка снимает ее с плиты, перекидывает горячую с ладони на ладонь и, спрятав в фартук, выносит во двор солдату.

— Ну, вот. Ушел и ничего не сказал, а ведь как хорошо бы ему поесть горяченького, небось не ужинал и не завтракал, целую ночь стрельба идет, — бормочет она. — Куда подевался? Ах вот ты где и не откликнешься. — И склонилась над мертвым уже солдатом.

Из-за хаты к ней подполз другой солдат.

— Стреляют, уходите! — закричал он на старушку.

Бабка, вытаращившись, глядит на ползущего солдата и, опустившись на колени, фартуком машинально вытирает кровь с лица мертвого.

— Ох, сыночек, не дождется тебя матушка в России. Убили тебя, сыночек, у моей хаты, — в голос причитает она и плачет, крестит мертвого и протягивает лепешку второму солдату, которому удается заставить замолчать немецкий пулемет.

— Возьми, сынок, для него я ее пекла.

Солдат взял из рук старушки лепешку, отломил кусок, а сам достал ломоть белого хлеба и дал ей.

— Угощайся, бабуля, русским хлебом.

Глядя на хлеб, старушка прошептала:

— Буду молиться за тебя и за всех вас.

Первые лучи солнца осветили крышу хаты. В тени деревьев под окном лежал мертвый молодой боец. По дороге грохотали танки, вступая в город, а за столом сидела старушка и перебирала четки.

И тут закипел жаркий бой, но длился он недолго. Бросая орудия и танки, враг бежал.

На пути в город танкистов встречали вооруженные люди с красными повязками на рукавах, они всего за несколько часов до прихода советских солдат вели бой с отступающим эсэсовским отрядом. Партизаны залезали на танки и входили в город вместе с советскими танкистами, в город Ловосице, жители которого сердечно приветствовали своих освободителей. Но танкисты не задерживаются здесь, путь их лежит дальше на юг.

При выезде из города из какого-то здания к танкам устремились толпой женщины, радостно закричали по-

русски солдатам. Выяснилось, что их сюда пригнали работать на фабрике.

Девушки обступают ненадолго остановившиеся танки, обнимают солдат:

— Дорогие вы наши, как же долго мы вас ждали!

Вскоре громкими возгласами солдаты зовут сержанта Попова, но его не видно, он снова занят ремонтом своего танка. Наконец он выбирается наружу, радист, показывая на него девушке, спрашивает:

— А не этот ли Попов вам нужен?

В ответ девушка бросилась сержанту на шею с поцелуями. Тщетно он отбивался от нее, но, когда она со счастливым смехом немного отстранилась от него, он в изумлении воскликнул:

— Неужели ты, Люда? — и крепко обнял девушку.

— Надо же! Говорили, будто Попов боится девчат, а ишь как прилип!

— Ну отпусти уж ее! — закричал стрелок товарищу.

— Ребята! Это ж моя сестра!

Радист недоверчиво уставился на обоих:

— Будет тебе сочинять! Такого не бывает!

Попов вытащил из кармана фотографию и протянул ее товарищам.

— Вы останетесь тут? — осмелев, спросила девушка.

— Нет, милая, наш путь лежит на Прагу, — сказал радист.

Впереди послышался сигнал к отправлению, положивший конец этому свиданию.

— Что же нам делать? — в растерянности произнесла Люда, увидев, как солдаты полезли на танки.

— Встретимся в Праге! Садитесь на грузовики, которые идут следом за нами! — на ходу крикнул ей Попов, с горечью подумав, что приходится расставаться, не успев встретиться, и что не может он взять ее с собой.

Залезая в танк, он еще крикнул:

— Спрашивай Семена Степановича Виноградова, он едет с детьми, возьмет и тебя наверняка! — Танк тронулся; помахав ей на прощание, брат добавил: — До свидания в Праге!

Дорога впереди была свободна. Донской сел к рации, чтобы связаться с полком, но радиостанция, на которой работала Люба Васильева, не отвечала. Донской высунулся в люк на башне, оглянулся назад — батальон следовал за ним. Почему же нет связи с полком?

В колонну сбоку вклинилась группа отступающих с востока эсэсовцев, перепуганные немцы выскакивали из машин и пытались спастись бегством, укрыться в соседнем лесу, отстреливаясь на ходу. Колонна — танки, грузовые машины — остановилась. Со стороны леса показался кто-то с белой тряпкой на палке.

— Так-то умнее будет, — прошептала Люба, сидя в машине полковой связи.

Советские бойцы дожидаются, пока подойдет мужчина с белым флагом, — это не солдат, а местный крестьянин, немцы послали его провести переговоры.

— Ну, с чем ты пришел? — спрашивают его советские солдаты.

Запыхавшийся мужчина торопливо бормочет дрожащим от волнения голосом:

— Солдаты в лесу требуют, чтобы вы освободили им дорогу на запад, чтоб пропустили их, значит.

Танкисты, а за ними и Люба, высунувшись из машины, рассмеялись.

— Даем им пять минут на размышление. — И советский офицер показал на часы.

Парламентарию неохота возвращаться назад в лес, но, уж если взялся выступать в роли фронтового дипломата, придется доиграть свою роль до конца.

Не получив через пять минут никакого ответа, солдаты двинулись через сады в лес. Их встретила стрельба. Танки, стоявшие на дороге, повернули стволы, и завязался бой, который не оставил у немцев никаких надежд на бегство.

Машина с радиостанцией стояла на возвышении, и немцы обстреливали ее из пулеметов. Но когда замолк пулемет, не стало слышно и сигналов радиостанции.

— Алло! Алло! — вызывала Люба Донского, но вдруг ей почудилась музыка в приемнике, струнные звуки, мягкий голос, напевавший «Сулико»... Как она любила слушать эту песню из уст Янко, она же и научила его петь эту песню. Люба протянула было руку к приемнику, чтоб сделать звук громче, но рука ее безвольно поникла, голова опустилась на приемник, по щеке потекла кровь...

Донской со своим батальоном пробивался дальше на юг, к Праге. Он изучал карту и указатели на дорогах и перекрестках, почему-то они загадочным образом по-

казывали направление совсем другое, чем его компас. Он остановился в Душниках. Из домов выбегали люди.

Донской развернул карту. Душек, старик из деревни, тоже присматривается к карте. Донской оглядывает местность, определяет направление и смотрит на дорожные указатели, они не совпадают с картой.

— Старик, куда пошли немецкие колонны?

— На Сланый, товарищ офицер, на Сланый! — И показывает рукой на запад.

— А почему указатель направлен на восток, на Мельник, там что, тоже есть Сланый?

Душек засмеялся, а за ним и стоящие вокруг жители.

— Это мы хотели сократить немцам путь на запад, задержать их, пока вы подоспеете, — усмехнулся старик.

— Ну и шутники, — засмеялся и Донской.

— Возьмите нас в Прагу, — попросился Душек.

— Садитесь! — разрешил Донской.

Душек взобрался на передний танк. За деревней, по левую сторону от дороги, отозвались выстрелы неприятеля. Погасив свет, танк на скорости развернулся на восток, и вскоре стрельба утихла. Танк продолжил свой путь, и тут все обратили внимание, что старика нет.

— Где он? — спросил майор.

— Да вон там, когда танк разворачивался, он слетел за обочину, — объяснил кто-то из солдат. — Понял, что не просто путешествовать на танке до Праги.

Танки идут вперед. Донской вызвал своего ближайшего соседа и вскоре получил ответ.

— «Воробей» слушает! — откликнулся сосед с другого края **стального щита.** — Прием в девять, — повторяет он.

— Говорит «Астра»! — отвечает майор Донской. — Внимание на восточную дорогу. По дорогам в направлении Сланого движется «Ястреб»! Приготовьте ему встречу без хлеба, зато с солью и порохом.

— Вас понял, «Астра». Встречу «Ястреба».

Самая крупная магистраль, соединяющая наступающую армию с востока на запад, это Мельник — Сланый, а оттуда она идет на Пльзень и Карловы Вары. Дорога эта идет параллельно северной части реки Огрже. Справа от дороги посреди большой равнины стоит как верный страж края легендарная гора Ржип *.

---

* Ржип — по преданию, здесь поселился прародитель чехов, легендарный Чех, и отсюда пошла чешская земля.

Наступила уже ночь. Майор Валягин приближался со своими танками к городку Сланый. Не сбавляя скорости, машины врываются на улицы города, отсюда путь их лежит на запад. Первый танк спускался с пологого холма, как справа ударили немецкие орудия, полыхнув огнем.

— По ним! — скомандовал майор Валягин и захлопнул люк башни. Танки на ходу открыли огонь, пехотинцы разбежались между домами, очищая сады от засевших там и отчаянно оборонявшихся фашистов.

Бой затянулся до двух часов ночи. Фашисты не хотели отказываться от мысли попасть на запад, в расположение войск союзников, а Красная Армия ни на миг не отклонялась от своего направления на Прагу. И враг разбивал голову о **стальной щит.**

Ведущие бой передовые части задержали продвижение колонны. Где-то в конце ее молодой шофер Алешка, рядом с ним сидит его командир, младший лейтенант Владимир Юничкин, оба совсем молодые ребята.

— Вы откуда будете? — спрашивает командира шофер, чтобы скоротать время.

— Издалека.

— Откуда же?

— С Черниговщины.

— Да ну? — удивляется Алешка. — Так мы почти земляки.

— А, и ты из наших мест?

— Из Белоруссии.

— Да, это совсем рядом от нас.

— Конечно, — смеется Алешка, — километров эдак пятьсот.

Неожиданно слева раздается стрельба. Колонна потихоньку уже двигалась, а тут Алешка останавливает машину, что-то с ней не в порядке. Он включает и выключает мотор, тот кашляет, захлебывается, наконец снова заработал, но с перебоями. Алешка слезает, осматривает его, наконец снова залезает в кабину и трогает. Стрельба уже стихла, пехотинцы, преследовавшие немцев, возвращаются к танкам и машинам.

Алешка отстал от колонны и теперь догоняет ее, выжимая газ до предела. Где-то внизу должна быть деревня. Ему кажется: танки неподалеку, если б дорога не петляла, он и сейчас ехал бы на большой скорости, но по Брандишу надо спускаться осторожно. Впереди

послышался шум машин, и он подумал, что догнал колонну, но увидел, что машины какие-то другие, да и двигались они навстречу.

— Немецкие машины едут вверх по дороге! — крикнул он младшему лейтенанту, указывая на приближающиеся автомашины.

Командир, разбив ветровое стекло, дал очередь из автомата по первой встречной машине, оттуда стреляют тоже.

И тут их машина начала петлять — раненный в голову Алешка сполз на сиденье, выпустив из рук руль. Младший лейтенант, левой рукой пытаясь придержать руль, в правой сжимает автомат.

Что-то прошептав, Алешка бессильно падает на сиденье. Машина останавливается на обочине. Умолк и автомат младшего лейтенанта. Наверху, позади машины, кипит бой. Там немцев задержали.

Спускаясь вниз, тесня немецкие автомашины в кювет, танкисты заметили нашу разбитую машину. Шофера и командира положили на грузовик, младший лейтенант был еще жив, но, не доехав до деревни Штевельце, и он умер.

При дороге, некруто поднимающейся в гору, солдаты выкопали могилу и положили туда младшего лейтенанта Юничкина вместе с водителем, при котором не нашли документов, так и похоронили его как неизвестного солдата Красной Армии.

Головной отряд проходит сейчас по длинной липовой аллее, под сенью деревьев, которыми обсажена дорога. Деревья машут ветками, словно приветствуя танкистов.

Когда майор Донской прибыл на перекресток, ведущий из Мельника на Вельвары, а дальше на запад к Сланому, он подождал следующий за ним танк Попова и приказал экипажу вместе с пехотинцами охранять дорогу на Мельник.

— Ну что, Попов, это для тебя, глядишь, будет последнее боевое задание.

— Слушаюсь, товарищ майор, — рапортует Попов, стоя навытяжку. — Но отчего же мы не пойдем в Прагу, наш танк держался хорошо, а теперь вы нас оставляете сторожить дорогу!

— Как раз потому, что ваш танк в порядке, вы и останетесь здесь.

— Приказ есть приказ, — хмуро отвечает Попов.

— Встанешь с танком под прикрытие вот этих кустов, будешь замаскирован со всех сторон, а у самого будет хорошее обозрение.

— Товарищ майор, — говорит он виновато, — здесь вот, — он достал из кармана бумагу, — распоряжение отправить танки в ремонт.

— Кто тебе его дал?

— Еще в Берлине передали ремонтники.

— Ладно, посмотрим. — Майор убрал бумагу в карман, спустился в люк и, обгоняя остальные танки, возглавил колонну.

И вот они уже на мосту через Влтаву. Вода чистая, звезды в ней отражаются, а сверху на железный мост валят танки.

Из Праги слышны выстрелы, виден огонь пожаров.

— Вперед, быстрее! — приказывает Донской. — Дорога̀ каждая минута.

Он смотрит на карту. В наушниках раздается:

— «Воробей» вызывает «Астру»! «Воробей» вызывает «Астру»!

— «Астра» слушает, «Астра» слушает! Слышу тебя хорошо, говори.

— Жди моего сигнала, смотри на часы!

— Смотрю, — отвечает Донской и добавляет скорость. Он знает, что собирается сообщить ему Ющенко.

— Вот сейчас! — слышит он. — Ровно четыре ноль-ноль утра. Девятого мая танки генерала Лелюшенко вступили на землю Праги. А где находитесь вы?

— «Воробей», смотри на часы! Четыре часа пять минут. Девятого мая танки генерала Рыбалко вступили на землю Праги. Перед нами огонь и стрельба.

Ющенко сообщает своему командиру Валягину, что отряд майора Донского вступил в предместье Праги и ведет бой на ее территории.

— Спасибо, — отвечает по радио майор Валягин. — А как вы, товарищ старший лейтенант?

Ющенко открыл люк и, высунувшись, осмотрелся.

— Тишина, — ответил он.

Водитель включил мотор, и шум его слился с гулом, доносящимся откуда-то сверху. Ющенко поднял взгляд и увидел самолет.

— Над нами самолет, — сообщил он Валягину.

— Мы его тоже обнаружили, вероятно, это самолет командующего фронтом, — отвечает майор.

— Сам командующий, думаете, летит? Ведь в Праге еще стрельба.

— Может, и не он.

Самолет летел совсем низко над землей. Ющенко понял, кто может быть в самолете, — корреспондент «Правды», и спросил об этом Валягина.

— Вполне возможно, — ответил ему Валягин. — Хочет попасть в Прагу раньше нас.

— Опоздал! Наши танки первыми перешли границу города. Сейчас я дам ему знак, где мы. — Ющенко спустился в танк, зарядил красной ракетой ракетницу и выстрелил. Самолет сделал небольшой круг и дал ответную красную ракету — условленный знак. На самолете действительно летели пилот Костя и журналист, корреспондент «Правды» Полевой.

— Видали танкистов! Не хотят, чтобы мы оказались в Праге раньше их! — сказал подполковник Полевой, увидев танки.

— Ничего! Мне их штучки знакомы. Были бы мы где за линией фронта, заставили бы стрельбой сесть, — засмеялся Костя.

Возле Рузыни танки продвигаются со всей осторожностью, давая короткие очереди по подозрительным местам. И вдруг танк закружился на месте. Мотор замолк.

— Что еще?! — воскликнул Ющенко.

— Гусеницу перебило.

— Этого еще не хватало! И как раз тогда, когда мы входим в город!

Пули ударяются о броню со звоном и отскакивают. В танке как под железной крышей во время града. Ющенко выбирается из танка через нижний люк.

— Товарищ командир, пересядьте на другой танк!— советует ему водитель, но Ющенко, протискиваясь через люк, кричит:

— Еще чего! Мы должны быть первыми на главной, Вацлавской площади!

Вылезли и механик и радист, и вскоре гусеница была починена — разбитые траки заменены новыми. Танк двинулся, обогнав и те, что шли впереди, пробиваясь с боем.

На Рузыньском аэродроме майор Валягин разделил свою часть — одних направил в предместье Дейвице, других в обход Белой Горы на Беранку и на Смихов, чтобы отрезать немецким частям отход на запад.

Самолет Кости покачал крыльями над первой группой танков и полетел к центру города.

Горящие дома и склады освещали небо над Прагой. И если смотреть отсюда, с запада, в сторону востока, казалось, что занимается новая заря. А в Праге было хмуро и невесело.

В подвалах домов прятались женщины с детьми, вздрагивающими при каждом выстреле и взрыве. Отцы их сражались на баррикадах, нередко всего лишь с охотничьим ружьем противостояли немецким танкам и орудиям. Прага сражалась. Советские танки входили на улицы города и гнали прочь фашистов. Завязывались последние стычки, предшествовавшие окончательной славной победе.

— Наши! Наши братья, русские! — закричал один из защитников баррикады, глядя в трофейный бинокль на приближающиеся советские танки.

Третий советский танк шел уже с открытым люком, солдаты, стоявшие в нем, отвечали на приветствия счастливых защитников города.

Матери обнимали детей, и слезы радости стекали у них по щекам. Они приветственно махали солдатам, а за ними и еще не пришедшие в себя, испуганные, невыспавшиеся дети.

Над горизонтом поднялось солнце и осветило усталые, почерневшие лица бойцов. Все ярче освещает оно Прагу, ее пыльные улицы и баррикады.

Над Прагой кружит самолет.

— Ниже! — показывает рукой корреспондент пилоту Косте. — Ниже!

И они проносятся над самыми крышами домов. В одном конце улицы развевается на ветру сине-красно-белое полотнище, но на другом еще висит обрывок фашистского флага. На одной улице люди радостно машут самолету, а с другой по нему стреляют.

— Тут стреляют, там приветствуют, — шепчет Костя и начинает набирать высоту. — На одной улице два хозяина.

Костя следит за приборами и осматривает город. Внизу стрельба усиливается. Он отклоняется от стекла и видит: стрелка показывает, что бензин в баке на исходе.

— Нам пробили бак, — сообщает Костя Полевому.

— Тогда садись где-нибудь в парке или на площади.

— Немцам в пасть? Не хватало такого, да еще в конце войны, — возражает Костя.

— До аэродрома не дотянешь.

Костя взволнованно смотрит вниз в поисках подходящего места для приземления.

— А если здесь? — показывает ему корреспондент на большой стадион.

Костя улыбается:

— Верный совет.

И резко планирует на поле стадиона. Через несколько минут самолет уже стоял, уткнувшись пропеллером в северную трибуну стадиона на Страгове.

Советские танки по шести дорогам на всей скорости приближались к Праге, вот они и на ее улицах, проходят к центру, а затем расходятся, обстреливая каждый дом и укрепление, где сидят фашисты, не желавшие дешево расставаться со своим господством над Прагой.

Утро девятого мая...

Фашистские солдаты из казармы разбегаются по улицам, прижимаясь к стенам, подбираются к баррикадам. Защитники баррикады подпускают их поближе и расстреливают, расходуя последние патроны. Ружья умолкают, слышны лишь немецкие пулеметы, заглушающие сообщение радио. Диктор взволнованным голосом объявляет радостную для пражан весть:

— Приветствуем на улицах Праги Красную Армию. От всего сердца благодарим советских танкистов! Приветствуем Красную Армию — нашу освободительницу!

С баррикады раздался последний выстрел, он прозвучал с последними словами радиосообщения. Бойцы баррикады переглядываются, боясь поверить словам, от которых сильнее бьется сердце. Когда же диктор повторяет сообщение, они высоко поднимают свое оружие и торжествующе кричат:

— Слава! Ура, ура-а-а!

Солдаты в серо-зеленых шинелях, прятавшиеся между домами, заслышав этот радостный крик, с удивлением наблюдают за баррикадой, не понимая, что произошло. Выбегая из укрытий, они поражены, что в них не стреляют с баррикады.

Свистом дудки созывает эсэсовцев их командир, полагая, видимо, что к повстанцам пришло подкрепление. Прячась снова от обстрела, они покидают улицы, оставляя на мостовых и тротуарах своих мертвых, и стреляют как попало.

Бойцы, видя отступление эсэсовцев, перелезли зава-

лы баррикады и, подобрав брошенное врагами оружие, бросились за ними, стреляя в них их же патронами. Эсэсовцы бежали на площадь и попытались укрыться близ костела, но, завидев догоняющих преследователей, свернули к театру, здесь, однако, их встретил огонь баррикады. Это был их конец.

В одно из убежищ вбежал боец с забинтованной головой и закричал:

— Люди, слышите? Русские здесь. Наши братья — русские в Праге!

Женщины бросились к нему с радостными объятиями. Дети, испуганно жавшиеся в уголки убежища, побежали наперегонки к выходу, толкаясь, выскочили на улицу. Увидели лежавшего на груде брусчатки раненого бойца-повстанца, по лицу которого текла кровь. Был он молод, ему, наверно, не было и шестнадцати.

Повстанцы, вернувшиеся с площади, остановились посреди улицы, прислушиваясь к отдаленному гулу, доносившемуся с севера сюда, на Винограды.

После окончания боя в Новой Веси танкист Попов остался охранять важный перекресток.

Он нашел хорошее место в густых зарослях акаций недалеко от дороги.

Под утро к нему присоединились местные партизаны, вот уже четвертый день беспокоившие отступающих фашистов.

Колонны машин и танки продолжали громыхать на дороге. Вместе с солдатами на них можно увидеть и жителей близлежащих деревень, отправившихся на помощь Праге. К полудню в колонне наступил разрыв, по рации Попову сообщили, что это еще не конец колонны, возможно, остальных задержали боевые стычки с врагом, но в этот разрыв может проскользнуть враг. Теперь Попов понял свою важную роль на этом форпосте. Его бойцы и партизаны залегли в кустах.

От Мельника несутся танки, направляясь сюда. Почему повернули танки из колонны? Впрочем, если б они возвращались, командование известило бы его. Майское солнышко пробивается через ветви, за которыми спрятан его танк. Танки приближаются.

Ясно, что это немцы. Попов предупреждает своих людей и партизан, и они напряженно стискивают свое оружие. Почему Попов не стреляет? А он выжидает.

Огонь! Из танкового орудия вылетает дымок, и вражеский танк охватывает пламя. Второй танк попытался уйти, но и его Попов подбил с двух выстрелов. Фашистские солдаты рассыпались по полю, прячась за кустами, но их доставали там пули партизан и солдат.

Радист доложил Донскому:

— Два танка тремя выстрелами!

— Молодцы! Держитесь! Мы уже в центре Праги.

Попов позавидовал тем, кто ехал сейчас по улицам пражской столицы.

— Почему молчишь, Попов? — вызвал его майор Донской.

— На нас движется целая колонна фашистов!

— Держись, Попов! И сообщай новости.

Передав ларингофон радисту, Попов прильнул к перископу и увидел на дороге впереди грузовики. Попов выстрелил перед первой машиной на дорогу. Колонна остановилась, из машин стали выскакивать офицеры, и Попов, собиравшийся дать второй выстрел, увидел, что офицеры обступили машину и совещаются.

На первой машине появился белый флажок. Конец колонны растянулся близ дороги на Нову Вес и встал там под тополями. Ни одного выстрела не раздалось из колонны. Попов вылез из танка, вышел на дорогу и крикнул немцам, чтоб бросали оружие и сдавались.

Из кустов вышли партизаны и приданные Попову солдаты.

Фашисты во главе с генералом, поняв, что их остановила всего лишь горстка солдат и вооруженных гражданских, потребовали, чтобы им освободили проход на запад. Кто-то из партизан перевел это Попову.

Попов поморщился.

— Скажи этому генералу, что здесь не таможенная застава, а советские танкисты. Быстро переведи ему!

Оглянувшись на свою свиту, генерал через некоторое время заявил, что будет вести переговоры только с высшим по званию офицером.

— Сейчас я пошлю вам генерала! — насмешливо крикнул Попов и, сев в танк, направил орудие на первую машину.

— Вот вам генерал, если Попова мало, — проговорил он и выстрелил.

Машина вспыхнула, офицеры бросились на землю. Партизаны выжидали в кюветах.

— Сдаемся! — Генерал бросил пистолет.

За ним последовали остальные офицеры и солдаты, подняли руки вверх.

Попов вышел из танка, но радист продолжал сидеть у пушки наготове.

— Ну, поумнели? — проговорил Попов, обходя строй пленных, и подошел к генералу, багровому от злости. Вдруг из-за второй автомашины раздался выстрел из пистолета. Попов повернулся и, падая, еще успел нажать на спуск автомата и дать очередь по группе офицеров с генералом, попал в генерала и нескольких офицеров. Радист выстрелил по колонне раз и два, и еще, не отставали и солдаты с партизанами. Бой длился недолго. Фашисты сдались.

— Колонна разоружена! — доложил радист Донскому, который перед этим держал связь с правым соседом, Янко, и еще ночью послал его с другими танками из Горных Хабров через Цинице к Тройскому мосту в Праге.

С северо-востока подходили танки батальона майора Донского. Донской остановил свой танк, мотор умолк, люк на башне медленно открылся. Под прикрытием крышки люка Донской прислушивается к канонаде с правой стороны, от Голешовиц, где танк Янко пробивался через загроможденные улицы на Манины. В других местах раздаются лишь одиночные выстрелы из автоматов и короткие пулеметные очереди.

Донской спустился вниз, в танк, и сел к рации. Его место наверху занял наблюдатель. Донской стал вызывать Янко.

— Что нового в вашей части Праги? — спрашивает Донской.

Янко докладывает ему:

— В Берлине, товарищ майор, нам приходилось преодолевать худшие преграды.

И тут стрелок в его танке дал выстрел из пушки по баррикаде, которую заняли фашисты и теперь обстреливали советские танки.

Донской услышал выстрел, ему показалось, что попали в танк Янко, и он снова вызвал Янко.

— Нет, все в порядке, не попали в нас, это мы обстреливаем фашистов на баррикаде, они держат в кинотеатре гражданских как заложников.

После долгой перестрелки танк Янко двинулся вперед и на полной скорости врезался в баррикаду. Саперы и пехотинцы под прикрытием танка стали стрелять

вдогонку убегающим фашистам, избежавшим гусениц танка и теперь спешившим прочь, укрываясь за выступами домов. Но наши солдаты не дают им уйти от расправы и воспользоваться где воротами, где открытым подъездом.

Танк встал перед кинотеатром. — На Манинах. Янко уже было известно, где фашисты держат заложников, и он приказал своим солдатам выяснить, что происходит внутри.

Первым пошел бывалый боец, прошедший от Сталинграда через Киев, Львов, Краков и Берлин сюда, в Прагу, и теперь стучал в дверь кинотеатра, в конце длинного темного коридора, за которой слышался плач детей и крики женщин.

— Кто там? — раздался наконец испуганный голос из-за дверей, и шум за дверью немного утих.

— Русский солдат! — крикнул красноармеец.

Слово «солдат» сбило с толку сидящих взаперти, которые, как потом выяснилось, еще и забаррикадировались. Они молчали. Красноармеец вышел на улицу и позвал прохожего, чтобы с его помощью выяснить, отчего не открывают дверь.

Из близлежащих домов выходят первые смельчаки, к кинотеатру сбегаются люди и окружают солдата, стоящего перед входом и оглядывающегося на свой танк. Подбежал молодой мужчина с винтовкой в руке и явно со страхом спросил у солдата:

— Живы? — указывая на дверь. Лицо его бледно.

— Конечно!

Повстанец обнял и поцеловал солдата.

— Вы вовремя подоспели, дорогие братья, спасли наши семьи, наш город. У меня там жена и трое детей! — И он снова показал рукой на дверь кинотеатра.

Потом, схватив солдата за рукав, он потащил его назад к дверям. Оба они с разбега начали бухать в дверь, и повстанец закричал:

— Открывайте! Тут наши, свои! Русские братья освобождают Прагу! Фашисты удирают!

За дверью раздались несмелые голоса:

— Русские, русские здесь!

— Мамочка, Верка, вы там? Это я, ваш отец! — снова кричит он, но его уже не слышат те, кто с грохотом отодвигает длинные ряды кресел.

Наконец двери распахиваются, но люди не решаются выйти из темноты, ослепленные ярким солнцем. Они

лишь смотрят, прищурясь, все на мгновенье притихли.

— Здравствуйте, товарищи! — восклицает красноармеец, и его звучный голос нарушает тишину. И тут только люди рассмотрели перед собой советского солдата. Стоявшие впереди бросаются к нему, обнимают. Тогда уж и остальные повалили наружу, каждому охота было хотя бы потрогать его, погладить по запыленной шинели, если уж нельзя было дотянуться до руки и пожать ее.

Сколько на улице солдат, столько и островков из пражан вокруг них, они сливаются в сплошную толпу.

Передовые танки проходят через Главков мост, покидают район Голешовиц и приближаются к Денисовому вокзалу.

Майор Донской со своими танкистами оказался на Краловской улице, где на входе в город засели фашисты, заняв большую баррикаду близ карлинского депо, и стягиваются в казармы на Кршижиковой улице. Донской преследовал их. Затем он передал по радио приказ Янко:

— Ваше направление Прашна брана, Пршикопы, Вацлавская площадь.

Сам же он с другими танками через сады Врхлицкого выходит к Национальному музею на Вацлавской площади и останавливается перед разбитым домом. С нижнего конца площади сюда стягиваются танки, шедшие по двум направлениям — по Национальному проспекту и Пршикопам. И к десяти часам утра здесь встречаются танкисты, расставшиеся на чехословацко-германской границе, на хребте Рудных гор, в Молдаве.

Из высокого дома еще порой раздаются выстрелы, но танкисты на это внимания не обращают, вылезают из своих танков, обнимаются, будто вечность не виделись, а прошло-то всего тридцать девять часов.

— Итак, ребята, не двенадцатого, а девятого мая мы дошли до Праги! — говорит Донской и гордым взглядом окидывает своих танкистов.

Отряд Ющенко, следующий от Рузыни через Дейвице, после недолгой перестрелки перед политехническим институтом и возле Дейвицкого вокзала спускается вниз по Хоткову шоссе.

В парке фашисты. Ющенко разворачивает танк, и вскоре там все затихает.

Лейтенант Иван Григорьевич Гончаренко, командир роты, при каждом удобном моменте обгоняет танк Ющенко, вот и сейчас, пока Ющенко задержался из-за фашистов в парке, Гончаренко снова оказался впереди. Но Ющенко сам стремится первым оказаться в центре Праги. Он весело окликает своего друга; подружились они еще на Дону, во время ростовской операции, когда так же вот норовили опередить друг друга.

— Нас со всех сторон окружили «тигры», — вспомнил Ющенко, обращаясь к своему радисту, — но мы вывернулись. Гончаренко оказался удачливей меня, он подбил восемь, а я всего шесть танков.

На крутом спуске Хоткова шоссе, там, где оно резко сворачивает у парка, низко нависающие ветки заслоняли от Ющенко танк Гончаренко.

Зеленые заросли по сторонам крутого, можно сказать, почти горного петляющего шоссе. Хуже дороги для танка не придумаешь! Он хотел даже сказать Ване, чтоб тот, приостановив танк, послал кого на разведку.

Ваня и сам с автоматом в руках, стоя в люке, обозревает округу. Когда они приближались к холму св. Томаша, заросшему диким виноградом и акацией, из-за виллы, окруженной садом, выскочили немецкие солдаты.

Ющенко повернул дуло пушки на них, но прежде его выстрелили фашисты. После орудийного выстрела в саду наступила тишина, но Гончаренко тяжело соскользнул внутрь танка.

Пехотинцы, сидевшие на танке Ющенко, разбежались по холму, танки выжидающе остановились. Ющенко с помощью экипажа Гончаренко вынес Ваню и уложил на скамейку под плакучей ивой. Гончаренко ранили в голову. Утирая кровь с его лица, Ющенко приговаривал:

— Ванюш, а Ванюш, ты узнаешь меня?

Ваня с трудом приоткрыл глаза и чуть слышно прошептал наклонившемуся над ним товарищу:

— Напиши... маме... напиши: в Праге...

Под плакучей ивой в Праге, на Кларове, нашел свою смерть верный друг. Так написал старший лейтенант на стене дома, положил на грудь друга три ветки ивы и прикрыл его красным полотнищем.

Простившись, сел он в свой танк. Едва проехал несколько метров, заметил, как между танками проби-

рается легковая автомашина. Ющенко приказал задержать ее.

Каково же было удивление Ющенко, когда из нее вышел подполковник Полевой, а за ним и пилот Костя.

— В чем дело, ребята? Почему не пропускаете?

Ющенко, уже поняв, с кем имеет дело, соскочил с танка:

— Товарищ подполковник, здесь, на этом участке, командую я и имею право остановить любого подозрительного прохожего и проезжего.

— А, это ты, Ющенко! Разрешишь ехать с тобой?

— Ладно. Когда-нибудь, глядишь, и увековечите наш путь на Прагу.

И писатель Борис Полевой, всего несколько часов назад благополучно приземлившийся на Страговском стадионе, сел на Кларове в первый танк.

Ющенко принял приказ командира и, в свою очередь, приказал водителю двигаться через Манесов мост на набережную Сметаны.

Пехота следовала под прикрытием танков. Гладь Влтавы спокойна, трупы, плывущие по реке, словно стоят на месте.

На набережной Сметаны танк останавливается. Водитель выключает мотор, и все прислушиваются, в какой стороне идет стрельба. На Йозефове солдаты ведут перестрелку с эсэсовцами, пробиваясь от дома к дому в сторону Староместской площади.

Полевому надоело сидеть, скорчившись, в танке, он вылезает наружу. Костя оставляет легковую машину в одной из боковых улиц и с пистолетом в руке сопровождает подполковника. Медленно, осматриваясь, движутся они к Староместской площади. Близ горящей старинной пражской ратуши остановил свой танк и Ющенко, направив орудие на башню костела, где засели немцы.

Стены ратуши и знаменитые куранты, уже несколько столетий украшающие этот уголок старинной Праги, закопчены и обгорели. Умолкли колокольчики, стрелки часов искривились от жара пламени. Над пожарищем ратуши поднимаются густые клубы дыма: сгорела вся ее северная сторона. С этой стороны и стоит танк Ющенко.

Из галереи под сводами на улицу вышел сгорбленный старик и направился к танкистам. Рука у него тряс-

лась, когда он протягивал ее танкистам для приветствия, в глазах стояли слезы.

— Чего плачете, дедушка?

— Сожгли ратушу! — с горечью проговорил он.

Пехотинцы, саперы, стрелки-танкисты разбежались по ближним улицам и домам, откуда раздавались выстрелы фашистов.

Танк повернул ствол в сторону пулемета, поливавшего очередями улицу. Ющенко стоял под крытой галереей старого дома. Когда ствол замер, Ющенко выскочил из-под галереи и забарабанил кулаками по броне. Открылся люк, и оттуда выглянула удивленная физиономия. Пули из пулемета защелкали рядом с танком. Водитель и Ющенко спрятались за танк.

— Зачем повернул орудие?

— Хочу попугать пулеметчика, чтобы малость угомонился, пока до него не добрались наши автоматчики.

— Разве что, — усмехнулся Ющенко, собираясь отойти назад.

— Товарищ старший лейтенант! — проговорил танкист. — Что же я, не знаю, что ли, приказа — по возможности сохранить город в целости?..

— Тогда у меня ничего... — И Ющенко хлопнул его по плечу.

Танкист повернул орудие в сторону пулемета. Тот на минуту умолк, но тут из-за памятника Яну Гусу выбежали эсэсовцы, спешат на другую сторону площади. Пулемет снова строчит, два наших автоматчика падают.

Подполковник, присев на выступ стены, разворачивает на колене план Праги и что-то ищет. Ющенко наклоняется через его плечо и показывает пальцем:

— Мы находимся вот здесь.

— Ясно, а кто будет первым на Вацлавской площади?

Ющенко усмехается и гордо выпячивает грудь:

— Товарищ полковник, наши танки, следующие по набережной Влтавы мимо Национального театра через Национальный проспект, встретились с рыбалковцами прямо тут.

Полевой смотрит на карту, на то место, которое указывает Ющенко: широкая белая полоса, через нее на карте прочерчены две красные полоски как обозначение трамвайной линии. Он читает надпись мелкими буквами: «На Мустку». Ющенко указывает еще направление на Вацлавскую площадь, и тут к нему подбегает ра-

дист. Стрельба из окрестных домов и с колокольни Тынского храма усиливается.

— Товарищ старший лейтенант, вас вызывает командир полка, — сообщает он.

Ющенко поспешил к танку.

Майор Валягин, которому предстоит отрезать все пути отступления немцам на запад из Праги, посылал батальон старшего лейтенанта Новожилова на Белогорское шоссе, у Малованки тот должен был встретиться с танковой ротой лейтенанта Егорова, следовавшего сюда из Дейвиц. Сам же майор Валягин перерезал последний путь немцам на запад — Пльзенскую трассу.

Холмистый рельеф Праги и зеленые заросли на окраинах создавали для немцев благоприятные условия для выхода из города небольшими группами через сады и пригорки, а затем и для бегства на запад.

Валягин стоял со своим танком на пологом склоне Пльзенского шоссе под холмом Цибулька. Автоматчики и саперы вместе с танковыми экипажами преследовали удирающих по холмам эсэсовцев. Застигнутые врасплох и почувствовавшие, что их окружают, те бросали все и, беспорядочно отстреливаясь, стреляя в жителей, выглядывавших из окон окрестных домов, улепетывали что было сил. Организованное сопротивление оказывали лишь части, укрепившиеся в казармах. Валягин удачно перекрыл последний путь отступления на запад и сейчас слушал доклад Ющенко о происходящем на Староместской площади, разложив карту.

К танку подбежал солдат связи.

— Товарищ майор! — крикнул он. — Эти собаки драпают через вон тот лесок. Сбились в кучу и решили, видно, пробиться во что бы то ни стало. — Левая рука у солдата перевязана, в правой — автомат.

Высунувшись из башни, Валягин осмотрел лесок, покрывавший холм.

— Из танков мы их не достанем, — проговорил майор.

— Нет, товарищ майор.

— Ющенко, прерываю связь. Немцы бьются, не хотят сдаваться, нам надо помочь автоматчикам.

Сняв ларингофон, Валягин выскочил из танка, и вскоре общими силами экипажей, занявших оборону вдоль подножия холма, они приготовились принять бой.

Эсэсовцы шаг за шагом продвигались к лесу.

— Товарищ майор, — шепчет раненый танкист, прячась за деревом, — покажем себя и по-пехотному?

Не успев ответить, майор насторожился:

— Внимание! Вон немцы! Подходят!

Фашисты выходили из-за деревьев на дорогу всего в нескольких метрах от танкистов.

И вот, разом выбежав из лесочка, эсэсовцы ринулись по склону, стреляя на ходу. Им никто не отвечал, возможно, они даже решили, что смогли проскочить, но тут грянули автоматные очереди. От неожиданности некоторые с разбега налетали прямо на выстрелы, другие катились уже вниз. Уцелевшие на четвереньках поползли назад в гору.

Однако они нарвались на танкистов, подоспевших сюда от Малованки, и на Цибульке внезапной атакой остатки фашистов были перебиты или взяты в плен.

Не останавливаясь, танкисты преследовали одиночных беглецов. Валягин, перебегая от дерева к дереву, чтобы занять более удобную позицию, вдруг почувствовал сильную усталость и отстал от своих. «Нет, это не усталость», — подумал он, опираясь о дерево, и невольно опустился на колени. К нему подскочил его механик и схватил за плечо.

— Товарищ майор, вы ранены?

— Не знаю, — прошептал майор.

Руки его бессильно поникли, автомат выпал, и он упал на руки механику.

— Товарищ майор! — испуганно затряс его тот, губы дрогнули, механик оглянулся, пытаясь перекричать стрельбу: — Ребята! Ребята! Майор ранен!

Кто-то подбежал, подняли Валягина и понесли к танку. Через гимнастерку просачивалась кровь, заливая и Золотую Звезду на груди.

Валягинцы затем вернулись к центру города, ожесточенно стреляя по остаткам эсэсовцев. В командирском танке лежал мертвый майор Валягин.

Радист вызвал Ющенко, чтобы сообщить ему о гибели командира, но Ющенко не отвечал.

Когда он после связи с Валягиным снова вышел из танка, то укрылся под галереей рядом с подполковником, который тщетно искал Костю, исчезнувшего во время стрельбы немецкого снайпера с башни Тынского храма.

По длинной галерее, куда солнце заглядывало не-

надолго лишь перед закатом, солдат вел трех пленных немцев. Ющенко показал на них Полевому:

— Вон ваш пилот.

— Какой пилот, это ж немцы! — воскликнул Полевой.

— Ну да, а за ними идет Костя. Видите его?

Полевой, закрыв глаза от солнца ладонью, посмотрел на подходившую группу.

— В самом деле Костя!

Прятавшиеся в домах вокруг площади немцы принялись обстреливать и пленных. Костя толкнул их в подворотню, где уже сидело с полсотни пленных эсэсовцев.

— Костя, никуда не отходи один! — прикрикнул на него подполковник. — Вместе будем ходить.

— Слушаюся, — весело отвечал Костя.

— Где ты их взял?

— На чердаке. Я пробрался туда незаметно, они заняты были упаковкой какого-то хлама. Тот, что не захотел спускаться вниз, так и остался наверху.

— Вы что, оставили его на чердаке? — с упреком проговорил Ющенко.

— Не бойтесь, товарищ старший лейтенант, этот уже никогда больше стрелять не будет.

Из танка снова выскочил радист и взволнованно проговорил на бегу:

— Товарищ старший лейтенант...

— В чем дело, новый приказ, что ли, какой? — И Ющенко встряхнул радиста за плечо.

— Нет, командир полка погиб... — пробормотал солдат.

Ющенко остолбенело смотрел на радиста, не в состоянии произнести ни слова.

Все стояли потрясенные. Вдруг до них донесся пронзительный женский крик:

— Помогите! Помогите!

Ющенко стремительно выбежал на мостовую, за ним Костя. Остановившись возле танка, прислушались: откуда же кричат? Костя указал на многоэтажный дом, бросились к тяжелым входным дверям, толкнув, открыли дубовую створку и оказались в темном коридоре. Наверху раздался выстрел и затем женский плач.

Следом за ними в подъезде показался и радист.

— Вернись, — приказал ему Ющенко, — и передай, чтоб без меня не хоронили, я хочу с ним проститься.

Радист поспешил назад к танку.

Ющенко с Костей потихоньку поднимались по старой узкой лестнице, прислушиваясь у дверей, но везде было тихо. В правой руке у Ющенко был пистолет, левой он прижимал медали, чтоб не звенели. Наконец они дошли до четвертого этажа. За дверью послышался какой-то шум. Ющенко налег на запертую дверь.

— Помогите! Помогите! — раздалось оттуда.

Хлопнул выстрел, и в квартире опять все стихло. Ющенко с Костей разом двинули плечами в дверь и очутились в квартире. Никто не отзывался, лишь дверцы шкафа легонько скрипнули.

— Сдавайтесь! — крикнул Ющенко по-немецки.

Из шкафа вылез эсэсовец с поднятыми руками. Ющенко, не спуская с него глаз, показал, чтоб тот шел к двери. Немец стал обходить лежавшую на полу убитую женщину, и тут качнулась штора между шкафом и окном. Костя, не раздумывая, выстрелил, в это же время прозвучал и второй выстрел, за шторой кто-то тяжело сполз вниз по стене. У Ющенко же из руки выпал пистолет.

Косте показалось, что он опускается на колени возле убитой женщины и, видимо, ее мужа, но Ющенко, опершись было на стол, вдруг рухнул на пол, и тихо звякнули медали.

— Твоя работа? — Костя указал немцу на женщину.

— Нет, нет, это он, — дрожащим голосом произнес эсэсовец, кивнув головой на штору.

Костя приказал ему откинуть штору. В углу лежал офицер, наполовину одетый в гражданское. На перевернутом столе валялась мужская одежда. На живом эсэсовце штаны тоже были уже штатские. Ясно, что эсэсовцы, обстреливавшие с крыши дома площадь, решили бежать, переодевшись в гражданское, взятое здесь, у убитого чеха.

Эсэсовец, улучив момент, когда Костя посмотрел на Ющенко, хотел было выхватить пистолет у убитого немца, но Костя выстрелил, опередив его, тот повалился на офицера, держа пистолет перед собой, однако выстрелить уже не смог. Костя еще раз нажал на спуск, и немец выпустил оружие, теперь уже навсегда.

Подняв старшего лейтенанта, Костя потащил его по лестнице вниз, под галерею на Староместской площади, откуда стрелял Полевой по укрывшимся на крыше немцам.

Было девятое мая, когда за освобождение Праги

геройски пали три верных друга: майор Валягин, Герой Советского Союза, старший лейтенант Ющенко и лейтенант Юничкин. Проститься с ними пришли их славные сотоварищи, боевые друзья, которые покрыли их красным знаменем. Благодарные пражане с болью в сердце тоже пришли проститься с ними и возложили букеты распустившейся сирени.

Солнце стояло еще высоко над Градчанами, и лучи его касались глади кровавой Влтавы, когда майор Донской получил приказ прибыть на площадь Мира.

На площади пусто, лишь изредка промелькнет какой-нибудь смельчак, пробежит несколько шагов — и прильнет к земле. В яме на площади — трупы расстрелянных разъяренными фашистами. Танки выстраиваются боевым порядком перед Виноградским театром. Костел св. Людмилы, с колокольни которого немцы держат под прицелом танки, окружен. Но с танками тут не развернешься, и Донской принимает решение непосредственно в здании атаковать танковыми экипажами, которые поведет он сам.

Янко тоже здесь. Ведет наблюдение за колокольней и крышей, откуда тоже время от времени раздаются выстрелы. Стоит кому-то показаться на площади, тут же откликается пулемет. Янко смотрит на костел, а мысли его далеко отсюда, там, в далеких партизанских лесах, в доме, где жила Люба. И вот уже нет ее...

От воспоминаний его отвлекли выстрелы — пули зазвенели по броне прямо над его головой, он машинально отпрянул и схватился за орудие. Как просто было бы заставить замолкнуть пулемет, не потеряв ни человека, подумал Янко. Но в Праге запрещено применять артиллерию, так звучит приказ. С какой радостью он выскочил бы из танка и побежал к костелу. А что? Недолго думая, он открывает люк и выскакивает на мостовую.

Под прикрытием танков он бежит, пригнувшись, вдоль домов.

Вдруг из соседнего дома на тротуар выбежал ребенок и с любопытством стал осматриваться. Следом из подъезда выскочила женщина и в отчаянии позвала мальчика. Раздалась пулеметная очередь, женщина пошатнулась и упала. Ребенок с плачем кинулся к ней. Пулемет продолжал строчить. Мальчик с рыданиями

нагибался к маме, и плач его и крики слышны были, наверное, на другом конце площади.

Янко в это мгновение добежал до них, схватил в охапку ребенка, прикрывая его собой, правой поднял женщину и потащил. Костел был у них за спиной. Ему было тяжело тащить женщину, а ребенок к тому же вырывался с плачем.

Водитель Янкова танка, видя, что пули так и звенят возле командира, отскакивая от брусчатки, принялся маневрировать танком, чтобы прикрыть их. Пулеметчик понял замысел водителя и усилил стрельбу. До танка оставался буквально один шаг, когда Янко склонился совсем низко и вдруг повалился, выпустив женщину, но судорожно продолжал прижимать к себе ребенка.

Около семи часов вечера танкисты и автоматчики заставили замолчать последнего стрелка на крыше костела.

Янко умер еще до захода солнца.

Тяжело раненный майор Донской узнал позже, что Янко спас какого-то мальчика, но мать спасти не смог.

В Праге были очищены все улицы и шоссе.

С северо-востока в город вступали новые колонны танков.

Впервые за последние семь лет пражские дети спали спокойно. Их сон охраняли красноармейцы, которые принесли им прекраснейшую в их жизни весну. И самый прекрасный подарок — Свободу, крещенную геройской кровью еще под Сталинградом, а потом под Берлином и сейчас вот на пути к Праге под Дрезденом, Альтенбергом, в Рудных горах, под Циновцем и в самой Праге. Мальчик с площади Мира наверняка никогда не забудет об этом.

Семен Степанович на другой же день попросил разрешения посетить раненого майора Донского. О бое на площади Мира он узнал сегодня утром и поспешил вместе с детьми в госпиталь.

Степка то и дело приветствовал встречных солдат и глазел на высокие дома, иногда останавливаясь и с удивлением рассматривая пирамиды брусчатки в виде памятников, на которых лежали цветы, положенные благодарными пражанами.

— Дядя, что это? — спросила Любка, наклоняясь к сирени, лежащей на одной из таких пирамид возле

железного парапета позади Национального музея, где еще свежи были следы крови на тротуаре.

Семен присел на корточки перед надписью, прикрытой ветками сирени.

— Дядя, что там написано? — приставала к нему любопытная Любка.

Семен пристально изучал табличку, с трудом разбирая буквы. Не может же он сказать, что не умеет читать по-чешски. Что бы подумали о нем дети? И наконец, с грехом пополам прочитав, говорит: «Тут погиб неизвестный русский солдат вместе с чешским защитником Праги».

Пока Семен разбирал надпись, Любка подровняла цветы и смахнула рукой пыль с камня.

Прохожие, встречая Семена с детьми в военной форме, останавливались и провожали их удивленными взглядами. Дети гордо вышагивали, вызывая добродушные улыбки окружающих. Завидев их издали, пожилая женщина выждала, пока они поравнялись с ней.

— Какие у вас славные дети, милый наш брат! Как же тебя зовут? — обратилась она к Любке и погладила ее по щеке.

— Меня зовут Люба, — ответила девочка, прижимаясь к Семену.

— Ах, — воскликнула удивленная женщина, — ты умеешь говорить по-чешски?

— А я чешка, — с достоинством произнесла Любка.

Женщина посмотрела на Семена, тот улыбнулся:

— Да, да, это чешские ребята!

И, взяв детей за руки, поспешил дальше.

Женщина с изумлением долго смотрела им вслед, покачивая головой и приговаривая:

— Чешские дети, говорит...

На перекрестках людно. Население разбирает баррикады и укладывает камни на место, на мостовые и тротуары. Лица их покрыты потом и пылью, но веселы. Когда мимо одной из таких работающих групп проходил Семен с детьми, люди перестали укладывать камни и уставились на Семена. Дети, чьи матери работали тут же, подбежали к Степке и Любке, стали рассматривать их форменную одежду.

— И я хочу пойти с вами! И мне дайте военную форму! — требовательно заявил один из наиболее решительных малышей.

Семен, остановившись, оперся на низкую каменную

ограду палисадника с выломанными железными решетками. Любка и Степка были уже без пилоток, их примеряли ребята и с восторгом демонстрировали своим матерям.

— Дядя, а почему тут все умеют говорить по-чешски? — шепнул Степка Семену.

— Потому что это все чехи, твои чехи, — ответил ему Семен.

— А они не ваши?

— Наши тоже, но мы русские, а вы чехи, — объяснил Семен. — Понимаешь, это так дело обстоит: вы из Чехословакии, у вас тут наверняка где-то есть отец с мамкой, может, и сестры с братьями. А я из России, у меня там тоже... родители... Ладно, пошли дальше.

Расставшись с ватагой ребят, они поднимаются вверх к госпиталю на Виноградах.

Старые, с немецкими надписями вывески, наполовину сорванные, нависают над тротуарами, грозя свалиться прохожим на голову. Разбитые витрины, груды битого стекла на каждом шагу, и Семен даже прикрикнул на Любку, чтоб не хватала все, что попадается на пути, и так уже порезала себе палец. На углу одной из пустынных улочек Семен в нерешительности остановился, не зная, куда двинуться дальше.

— Я вон у кого спрошу. — Степка с готовностью показал на женщину, стоявшую поодаль с четырьмя детьми. Они смотрят на стену, изрешеченную пулеметными очередями. Дырок столько, что и не сосчитать. Самый старший из четверых, мальчик, поднявшись на кучу камней, что-то сосредоточенно пишет на стене черной краской.

Семен издали читает написанное:

Здесь пал за свободу народа наш дорогой папа дня 9 мая 1945 года

Мать со слезами смотрит на стену и плачет.

Да, у этой женщины Семен не решается спросить, как пройти к госпиталю. Грустно опустив голову, идет он с примолкшими детьми дальше.

Наконец на склоне дня они добрались до госпиталя, изрядно поплутав. Перед входом Семен остановился. Перевязал получше Любке порезанный палец, вытер ребятам лица, одернул гимнастерки, обмахнул обувь.

Еще на улице на них пахнуло тяжелым больничным

запахом. Любка сморщила носик, а Степка внимательно оглядывал все вокруг. То и дело к госпиталю подъезжали санитарные машины, из которых выносили на носилках и выводили раненых советских солдат.

— Где их ранило? — спросил Семен у одного из санитаров.

— Где-то за городом, там в лесу еще прячутся фашисты.

Степка внимательно присматривается к одному из молодых бойцов, лицо того бледно, одежда и носилки в крови. Семен вздохнул, и Степка поднял взгляд на озабоченного дядю Семена. А тому показалось, что раненый похож на Алешку. Оставив детей, он торопливо подошел к носилкам и приподнял одеяло. Солдат на носилках лежал неподвижно, гимнастерка была сложена рядом, грудь солдата залита кровью. Семен утер сразу вспотевший лоб.

— Наш? — спросил Степка.

— Нет! Мне показалось, что он похож на Алешку.

— Это правда не он?

— Слава богу, нет.

Остановившись в коридоре, Семен не знал, к кому обратиться, чтобы спросить о Донском, все вокруг так заняты — врачи, санитары, медсестры, — все в окровавленных белых халатах.

По ступенькам спускался солдат с забинтованной головой. Может, он знает, где Донской?..

— Скажи, пожалуйста, ты знаешь случа́ем, где тут лежит майор Донской?

Солдат задумчиво посмотрел в конец коридора.

— Какой он из себя? Черный? Кудрявый?

— Да, да, — радостно закивал Семен.

Солдат провел их в конец коридора и поднялся с ними по лестнице наверх. Здесь он указал на одну из дверей. Семен тихонько отворил ее. Духота и жара ударили в лицо. Шторы затемнения были опущены почти донизу, в палате стоял полумрак, и Семен не сразу смог разглядеть, где лежит Донской. Степка увидел его первый и потащил Семена за руку к постели.

— А, Семен Степанович, это вы? — слабым голосом проговорил майор, его с трудом можно было понять. — И ребята пришли?

— Все мы здесь, — сказал Семен и подвел детей поближе к нему.

— А как там Алешка?

— Не знаю, что с ним, товарищ майор.

Смущенный Семен присел на койку рядом, где лежал, видно, уже выздоравливающий или легко раненный боец, и скорбно уставился на побелевшее лицо майора, запавшие глаза. Дрожащей рукой погладил Донской ребят и с большим трудом смог произнести несколько слов. Семен прижал палец к губам, давая знак детям не шуметь, а сам задумался: чем бы порадовать майора?

— Семен Степанович, — прошептал Донской.

Семен нагнулся к нему, чтоб лучше слышать.

— У меня... тут... планшетка где-то... По... дайте...

Семен пошарил по постели, поглядел на окне, наконец нашел ее у майора под подушкой.

— Что вам из нее достать, товарищ майор?

— Письмо там... жене...

Семен порылся в бумагах и нашел треугольничек.

— Отправь его, Семен... я еще в Берлине... написал...

В приоткрытое окно стало слышно, что мимо проходят колонны, но шаг их был сбивчив. Донской прислушался. Раненый с соседней койки поднялся и подошел к окну, потом, обернувшись, сообщил Донскому:

— Видели бы вы, товарищ майор, сколько пленных немцев гонят наши!

— Много? — шепотом спросил Донской.

— Сосчитать трудно.

— Много, очень много, товарищ майор, — вмешался и Семен. — Было двадцать пять тысяч солдат, которых взяли в самой Праге наши, а еще тысяч пятнадцать переодетых вооруженных фашистов.

— Много, — с трудом проговорил Донской. Лицо его исказила гримаса боли. Потом, справившись, он протянул руку к детям. Любка взяла ее, а он попытался притянуть девочку к себе. Любка робко придвинулась к постели и вдруг, прижавшись к его лицу, горько расплакалась. Степка стоял рядом с сестренкой и мужественно глотал слезы. Губы у него кривились, он стискивал зубы и крепко сжимал руки за спиной.

— Вот вы... и дома... наши чешские дети... Будьте всегда честными.... настоящими чехами и хорошими людьми, — прошептал майор и поцеловал Любку.



3
Рассказы словацких писателей



С рождения его звали Ян Брезик.

А с тех пор, как словаков частью забрал Хорти, — Янош.

В сороковом призвали. Служил в Секешфехерваре, в третьем пехотном.

Вообще-то ему повезло. «Уже через полгода, — говорит, — с армией распрощался». Он словак, а словаки регенту тогда еще были не нужны. Даже в наряде ни разу не был. Правда, однажды какой-то поручик приказал ему двадцать пять раз лечь на землю прямо с бритвой в руке. Перед этим он брил в казарме товарища и неправильно представился поручику.

В марте сорок второго призвали вновь. Он думал: лишь затем, чтобы мог повторить команды на трудном для него венгерском языке, которые учил два года назад. Ну и, конечно, повторить, как надо представляться. Ведь из-за этого его наказал поручик, с отличием окончивший училище. А он, сколько ни старался, не в состоянии был выговорить все это как положено по-венгерски.

Но то были лишь его догадки. Оказалось, не потребовали, чтобы он что-то освежил в памяти



Почетное место

или повторил, а сказали, чтобы уже через месяц, в середине апреля 1942 года, в составе 3-го пехотного Секешфехерварского полка 10-й Надьканижской дивизии 3-го Сомбатхейского армейского корпуса 2-й венгерской армии победоносного генерал-полковника Яна Густава он отправился на восток, воевать против большевизма.

Ну и полк, тот 3-й Секешфехерварский. Румыны, сербы, словаки, русины. И венгры. Их было намного меньше, зато как на подбор. Младшие офицеры, старшины, офицеры, включая полковника, откуда-то из Левиц. Все патриоты.

До того как их посадили в вагоны, они выслушали пламенную речь, из которой можно было понять, что родина ждет от них храбрости и героизма при истреблении красной опасности. Оркестр сыграл «Бог, спаси мадьяра», и полк повели из казармы на войну против Сталина. На Дон прибыли в составе немецкой группы армии «Б» в середине лета и заняли позиции на крутом склоне.

Через две недели выскочили из окопов и пошли в атаку, но отхлынули под огнем.

Спустя месяц — подобная кровавая баня. А в следующем месяце — снова, только убитых и раненых оказалось вдвое больше.

В половине сентября начали окапываться. В октябре готовиться к длительной обороне. В ноябре земля совершенно промерзла, все занесло снегом. Одетые и обутые в летнее, они зимой, конечно, дрожали и голодали. В землянках было полно мышей, прибежавших сюда с засыпанных снегом полей. К смерти теперь привыкали быстрее, чем к голоду. Выйти в легком мундире и короткой шинельке в страшную вьюгу и жуткий мороз почти наверняка значило встречу со смертью. Идти в атаку — значит погибнуть от советской пули. Сбежать с фронта — попасть под огонь немецкой полевой жандармерии, пулеметчиков, артиллеристов, державших венгров с тыла. Не уйдешь из западни.

К концу года Красная Армия разнесла Паулюса у Сталинграда. На Дону сдались армии сателлитов: в начале декабря 8-я итальянская, после нее две румынские дивизии.

Очередь была за венграми. Немцы сняли с их позиций артиллерию. Перевели в тыл полевую жандармерию. Боялись мести. Советы призывали венгров переходить на их сторону. Ответом стала новая попытка атаковать. Это массовое убийство унесло тысячи жизней измученных, промерзших венгров. После этого русские перестали обращаться к ним с призывами.

Второго января — шестнадцать градусов мороза. Пятого — девятнадцать. Венгерские генералы один за другим докладывали о болезни и отправлялись домой. Вслед за ними сказывались больными полковники и майоры. А потом и многие из младших офицеров. Солдаты же в землянках, в драных шинелях, в низких ботинках стучали зубами, брошенные на произвол судьбы, без еды, запасов и лекарств. Хлеб, попадавший к ним иногда из тыла, был твердый как гранит, обледенелый, заплесневевший, с мышиным пометом, пучил и мучил животы. Лица и руки солдат, обмороженные, покрылись язвами. У многих поднялась температура. Их косил сыпной тиф, внутренности выворачивала дизентерия. Кто в этой битве, полной стонов, попреков, ругани, не выдержал и умер в грязи и вони, сожранный вшами, того выносили из землянки и просто оставляли на снегу, который можно было взрыхлить лишь динамитом. Вот так в донской излучине смерти продолжали вмерзать в лед

тысячи мертвых с открытыми глазами. Инстинкт самосохранения в этом все крепчавшем морозе, сковывавшем волю и мысли, в этом невыносимом смраде и все сметающем вихре сблизил людей атавистической мечтой о тепле и еде, о крыше над головой, без вшей, мышей, вони, поносов, горячечного жара, о куске чего угодно, что заглушит голод, о глотке, который согреет. Это была мечта о жизни. Доме. Жене. Детях. Мире. Родине? Ах, где же она? И собственно, в какой стране?

Двенадцатого января после полудня перестал ветер, ртуть в термометре опустилась до тридцати шести градусов мороза. Руки прилипали к металлу оружия, затворы пушек не открывались, винтовку невозможно было поставить на предохранитель, моторы не заводились, сели аккумуляторы.

Под вечер в передовых советских частях расшифровали следующий предупредительный приказ:

«В 23.55 все солдаты и младший офицерский состав (включая тех, что находятся в дозоре) должны вернуться в распоряжение части. В 23.59 необходимо как можно лучше закрыть все входы. Впредь до следующего приказа части должны находиться только в блиндажах. На 24 часа необходимо запастись водой».

Ровно в полночь тишину разорвал взрыв страшной силы. Потом второй. Третий. Четвертый. Земля заколебалась, небо пылало, взрывы продолжались.

Венгерские землянки разлетались по горячему снегу, воздушные волны разрывали легкие, останавливали дыхание, все живое кричало и вопило от страха, что стояло — падало, что висело — летело вниз, воздух наполнился запахом горящего бензина, жареного мяса, дыма от ядовитого желто-зеленого пламени. Все земное словно растворилось, все стихии взбесились будто по команде, а те, что еще оставались живыми в этом аду, как ошалелые пустились бежать по снегу, покрытому сажей и пеплом, словно помпейцы от Везувия, множа число жертв этой ночи из ночей, как ее позже назвали.

Пережившие все это уже никуда не бежали. Бессмысленно бродили, проваливаясь по пояс в снег, как пьяные, шатались на поле, усеянном трупами, и, хотя стрельба стихла, оглушенные, они тупо смотрели на языки пламени.

Когда танки с красными звездами подошли к ним и бойцы, сидевшие на броне, стали кричать: «Давай сюда!» — их обезумевшие лица, отсутствующие глаза, ше-

велящиеся, но не издающие звуков губы, свидетельствовали: просто не понимают, что с ними случилось Слух к ним еще не вернулся. Из ушей и носов текла кровь.

От четвертьмиллионной 2-й венгерской армии осталось всего ничего.

3-й Секешфехерварский полк оказался не на главном направлении атаки. Но фронт распался, кто был в состоянии — убегал. От роты осталась треть, солдаты со слезящимися глазами, обмороженными, бесчувственными лицами и пальцами, в обледеневших башмаках тащились в снежной метели, падали в сугробы. Кто останавливался — замерзал.

На третий день сел первый. Обмороженное ухо торчало, как лопух, а в пустых глазах — замерзшие слезы. Его засыпали снегом. Днем позже не поднялись четверо. Их уже не стали забрасывать снегом. Их укрыла черная режущая тьма, тянувшаяся за ротой. Там, где лежали тела, тут же появилась стая воронов. Потом обессилевшие парни останавливались и садились каждый день. И черные птицы слетались на кровавое пиршество на глазах отступающих солдат. У солдат были синеватые отсутствующие лица. Они уже ни о чем не думали.

Ни о Венгрии, из-за которой возвращались на запад. Ни о женах, детях, матерях, отцах и сестрах, которые там жили. Ни о страхе перед немецкими жандармами. Думали только об одном: как избежать этого ада, этого леденящего холода и где-нибудь прикорнуть. Только об этом думали.

А потом прилетели самолеты и сбросили листовки.

Прочитайте
и передайте своим друзьям!
Венгерские солдаты на Дону!

Под Воронежем за последние четыре месяца погибли ваши лучшие дивизии. Что осталось от 3, 7, 10, 12 и 14-й венгерских дивизий? Вы хорошо знаете, что Красная Армия их, а также Будапештскую танковую бригаду почти полностью разгромила. За это время погибло, ранено или взято в плен свыше ста тридцати тысяч солдат.

Солдаты! На что вы надеетесь? На то, что вам помогут немцы? На это надеетесь напрасно! Немцы истекают кровью на всех фронтах! На одном из них, под Сталинградом, за 70 дней их погибло 300 тысяч!

Знаем, что вы не хотите за них ни воевать, ни умирать. Чтобы вы боялись плена и продолжали воевать — вас обманывают, говорят, будто русские убивают пленных. Не верьте этой подлой лжи. Переходите к нам, на сторону русских, по одному или группами, взводами, ротами! Ни один волос не упадет с вашей головы. Это единственный для вас путь к спасению! Фронт означает смерть. Сдача в плен — жизнь. На одном участке фронта на Дону немцы попытались удержать венгров от сдачи в плен. Венгры рассчитались с немцами, перешли к нам и сдались в плен.

Эта листовка действительна как пропуск
и для одиночки и для группы желающих
перейти линию фронта и сдаться Красной Армии!

Прочитайте и передайте своим друзьям!

Почти не продвигались. До смерти уставшие, из последних сил отвоевывали каждый шаг, с упорством всовывали ногу в снег, потом вытаскивали ее из сугроба, с отупением падали в белые гробы.

В тучах гудели самолеты.

Потом лежали еще в каком-то дырявом, наполовину сожженном сарае, на вонючей соломе, пропитанной всеми фронтовыми запахами. А утром те, что поднялись на ноги, с удивлением ощупывали себя — действительно ли живы.

Потом увидели деревянные избы, а между ними машины и красноармейцев.

— Обойти деревню! Если русские пойдут в атаку, обороняйтесь! — хрипел совершенно пьяный полковник.

— Шиш-то, — отбросил винтовку Янош Брезик. Лицо позеленело от страха, чувствовал, как у него перехватило дыхание.

— Обойти деревню! — размахивал руками полковник.

Но остальные тоже побросали винтовки.

— Перестреляю как собак! — рычал командир.

Но навстречу уже шли красноармейцы.

Деревня Яблоничная. Как раз там и перешли остатки 3-го венгерского Секешфехерварского полка к Красной Армии. Там же солдаты застрелили своего пьяного полковника.

Это было первого февраля 1943 года.

2-й венгерской армии тогда уже не существовало.

Прежде всего их накормили. В те минуты в них жили только губы, зубы, желудки. Глотали не пережевывая. Напихивали кусками хлеба утробу, измученные голодом, не могли насытиться.

Потом их отправили в лагерь для пленных в Лебедяни. Оттуда, снова пешком, в другой лагерь. Около Волжска.

Зима свое дело сделала и с Брезиком. Так скрутила его, что слег. В больницу. Лежал долго, а потом, когда уж из этой беды выкарабкался, ходил показываться к врачу.

Тогда, в конце лета, случилось такое, что взбудоражило весь лагерь. Венгров, румын, австрийцев, итальянцев и немцев. Приехали чехословацкие офицеры. Из формирования Людвика Свободы.

Подальше от сортира, где пленные обычно грелись на солнышке и мечтали о сале, женах, белом хлебе, вине, пиве и доме, решили, что произойдет нечто исключительное. На этом сошлись даже венгры с румынами.

Начальник лагеря построил солдат, которых считал словаками. Представил им двоих в гражданском. Пришли якобы, чтобы поговорить с ними об их будущем. Беседы, продолжал, будут вестись с каждым отдельно в одной из комнат барака для офицеров.

— Спешить не надо. Над нами не капает, говорят у нас в России.

Брезик пошел на беседу одним из первых. Ведь вызывали по алфавиту.

— Садитесь, — сказали ему и начали перелистывать бумаги. — Значит, вы Ян Брезик.

— Ян Брезик, — кивнул головой.

— Родились?

— Первого января 1919 года.

— А где?

— В Банове.

— Где это, Банов? — поинтересовался высокий.

— Около Новых Замков.

— Гм, — загмыкал в гражданском. — А какая это была деревня — венгерская или словацкая?

— Словацкая. Чисто словацкая. Испокон веку.

— А в какую школу вы ходили?

— Я? В словацкую. Другой у нас и не было. А когда появился Хорти, ну, после присоединения, открыли и венгерскую.

— Из какой вы семьи? Имею в виду, кем был отец?

— Отец? Работал на хозяев.

— А здесь написано, что вы имели коней.

Только сейчас он сообразил, что в бумагах, куда они заглядывали, что-то вроде его биографии, которую он когда-то с трудом нацарапал. А там писал и о конях.

— Были у нас кони, но уже после того, как разделили помещичью землю. Мы получили три хольда. Тогда отец раздобыл коней и работал на извозе.

— Сколько детей вас было?

— Нас — восемь.

— Назовите их.

— Старшая сестра Вероника. За ней Катерина и Франтишка. Потом брат Пало. За ним я. А там младшие: Михал, Йозеф и Мария.

— Что делали старшие сестры?

— Что делали? Что было, то и делали. Летом у болгар в Новых Замках на огородах, а вообще дома.

— А как было с вами? Учились или нет?

— Ну как вам сказать. Работал дома на конях, потом приехал двоюродный брат из Шурян и говорит отцу: «Дядя, дайте мне Янко в парикмахерскую. Я его даром научу, будет иметь профессию». Отцу это понравилось: ведь голодных ртов сколько. Вот я и выучился, раз предложили.

— А потом что? Когда выучились?

— Брил и стриг.

— Имели собственную парикмахерскую?

— Какую парикмахерскую? У меня не было денег снять комнату, не то что салон обставить.

— Так как же вы занимались своим ремеслом?

— Ходил по домам. Было у меня шестьдесят мужиков. По субботам приводил их в порядок, раз в месяц стриг. За это в конце года получал полмеры хлеба.

— Разве вам не платили?

— А из каких доходов? Давали что имели. Знаете, какая это была для семьи помощь? Только посчитайте. Шестьдесят раз по полмеры.

Потом тот, который в гражданском, снова спросил:

— Женатый?

Кивнул.

— Дети есть?

Минуту смотрел на них, потом из внутреннего кармана старой формы вынул письмо с печатью военной цензуры, которое уже тысячу раз перечитывал, разворачивал и опять складывал, которое спрятал при пере-

ходе к Красной Армии и в лагерь. Но для тех двух достал.

«Милый Янко! — писала ему жена. — Спешу сообщить тебе радостную весть. Второго декабря у тебя родился сын. Здоровый крепыш, весит три шестьсот, назвали его в честь тебя Яном. Все мы ему не нарадуемся».

Над теми двоими и в самом деле не капало. Спрашивали о чем угодно. И о том, как бросил винтовку, когда переходил к Красной Армии. И сколько молодежи было призвано из Банова в венгерскую армию.

— Сколько? Не знаю. Но моего года было нас тридцать два. Пятнадцать погибли.

— Назовите их.

— Гаспар Бламар. Винцо Рыбар. Братья Томаш и Яно Мазуховцы, оба на том свете. Петер Бабин — и того нашла пуля, и Карла Юрика....

— Спасибо, хватит, — махнул рукой высокий.

— Отец был членом какой-либо партии?

— Этого вправду не знаю. Думаю, нет. Во времена Масарика не помню. А при Хорти кому из словаков это было нужно?

Те двое внимательно все записали, а потом сказали:

— Так вот, Ян Брезик. Вы наверняка знаете, что в Советском Союзе создана чехословацкая часть. Командует ею полковник Свобода. Уже воюет на фронте.

— Знаю, — быстро перебил их. — Хотел бы быть в ней. Колючей проволоки, болтовни у сортира, чистого безделья мне по горло.

— Хорошо. Возвращайтесь на свое место. Дадим вам знать.

Тогда выбрали сто шестьдесят словаков, посадили их в поезд и отправили к Свободе. Шестнадцать остались в лагере, что называется, с раскрытым ртом. «Мы что-нибудь натворили, почему вместе со всеми нас не отправили?» Смотрели один на другого и копались в своем прошлом. Только через неделю, когда уже начало заедать сомнение, к ним прикрепили офицера, который посадил их в поезд. «Куда едем?» — спрашивали. «Много будете знать — скоро состаритесь», — отшутился он. А через день они были в Красногорске. Называлось это: антифашистская школа.

— Я Марек Чулен, — приветствовал их седоватый мужчина лет шестидесяти. Говорил твердо, на западнословацком диалекте. — Прежде был кузнец. Работал в

Америке. Был основателем и председателем Словацкой коммунистической партии. Сказал, что будет читать им лекции.

— Лекции? — не понял Брезик.

— Вы здесь ведь учиться будете.

— Учиться? Нас отобрали воевать, а не учиться, — недоумевал Брезик.

— Это верно. Но вы еще навоюетесь! А сначала должны учиться.

Им рассказывали о борьбе порабощенных народов Европы за свободу, о необходимости устранить нацизм от власти в Германии, о роли рабочего класса в строительстве демократического общества, о национальном вопросе, о причинах трагедии Чехословакии в 1938 году, о Марксе, Ленине и Сталине, о Тегеранской конференции, об истории борьбы за права рабочего класса.

Когда лекции окончились, спросил однажды Чулен Брезика:

— Если надо будет, сможешь убить немца?

— И даже зарезать. Хоть бритвой, — ответил Брезик.

Чулен посмотрел так, словно хотел прочитать его мысли, и отошел, не прибавив ни слова.

Опять пришли офицеры, прочитали списки, выпускникам приказали собраться. Брезика в списках не было.

Побежал следом.

— Меня не забыли?

Офицеры еще раз посмотрели в списки. Брезика там не было.

Удивлялся, как тогда, в Волжске:

— Что бы это значило? Забыли обо мне? Или не годен в армию?

Никто ему ничего не ответил. Товарищи уехали. Бродил между бараками, ломал голову, строил догадки, что случилось, в чем промах.

Через две недели его вызвали:

— Вас зачислили в группу, которую доставит к месту офицер, явитесь к нему.

— Едем на фронт, конечно? — поинтересовался.

— Там узнаете, — бросил офицер и повез их на Украину.

Приехали в город Ровно, а оттуда еще шесть километров шли до деревни Обарово.

— Будем наконец воевать? — спрашивал.

— Будете учиться, — отвечали ему.

— Черт побери! Опять школа! Смолоду за школьными партами не очень-то сиживал, а сейчас — с одной на другую.

— Но это специальная школа. При Украинском штабе партизанского движения. Готовит организаторов партизанского движения для борьбы в тылу врага.

Днем в классах изучали теорию. Ночью упражнялись. Нападения, снятие караула, устранение патрулей, походы на ориентирование по компасу, упражнения с парашютом. Инструкторы по боевой технике, по тактике и организации партизанской борьбы, по стрелковой подготовке и топографии, саперным работам и минированию старались учить получше и побыстрее. Офицеры-политработники на занятиях по морально-политической подготовке объясняли, в чем сила Советского Союза, за что они воюют, словацкий национальный вопрос, разницу между партизанами и военнослужащими, организацию партизанского движения в Чехословакии. Такие были темы лекций.

В середине июля его вызвали к командованию школы. Он знал, кто там работает. Начальник — полковник Выходец, командир учебного батальона капитан Козлов, его заместитель по политчасти майор Шрамм. Перед канцелярией уже стоял Штево Демко. Он также был в Красногорске. А попал на восток с Быстрой дивизией. Когда на Кавказе ее разбили, он, хотя и был ранен, не торопился домой, а перешел к советским.

— Что будет, Штефан? — спрашивал Ян.

— Чувствую, надо готовить рюкзаки. Ногами это чувствую, — отвечал Демко.

Мимо них прошли офицеры. Полковник Дрожжин, старший лейтенант Клоков, инженер Трэмбычев.

Оказалось, и в самом деле надо готовить рюкзаки. Отправили в Киев. Там их представили рослому лейтенанту по фамилии Величко. А тот затрубил:

— Так вы и есть словаки? А по-русски понимаете?

— Понимают, — сказали за них.

— Немцев зарежете, если будет необходимость?

— А почему бы и нет!

— Ну, хорошо. Познакомимся.

Их тут было девять. Теперь вот прибыли еще двое.

Через три дня, под вечер, привезли на аэродром. В полном снаряжении, с оружием, парашютами за плечами. Дрожал, когда надевал парашют. В жизни не пры-

гал. Даже в Обарове. В школе не имелось ни одного самолета, все были на фронте, так что учился только на земле, на тренажере.

До Карпат летели спокойно. Над линией фронта немцы встретили их снарядами. Самолет уходил в неизвестность, проваливаясь в воздушные ямы.

Когда все стихло и думали, что уже дома, вышел из кабины пилот: «Ребята, внизу такой туман, летим, как в молоке, да и в темноте этой не сориентироваться. Возвращаемся».

В три утра, когда на востоке заиграли утренние зори, приземлились на том самом аэродроме, с которого взлетали.

Настроение собачье. Напряженность, сосредоточенность, ожидание, волнение, с которыми вылетали, остались в них.

— Ничего не поделаешь, — разводили командиры руками, — ждите лучшей погоды. Пока будете здесь, в Киеве.

Устроили их в центре города. На улице, которая кое-как еще уцелела. В доме, где верхние этажи снесло бомбой. Но жилье для них было в порядке. Двери починены, рамы застеклены, водопровод работает, и электричество есть.

Здесь прождали две недели.

Каждый день с вопросами на устах ожидали офицера. И две недели получали одинаковый ответ: «Нет еще. Надо ждать».

Бродили по улицам. Зашли на рынок, начавший оживать. Выпили в первых открывшихся закусочных. Побывали в кино. Стоял июль, чудесный летний месяц. Припекало солнышко, днепровский ветер трепал кроны лип. Язвы израненного войной города милосердно скрывала зелень. Не могли понять, как же там, куда надо лететь, дожди и туманы.

В то время подружились.

Кроме Величко, был здесь мягкий человек, образованный коммунист, украинец Юрий Евгеньевич Черногоров. Доброе сердце, с помощью которого он творил чудеса. Родился в 1913 году, то есть на шесть лет старше Брезика. Рассказывал, что родился в Каменец-Подольске, но с юных лет жил в Виннице. Перебывал там гидротехником, снабженцем тракторной станции и сахароваренного завода, заведующим топливным облотделом. В 1937 году призвали в армию. Воевал с пер-

вого для войны, получил звание капитана, и, наконец, назначили его начальником штаба этой группы. Был настолько тактичным, что в присутствии словаков не приказывал, а лишь намекал. Как бы умышленно давал понять: не хочу решать, но советую. Остальное — дело ваше.

Кроме него, был здесь Андрей Кириллович Лях, их комиссар, человек на своем месте. Резкий, твердый. На мир смотрел очень строго: я, мол, представитель великой страны и не мне заниматься мелочами. Был на год моложе Брезика. Пользовался авторитетом как человек умный, видящий перспективу. Грудь его украшал орден Ленина. В девятнадцать лет заработал его, будучи в партизанах. В армии не служил, командовал разведкой в молодежном отряде партизанского соединения, когда получил звание лейтенанта. Родился в небольшой деревушке Белоцерковке под Полтавой. Родители, брат, сестра — колхозники, а он пошел на черную работу — шахтером в Донбассе. Когда на страну напали немцы, отец стал помогать партизанам, Андрей был связным. А через год, когда по их земле немцы шли к Сталинграду, не давали им покоя ни днем ни ночью. За сто двадцать немцев, что сыграли в ящик, за захваченное оружие, боеприпасы, средства связи и добытую информацию он был отмечен орденом Ленина, которым награждали генералов. Когда шел по Киеву, не было человека, который не обернулся бы: «Такой молодой, а уже орден Ленина!»

Подружился Брезик с Костей Поповым. Он одессит, на три года старше, из семьи коммунистов, веселый, живой, говорливый, как и все жители этого города. Среднюю школу окончил в Тирасполе, куда переехала его семья. Хотел поступить в военное училище, да не повезло. Тогда выучился на литейщика. Выбрали его секретарем комсомольской организации. В 1938 году призвали в армию, окончил полковую школу. Стал во время войны активным участником киевского подполья. С мая 1943 года — в партизанских отрядах. Был начальником штаба, командиром отряда; в ноябре того же года его отряд соединился с Красной Армией. Но вскоре Костю снова послали в немецкий тыл во главе группы из одиннадцати человек, воевал в соединении Кондратюка, а в январе второй раз соединился с Красной Армией. То есть приобрел немалый опыт боев в тылу врага.

Был здесь еще радист Коля Агафонов. В шутку его прозвали Ти-ти-ти Та-та-та, говорили, что мыслит, дескать, на одной волне. Родился он в 1924 году, в шахтерской семье, в городе Первомайске Ворошиловградской области. Был на пять лет моложе Брезика, который мог бы его попросить и за сигаретами сбегать. Еще до войны окончил среднюю школу. Когда началась война, направили его на курсы радистов. Окончил их на «отлично». Поэтому его сразу откомандировали в радиоузел штаба партизанского командира Строкача, а оттуда с лучшими рекомендациями в Москву. В составе оперативной группы его выбросили в глубоком немецком тылу, в Брянских лесах, у легендарного генерала Ковпака. По очереди посылали к трем соединениям, после расформирования которых как квалифицированного радиста, имеющего опыт боев в тылу, его передали Величко.

Подчиненный Агафонова, тоже радист, молодой замкнутый паренек, красневший, когда его называли по имени и отчеству: Александр Борисович Рогачевский.

Стройная блондинка Анка Столярова — любимица группы, на вид невероятно молоденькая для своих восемнадцати лет, с глазами, пытливо смотрящими из-под выпуклого лба, с длинными ресницами. Дочь учителя из деревни Чемер под Черниговом. Перед самой войной училась в сельхозтехникуме. Добровольно вступила в армию, работала в госпитале. В «котле» под Сумами попала в немецкое окружение, из которого удалось ей ускользнуть. Вернулась домой, установила связь с партизанами, участвовала во многих боевых делах, а у Киева снова перешла линию фронта. Ее опять направили по медицинской части. Когда создавали группу Величко, выбор пал на нее — за смелость, самоотверженность, с которыми она выполняла опасные задания.

Неуемный рассказчик и экскурсовод по Киеву — это Валентин Давыдович Зильберт, переводчик, владевший, казалось, всеми языками.

И наконец, был здесь Фетисов, разведчик, человек замкнутый, слова не вытянешь. О нем говорили, что прекрасно знает свое дело и может добыть «языка» хоть из пекла. Кроме Величко и Черногорова, только его звали по имени и отчеству: Валентин Васильевич.

Так они проводили дни в Киеве, знакомились, рассказывали о себе, говорили о том, о чем в других ус-

ловиях промолчали бы. Так продолжалось до дня, нет, до ночи с 25 на 26 июля 1944 года.

Погода не совсем еще установилась, но ждать было уже невозможно. Они нужны в Словакии. Лететь необходимо при любых обстоятельствах.

Первую партию решили выбросить в Липтове, недалеко от Ружомберока.

Первым прыгал комиссар Лях.

Еще в Киеве Величко решил:

— Три года не был ты дома, — сказал он Брезику, — мотался по свету, поэтому тебе почетное место. Будешь прыгать сразу после Ляха.

Впервые в жизни летел в незнакомую тьму. Ветер хлестал в лицо, сердце ушло в пятки. Чем все это кончится?

Кончилось не лучшим образом. Приземлился в лесу. Поцарапанный елками, не представлял, где находится. Пошел куда глаза глядят. Напряженно вслушивался. Во тьме рождались таинственные звуки. Ветер? Треск ветки? Пробежал зверь? Щелкнул затвор? Звякнул котелок? Или заскрипел корень? Напрягал зрение до боли в глазах. Снял автомат с предохранителя.

Оказалось, человек идет. Попов. Обнялись. На словацкой земле.

Потом нашли Ляха. А под утро — Зильберта. Со сломанной ногой. Стонал и кусал губы. Несли его на скрещенных руках, пока не наткнулись на домик лесника. Встретили первого словака. Брезику хотелось обнять его. В этом домике оставили переводчика.

Блуждали долго. Нигде ни души. Лях даже предложил:

— Если не найдем своих, вернемся через Польшу домой.

Но счастье их не обошло. Постепенно нашли своих. Позаботились о Зильберте. И отправились в Кантор.

Встретили их по славянскому обычаю. Гости принялись за сало, долго и молча с аппетитом ели и пили, ни от одного из лакомств не отказались. Когда наелись, почувствовали, как клонит ко сну. Это особое состояние, когда, избавившись от большого напряжения, человек закрывает глаза и засыпает, словно потеряв сознание.

— Французы! — доложили Величко.

— Кто? — переспросил, словно не веря. — Может, немцы?

— Французы. И хотят с вами говорить.

Еще в Киеве Величко выбрал своим помощником Брезика: «Ты словак, говоришь по-русски, уже понюхал пороху, знаешь, что такое фронт, плен и кое-что еще, будешь моим адъютантом, помощником, охраной — все вместе, и всегда при мне».

И действительно, Брезик был везде и всюду. Знал, как Величко впервые встретился с Ланюрьеном, слышал, о чем Величко говорил, о чем спрашивал, в чем сомневался, даже о чем думал.

— Слушай, Брезик, они прибыли из Венгрии, спроси, как все это с ними было.

— Где, собственно, вы там были? — исполнил приказ Брезик.

— В Балатонбогларе и в других местах.

— Других? То есть?

— В лагере, работали. Кто где.

— Слушайте, но ведь в Балатонбогларе нет никаких казарм и лагерей.

— Вы там все знаете? — спрашивали теперь французы.

— Ну а как же, — твердо заявил Брезик, — от Секешфехервара туда рукой подать, а я там служил. В Богларе, насколько мне помнится, только хорошие винные погребки.

— И два отеля. Мы жили в них, — утверждали французы.

— Что? В отелях? — не верил Брезик. — Где это видано, чтобы пленные жили в отелях.

— Мы не были пленными. Мы были интернированными.

Постепенно, слово за слово, вырисовывалась перед Брезиком их судьба. Уже в конце сорокового года из немецких лагерей бежали первые французские военные. Венгры долго не знали, что с ними делать. Сначала интернировали в различных местах. В лагере Селип, в многоэтажном здании старого сахарного завода, что стоял в степи, обнесенный колючей проволокой. В Балажовских Дармотах, куда перевели тот лагерь. И каждый беженец был предметом спора между министерством обороны и министерством иностранных дел: заключить его в лагерь или интернировать? После поражения Франции и нового притока беженцев вишистскому посольству в Будапеште удалось разместить их в чудесном городке на берегу Балатона, Балатонбогларе, ко-

торый славился скотной ярмаркой, винным погребком местного прихода, к которому съезжались в каретах состоятельные горожане — торговцы лесом, кожей, кукурузой, пшеницей; владельцы кожевенных мастерских, мельниц для перца и муки; кирпичного завода, лесопилки; казино, кафе, трактиров, ресторанов, с первоклассными скрипачами-цыганами, различными жареными и тушеными мясными блюдами с острым перцем; кошерных, мясных магазинов, пекарен, где изготовлялась и маца; тут были костел и синагога, вилла опереточной субретки, были парк, вокзал, где останавливались скорые поезда, пристань с белыми пароходами, гора над городом и зеленые виноградники, квартал вилл и городской променад, где любили красоваться видные люди, а господа целовали дамам ручки.

И прямо на этом променаде, посреди парка, в двух шагах от зеленоватого озера, стоял отель «Савой», из которого открывался вид на Баконь. А недалеко от вокзала, прямо на главной улице, напротив городского кинотеатра, был «Немзети Салло» — «Народный отель».

Город не бог весть какой, но живой, веселый, шумный, жить можно. Когда собирали и давили виноград, город наполнялся запахом, от которого французы чувствовали себя как дома.

Многие из них работали на виноградниках, в погребках, учили венгров приготовлять вино; другие месили глину на кирпичном заводе, некоторые вымачивали кожи в дубильной или резали доски на лесопилке.

Режим у них был довольно свободный. Строились и рапортовали они, видимо, лишь для того, чтобы гусарский старший лейтенант с пятнадцатью солдатами резерва, которые их караулили, имели чистую совесть. В свободное время ходили по городу, могли зайти в трактир, в пивную. Некоторые преподавали в лучших семьях французский язык, помогали в парикмахерских, работали на кухнях, в садах, их было столько, что даже дети, проказничавшие на улицах, обращались друг к другу по-французски. Когда был организован торжественный военный парад, на котором выступал военный атташе из Будапешта в форме полковника, то вместе с представителями Международного Красного Креста посмотреть на это вышел весь город. Когда один из французов женился на венгерке, на свадьбе у него были и венгерские офицеры.

Правда, это все не распространялось на еврейских

беженцев. Их отделили от остальных, поместив в старой школе, где еще с 1939 года жили почти 300 семей из Польши. Они не имели права свободно передвигаться, работать у частников, слушать иностранное радио, питание у них было хуже, а режим более жесткий.

— Слушайте, ребята, то, что дети в Богларе кричали по-французски, я еще понимаю. Но как свыше тысячи человек разместились в двух отелях, в голове не укладывается.

— Эту тысячу, возможно и полторы, надо понимать так, что столько, а может быть и больше, нас попало в Венгрию за все время войны. Когда в Боглар прибыла первая группа, в ней было нас четверо офицеров и примерно четыреста солдат. А самое большее нас там вообще было с тысячу, но в Богларе одновременно больше двухсот не находилось.

— А где же они были?

— По всей Венгрии.

— А что делали?

— То же, что и в Богларе. Устраивались кто как мог. Почти семьсот из них работали в сельском хозяйстве. А иные и на более выгодных местах. Старший лейтенант из Лиона, архитектор по профессии, работал в Будапеште, в строительной фирме, — строил виллу актрисе Гизи Байор. Восемь профессоров преподавали французский в гимназии в Гёдёлле. Другие читали лекции по французской литературе в известной коллегии Этвош. Даже организовали драмкружок и поставили Мольера, на спектакле был сам министр просвещения. Некоторым французам венгры хорошо платили. Пятеро получали за лекции по шестьсот пенгов в месяц.

Некоторые офицеры, особенно в Будапеште, были украшением праздничных вечеров и забав. Памятным стал бал в Андьалфёльде. Когда с него под утро расходились, уже встречали немецкие танки и броневики.

После оккупации Венгрии такая жизнь кончилась. Временный рай закрылся. Разбежался богларский «Савой». Немцы проверили места работ, на которых были французы. Уже в первые дни почти сто из них отправили в Германию. Заняли гимназию в Гёдёлле. Вновь открыли лагерь в Селипе, тех, кого поймали, отправили за колючую проволоку сахарного завода. Многие попытались сбежать в Румынию, в оккупированную Югославию, некоторым с помощью фальшивых документов удалось остаться на свободе. Тогда созревала и мысль

о побеге в Словакию, если там развернется партизанская борьба. Первые французы пошли на риск — и вот они уже здесь.

Когда Брезик закончил, Величко только покашлял, Черногоров молчал, а Лях захмыкал.

Потом Величко заворчал:

— Их командир ораторствует, как Наполеон, который был против нас. А он правда хочет быть с нами. Пусть тогда остается.

Недоверчивый Лях заметил:

— В конце концов мужчины проверяются под огнем.

С тех пор каждый день в Кантор приходили все новые и новые французы. Усталые, измученные, но счастливые, что Венгрия уже позади. Строили домики, хаты, тренировались с оружием, полные решимости воевать против немцев.

Тогда Лях сказал Брезику:

— Граф в Штявничке, видно, большая свинья. Снюхался с немцами. Неплохо бы попотрошить его.

Сказано — сделано. Отправились посмотреть, чем он дышит. Первым в дом вошел Лях, остальные ожидали снаружи.

Граф «приветствовал» его с дробовиком в руках. Только Лях вошел, он выстрелил ему под ноги, и комиссар выскочил оттуда словно ошпаренный.

— Ну, это тебе дорого обойдется, — зашипел. И дал по окнам очередь из автомата. Брезик бросил пару гранат. После этого слуги покорно вытащили во двор повозку, положили на нее то, что от них потребовали, и запрягли пару коней.

Обратно возвращались короткой дорогой. Но в лесном овраге повозка опрокинулась и придавила Брезику ногу. Что-то хрустнуло, пронзив острой болью; очнулся уже на повозке, когда над ним склонился Лях.

— Ну ты даешь, друг. Нелегко было высвободить тебя из-под колеса. Видно, с ногой-то плоховато.

И действительно, с ногой было так плохо, что врач в Канторе решил:

— Я тут ничем не помогу. Надо в больницу.

— Доктор! — Кровь ударила Брезику в голову.

— Никаких разговоров. Я уже сказал. Необходимо в госпиталь.

Отвезли его в Бистрицу. Врачам ничего не надо было объяснять. Наши люди. Только имя Брезику дали другое. Отправили его сразу на операционный стол.

Продержали на нем два часа. Наконец нога была в гипсе.

— Теперь недолго? — терпел Брезик.

— Здорово вас придавило! Надолго.

— Чтоб вас черт взял, — отвел душу, выругавшись.

Но через два дня уже улизнул. В Кантор.

— Что с тобой? А с твоей гипсовой ногой? — поводил Лях плечами. — Отвезу тебя в деревню. Там будет спокойней.

Отвезли его в Склабину, на всякий случай сначала на сеновал. Достали ему поесть, паленку и сигареты:

— Хорошенько прячься. Здешние о тебе позаботятся. А мы сюда вернемся.

Все тело его болело от безделья. Вокруг все бурлило, а он скрипел зубами от злости, что не может быть там. Тысячу раз в голове повторилось, как все это было: Секешфехервар, Дон, плен, Красногорск, Обарово, прыжок с парашютом и теперь вот это. Лишен возможности участвовать в борьбе. Обидно было, и даже в глубине души его оскорбляло, что другие делают сейчас то, что должен был делать он.

— Не грусти, еще постреляешь, — утешали его. Каждый раз ему приносили кипу газет. Уж годы не читал словацких газет. Но какие они! Одно свинство.

«Словак» от середины августа, номер посвящен годовщине смерти Андрея Глинки. И с его цитатой: «Советизм — олицетворение сатанинства».

Без интереса листал дальше. «В винном ресторане отеля «Блага» сегодня и ежедневно музыка — первая скрипка всеми любимого Питя», — сообщалось в объявлении на последней странице.

Более свежие газеты были поинтересней. Сообщали о боях в районе Парижа, о трудном положении в Румынии.

«Словак» от 24 августа сводил счеты с партизанами, с их «настоящим лицом», утверждал, что в Нормандии не удалось окружить немцев; информировал о тяжелых боях между Прутом и Серетом и радовался, что на заседании городского совета в Прешове д-р Войтех Тука единогласно избран почетным гражданином.

В номере за следующее число автор статьи «Словацкий народ не даст себя одурачить» признавал: «Было бы глупо утверждать, что у нас нет партизанских отрядов, ведь мы в этом уже убедились». А в воскресном приложении, в «Письме партизану» говорилось: «Среди

партизан, видимо, и ты — парень, что называешься словаком».

— Скоты! — сплюнул Брезик и потом читал уже только объявления, театральные и кинопрограммы.

...Вспомнил о сыне. Ему шел уже второй год, а он его еще не видел. Но ведь вокруг происходят огромные события. Поднялась вся Склабина...

Не выдержал и вышел на костылях из сарая. Вокруг куда-то спешили люди, его не замечая, будто забыли о нем, и он сразу показался себе совершенно лишним.

На душе тяжело: для чего ему нужны были все эти школы, курсы! Сел на лавочку перед домом, костыли прислонил к стене, а ногу в гипсе вытянул перед собой.

Откуда-то издалека до него доносились отзвуки боев. Иногда словно гремел гром. Он был опытным бойцом и знал: это работает артиллерия. По небу то и дело пролетали самолеты.

Из Сречна вернулся Черногоров и сказал: «Германское государство создал Бисмарк, собственно, в войнах с Францией. Война за освобождение всегда обозначала для Германии борьбу против Франции, а для Франции — всегда войну с Германией. Отсюда можно понять чувства французов к немцам и наоборот. Сейчас я снова об этом подумал».

С Дубной Скалы вернулся Лях и сказал: «Читал о французской революции, выходит, француз — тот же революционер».

Из Склабины надо было уходить. Брезика отвезли в Мартин. Оттуда — в Нецпалы. Дальше — в Требостов. А потом — в Давяки. Там он сказал себе: хватит. Штыком разрезал гипс. Не особо заботился о том, как выглядит, и пошел, опираясь на палку. Довезли его до Святого Крижа. «Ты что, с ума сошел? — всплеснули руками. — В таком состоянии? С палкой?»

Весь тот бой при Яновой Леготе и Ловче переживал в штабе, в Святом Криже. Оттуда его переправили в Детву.

Погода собачья. Осень началась с дождей, холода, темного небосвода. Рана болит. Детва переполнена войсками. Раненые во дворах и амбарах. У какого-то сарая встретил санитарку, что была при французах.

— Что с ногой? — поинтересовалась она.

— Видите, уже хожу. Могу потанцевать с вами. А как вы?

— Разыскиваю раненых. Лежат кто где. Их у меня

больше пятнадцати. Троих нашла даже в гараже. Сейчас заберу их в медпункт. Принесу дров, поставим печку, затопим, будет им полегче. Они с температурой, простужены, да и колики их мучают. Говорят, гардисты отравили колодец.

— А вы все еще у французов?

— Так я о них и говорю. Только я их понимаю, могу с ними договориться!

Поинтересовался — нет ли среди них тех, из Кантора, что рассказывали ему о Балатонбогларе.

Дохромал с сестрой до ближайшего гумна. Там лежали четверо парней. Обросшие, с воспаленными лицами, мерзнущие, свернувшись под одеялом. Приветствовали сестру сильным кашлем и взглядами, полными надежд. Очень напоминали ему тех, на Дону.

Сестра что-то спросила у них по-немецки. Отвечали невнятно или молчали. Поправила им подушки, дала лекарства.

— Много здесь для них не сделаешь, — развела беспомощно руками. — Шли от Дубницы, но не смогли выдержать, как те бывалые солдаты.

— А те где?

— Сейчас придут. Из Святого Крижа. Меня, собственно, вперед послали.

Пришли ночью. Встретился с ними только на следующий день. Как же они изменились! Опаленные в боях, нанюхавшиеся пороха, с мужественными лицами, шли они колонной.

Да, это были они — кавалеры, элегантные, как всегда, но не те, которых встретил в Канторе. Словно от прошлых дней их отделяла невидимая граница.

К ним присоединилось много новеньких, особенно с поважских фабрик.

Капитан, конечно, верен был своей привычке: сырое молоко и ежедневно пятьдесят граммов. Пикар, тень капитана, регулярно и старательно исписывал свои бумаги. Бронзини даже увеличил запас ругательств. А приятный тенор Альбер Ашерэ — парижский железнодорожный контролер — в ответ на похвалу слушателей повторял снова и снова: «Я один в этот вечер».

Видел и новых. Капитана Форестьера — офицера запаса, юриста из Монпелье, парижанина — лейтенанта Гейссели, младшего лейтенанта Доннадье, студента-юриста из Марселя, который как в плену работал в Дубнице — потом все влились в соединение.

Брезика пригласили к столу. Сидели вместе с русскими и хозяевами. Черт знает, как договаривались.

Вспомнили Кантор, первые дни. Правда, не вспоминали мертвых. Прошлого словно не существовало. Только будущее.

— Знаете, что о вас говорят немцы? — объяснял француз русскому: — Что всегда можете уловить нужный момент. «Когда сеять, а когда жать». Мы в этом слабее. Француз для немца — поверхностный, непостоянный, все преувеличивающий болтун. А еще говорят, что Франция — это счастливая семья, где по воскресеньям пирог и шампанское.

— Ну а я слышал, что вы говорите о немцах, — помогал себе жестами солдат в пилотке со звездочкой, — якобы слишком много работают. Это так?

Нотариальную контору и мельницу, где поместили офицеров, частные дома, где жили сержанты и солдаты, обступили и млад и стар. Не потому, что веселый Татав ощипывал гуся прямо на улице. И не потому, что кое-кто залезал на деревья и объедался яблоками. Нет, не из любопытства. Это была естественная благодарность. Не хотели, чтобы гости чувствовали себя обделенными. Наоборот, собирались там, чтобы укрепить их решимость к справедливой борьбе.

С такой же заботой готовили они сейчас свою деревню к рождеству. Триумфальная арка. Зеленая хвоя. Цветы. Флаги.

Толпа залила нижний конец деревни, чтобы лучше видеть, как маршем пойдут партизаны. Как наши. Как французы.

Ведь готовился парад. Большой и торжественный. Всей бригады. Хотели проверить силу, боеготовность бригады, укрепить ее уверенность, влить новые силы. Шестьсот бойцов готовились к параду; без тех, конечно, что воевали.

Брезик приковылял первым.

— Ого, — посмотрел на него Величко, — что ты тут хромаешь? Иди к нам. Да понаблюдай за минерами.

Встал тогда Ян на почетном месте. И все видел.

Подразделения, построенные для парада. Заботливо вычищенная форма, поблескивающее оружие. Впереди командиры. За ними части. Во всеоружии.

Суворовский отряд со знаменем.

Отряд Гейзы Лацка.

Минеры. Со знаменем молодой шахтер из Гандловой Виктор Жабенский.

Французы. Бельгийцы. Словаки из Франции. Со знаменем шофер Франек.

Моросило, потом дождь усилился. Знамя развевалось на ветру.

— На караул!

Винтовки взлетели к плечам. Руки, спины выпрямились, ноги словно вросли в землю.

— Партизаны, солдаты! — громко начал Величко.

— Словаки! Советские! Французы! — продолжил Шмидке.

— Благодарность вам и благословение! — сказал седовласый детванский священник.

— Шагом марш!

Людской поток двинулся. Без музыки. Песнь была в каждом из них. Раз-два! Пальцы сжимали винтовки, автоматы. Башмаки отбивали ритм. Лица обращены к офицерам.

О, первая партизанская!

Брезик про себя считал их, опытным взглядом старого бойца оценивал выправку, лица, обращенные к генералу в момент приветствия. Так когда-то маршировал он в Секешфехерваре. Правда, из-под палки.

Эти же по своей воле.

Из патриотической любви к отчизне. Ради веры в будущее.

Уже сегодня, завтра многие из них уйдут на фронт.

Что ждет их в будущем?

— Ну как? Обратил внимание на минеров? — спросил его после парада Величко. Сам в новой словацкой офицерской форме.

Разговорчивость Величко возбуждала подозрение. Не задумал ли он чего? Поэтому на вопрос Брезик ответил вопросом:

— Да, обратил, но никак не пойму, зачем мне это?

— Потому что назначаю тебя комиссаром к нам. Это почетное место. Здесь нужен настоящий парень.

Поливал дождь. Ветер развевал знамена.

— Так вот оно что, — дошло до Брезика. Опираясь на палку, он направился к минерам.

Начинал воевать.

Наконец-то!

Партизан Мило

Осужденных привели на поляну, когда подразделения уже построились.

Слева — словаки. Справа — французы. В середине — русские.

Те двое стояли перед строем, почти у края леса. Бледно-мертвенные лица. Плечи опущены. Глаза взывают о помощи.

В конце словацкого строя стоял юноша немногим моложе, чем они. Как его только ноги держали. Глаза вытаращены. В лице ни кровинки. Живот подвело. По телу мурашки.

Никогда еще не встречался со смертью. Не видел, как умирают люди. И не представлял себе страшного уравнения преступления и наказания, в которое сейчас должны добавить неизвестное...

Звали его Мило Гамза. Из Белой. Он, как и его отец, а отец, как дед, а дед, как прадеды, все они зарабатывали на кусок хлеба топором лесоруба. Лес их колыбель и кладбище. Здесь рождались, кормились, умирали. Они знали тут все и каждого. Тайны леса читали как книгу жизни. Знали, как распускаются почки на деревьях; как пробраться тропками, о которых никто не ведал; где проходят какие звери; кто утащил у старого лесника

Олдхофера сухари; какая из девушек и когда ходит по малину, а какая — за черникой. Разве можно после этого не знать, что происходит у Турца — в окружающих горах, лесах, долинах?

Когда впервые Мило услышал о тех, что перебираются сюда как к острову спасения, прибежал домой:

— И я пойду!

— Посмотрите! У щенка зубы прорезаются, — заворчала мать.

— В лесу как на войне! Тебе этого мало? — отрезал отец.

Но парень не сдавался.

Турец, тайник, окруженный горами, в стороне от магистралей, был убежищем для преследуемых, бежавших сюда из Германии. Здесь не грозила опасность, как в рейхе. Тут не надо было бояться каждого шага. Слова. Взгляда. Встречи. В деревнях можно постучать в окно, попросить поесть, переночевать, избавиться от лагерной робы с позорной меткой. Их принимали охотно, пускали переночевать, помогали переодеться, даже денег давали. Со многими можно было договориться.

Много говорили о беженцах в Валчи, Гадере, Нолчове. О Жингоре из Быстрички, который отказался идти на фронт. Зима стояла лютая, а беженцев все прибывало. Всех их надо было надежно спрятать по лесам, в сараях, на сеновалах...

Мило снова канючил:

— Пустите меня к партизанам!

— Не пыжься! Молоко на губах еще не обсохло! — оборвал его отец.

— Хочешь быть как те, о которых говорят: только клянчить умеют, а не работать. Завербуйся! И не стыдно тебе? — запричитала мать...

Вскоре произошло вот что. Тогда уже шел слух, что Жингор собрал группу. И не какую-нибудь. Пятнадцать парней. Русских и, говорят, наших. Двух из них он куда-то отправил. С поручением. Но их поймали. На допросе они выболтали даже то, чего не знали. Начальник жандармов поднял на ноги всех, кто способен был ходить, — и всех к лагерю. Но по дороге, нарочно не придумаешь, опять наткнулись на партизан. Снова на двоих. Началась перестрелка, бах-бах! Начальника, так ему и надо, убили сразу, а одному из двоих пуля угодила прямо в живот. Другой убежал и поднял весь лагерь. В то время уже спустилась ночь. В воздухе слов-

но кружились ведьмы. Снег валил, как из мешка. Обжигал ветер. И в этом аду, по снегу выше колен, партизаны уходили от преследователей. Уже под утро, промокшие, совершенно обессилевшие, еле дотянули до Валчи и навзничь повалились на солому. А вечером шли дальше. Метель не утихала. Все заволокло, в двух шагах ничего не видно. Холод страшный. Промерзшие до костей, прошли сквозь многие долины, сбив с толку жандармов. Что ни говори, а ночь есть ночь. Растерялись друг с другом. Жингор блуждал в одиночестве до тех пор, пока ему, выбившемуся из сил, не предложил убежище лесничий в Канторе.

Турец не спал. Перед ним, как на сцене, где кулисами были заснеженные долины, горы, леса и поля, разворачивались волнующие события. Несколько словаков и десяток беглых русских готовились к первому поединку справедливости с силой. Города и села наблюдали за каждым эпизодом с затаенным дыханием. Но, конечно, не были лишь зрителями. Горячо поддерживали тех, кто поднялся против властителей.

Симпатии Турца переросли в нескрываемую поддержку, когда раненый советский партизан Бугадзе на восьмой день после операции, перехитрив всех, в одежде, которую достали ему врачи, в пальто, подаренном уборщицей, черным ходом убежал из госпиталя и скрылся. Даже не сняв швов.

Вот так из куска хлеба и миски супа, соломенной постели в амбаре, высушенных солдатских ботинок у печи в лесной избушке, указания дороги, нужного сообщения, обычной улыбки, которая придавала сил и согревала преследуемых, выросло сопротивление силе. Оно было всюду и нигде, нигде и всюду, неясное, невидимое, неощутимое, так как было в подсознании всех этих людей из лесов и долин, из деревень и хуторов, лесников, что кормили незнакомых, врачей, которые оказывали помощь, уборщиц, отдававших, может быть, последнюю рубаху, жандармов, которые «не замечали» их и якобы ничего о них не слышали, всех тех, которые знали, но не предали. Не предали! Ни один!

Без них никогда не было бы сети лесных лагерей. Это настоящее вооруженное сопротивление, выражение ненависти, отпора, борьбы.

Здесь были убежища, блиндажи, шалаши, охрана, связь, снабжение. В Валчи, Нецпалах, под Вруткамн, Требистовом, Быстричкой, в Канторе.

В день святого Георгия тронулся лед, вскрылись реки. Шла весна. Капало с крыш. А советские продолжали гнать немцев.

Приходили новые добровольцы. Советские из плена. Чехи из протектората. Поляки с Оравы. Из близи и издалека. Их было столько, что принимали только тех, кто вне закона, особенно дезертиров, а из них тех, кто имел оружие.

Ну и хлопот было!

Легко сказать: летом — дом под каждым кустом. Но где сейчас спрятать всех?

Легко сказать: ешь хлеб, пей воду — не будет тебе на шкоду. Но как долго все это можно вынести?

Настало время рубить, копать, тесать, ломать скалы, мастерить, снабжать, найти новых людей, которые дали бы муку, жиры, бобы, табак; кто добровольно мог бы дать сбрую, телеги, коней.

Это было уже сверх возможностей тех, кто скрывался в лесах, выше сил тех, кто помогал до сих пор.

Это под силу только организации. Сильной, продуманной, тайной. Была такая. Революционные национальные комитеты. В Валчи, Дражковцах, Дольнем Кальнике, Требостове... Они росли, как грибы после дождя. Двенадцать советских беженцев вместе со словаками соорудили избушки, землянки и шалаши в Канторе, в той тихой пологой долине у Склабины. Здесь легко было скрываться, а здешний лесничий Бодя был своим человеком. Вместе с женой он заботился, чтобы партизаны были сыты, дважды в день пек хлеб, помогал чем мог.

— Отец! — вбежав в дом, выпалил Мило. — Я иду к партизанам.

— А мне-то что! — отрезал отец.

— Муж мой! — закричала мать. — У тебя что, разум помутился? Пять детей на шее, Мило уже зарабатывать может, а ты: «А мне-то что!» Как это просто! Пойдет в лес безобразничать?

— Лучше, когда молодое вино перебродит, — забормотал отец. — Кто же выбросит немцев, если не такие хлопцы? Не мы же — седые развалины, про которых смерть забыла. Мило мал, да удал! Вырос как сосна в лесу. Из него будет настоящий парень. Закаляются смолоду.

— Боже! — загоревала мать. — Совсем уж в старости разум теряешь?

«Нет, эту стену не пробить ни головой, ни просьбами», — подумал Мило и решил ничего больше не говорить. Только зря ссориться будут.

Помогла Мило повестка. Не как в той народной песне, где посылает записку королева, нет, господа из Братиславы приказывали ему явиться на принудительные работы. Теперь уж отец сказал сам:

— Мило! Собирайся в Кантор, пока за тобой не пришли. Иначе завтра может быть поздно.

На этот раз мать промолчала. Только заплакала.

Словно по вызову, приехал из Братиславы брат. Он там служил.

Привез хорошие подарки: винтовку в разобранном виде и сверток генеральных карт. Ценный клад. Оружие теперь есть. Возьмем все это с собой и незаметно, чтоб никто не догадался, втроем отправимся. Он, Йожо, Медведь и Дюро Дюрик. За нами придет Пало Грегор — солдат-дезертир из их деревни, который сейчас в Канторе. Соберемся словно на прогулку, возьмем еды. Только чтобы старый Олдхофер не пронюхал. Ведь он лесник и знает лес лучше других.

Так все и получилось. Пришел Грегор, спрятал под пальто винтовку и карты. Когда прокрались за деревню, на радостях от волнения захватило дух. Не выдержали, вынули винтовку, набили обойму патронами и давай стрелять. Звуки выстрелов весело разлетелись по лесу — салют на прощание со старой и навстречу новой жизни. Эхо разнеслось по лесам, даже сойки закричали испуганно.

К вечеру добрались до цели.

Перед ними лежала поляна. Он сразу узнал ее. Но сейчас она выглядела совсем иначе. Партизаны, кони, у леса избушки, шалаши, палатки, костры. Когда стемнело, приблизились к костру. Трещали поленья, разлетались искры. Где-то пели. Из котла доносился приятный запах. Вот о такой жизни он мечтал. Из-за этого не спал. Свобода! Лесной хлопец. У богатых отбирать, бедным раздавать. Как Яношик.

На темном небе мерцали звезды.

— Эй! Новенький! Гамза, что ли? Иди сюда.

— Это или к добру, браток, или наоборот, — вставил рябой, сидевший рядом с ним у костра.

Пошел за какой-то тенью, спотыкаясь о кочки, пока не приблизились к избушке. Открыли дверь. Внутри светло. Полно людей. Незнакомые лица.

— Это тот, что принес карты, — представила его «тень».

Светловолосый гигант окинул его взглядом. Что-то сказал.

Мило не понял ни слова.

— Спрашивает тебя, — перевели ему, — откуда карты?

— Карты? Это брат привез из Братиславы. Проходил там службу при географической конторе. Принес их для вас. И винтовку.

— Молодец! — похлопал его по плечу тот Илья Муромец и сказал: — Спасибо!

Пожал ему руку еще один и что-то пробормотал и, наконец, черноволосый словак, которого Мило, слава богу, понимал.

— Назад дорогу найдешь? — спросил у выхода тот, что его привел.

— Найду, но скажи, кто эти люди?

— Тот первый? Величко.

— Величко?

— Ну и что?

— А второй?

— Это француз.

— Француз? Могут здесь быть французы?

— А почему бы и нет?

— А тот, последний?

— Так это же Жингор. Послушай, много будешь знать, скоро состаришься.

У него голова закружилась. Прибежал к костру. От радости перепрыгнул через него.

— Допрыгаешься! — засмеялся рябой. — Завтра Грушка покажет тебе Яношика! А что от тебя хотели? Рассказал, как все это было.

— Ну, высоко ты взлетел. И сразу, — протянул рябой. — Ты знаешь, кто такой Величко? Он здесь самый главный. Главнее нет. Он командует всем и вся. Недавно выбросили их самолетом. Одиннадцать парашютистов. Вместо Турца сбросили их на Липтов, да еще как. Комиссара — на башню церкви, разведчика — на крышу, а санитарку — в ручей. А когда стали смеяться над этим, знаешь, что он сказал? «Мало ли где люди могут останавливаться, почему нам нельзя на церкви?»

— Вот шутник!

— Ну а француз?

— Француз, черт его побери, быстрее его нарисо-

вать, чем имя запомнить. Знаешь, он убежал из немецкого лагеря, кажется, спрятался в ящик, в котором его вынесли за ворота. Настоящий парень, а?

— Но он не один там был. С кем-то еще разговаривал на своем языке.

— Почему один? Их пришло несколько человек. И каждый день приходит все больше.

— Из Франции?

— Эх, парень! Сначала подумай, потом говори. Из какой Франции? Из Венгрии идут. Это пленные. Бегут из лагерей. Их переводят через границу, потом поездом везут в Мартин. А оттуда прямо к Фримлу.

— К тому леснику, под Страньями?

— Ну да, к нему. Там их приводят в порядок — и сюда к нам.

— А как же договариваетесь с ними? По-французски?

— Откуда мы знаем французский? Со смеху можно лопнуть. Ну, если уж очень нужно, есть здесь с ними такой профессор, и словак и русский — все вместе. Фамилия его Ершов. Он с ними одинаково болтает на их языке, и по-русски, и на нашем. Подожди — увидишь.

Чего только не знал тот рябой, кажется, вечный студент. Еще он рассказал, как Величко приветствовал французов. Якобы долго смотрел на них, ничего не говорил. Потом снова посмотрел на их городские костюмы, наконец проворчал недоверчиво: «Вид у вас как у буржуев». Наступило молчание. Никто не ответил. Через минуту он добавил: «Но вы мне нравитесь. Оставайтесь!» И включил их в словацкую часть. Однако французам это не очень понравилось, особенно их командиру. Он утверждал, что они здесь лишь авангард, остальные на подходе, что их хватит на отдельное подразделение, и настоял, чтобы оно было. Величко разозлился: «Говорит как Наполеон! Но тот был против нас, а этот с нами. Пусть будет по его. Выделите ему подходящий лесной участок, чтобы там устраивались».

— А Жингор, который был с ними? Это правда, что его оперировали в словацком санатории, а в это время там были немцы?

— Были. Не только были, но и помогали профессору при операции аппендицита. Просто смех! Немцы оперируют партизана. Если бы знали, кто это, досталось бы ему! А вместе с ним и профессору. Как же его фами-

лия? Кажется, Кох! Ну, на сегодня хватит. Завтра вас ждет Грушка!

Не спалось в ту ночь новому партизану: мешали удивительные сны. Столько событий, новых людей, дел. Подумать только, сам командир подал ему руку, похлопал по плечу. А тут еще француз. В самом деле, ведь ему придется жить с французами. В жизни еще не видел француза. Только немца. Старого Олдхофера. Но тот уже выживает из ума. Не заметил, как у него из-под носа ускользнули к партизанам.

Утром Грушка, старый солдат, показал им, «где раки зимуют»:

— Стройся! Равняйсь! Смирно! Налево! Направо! Ложись! Это называется ложись? Упали как подкошенные, вот это будет ложись. Встать! Это называется встать? Как сонные встаете. По-пластунски вперед! Короткими перебежками вперед! Это называется перебежки? Пока вы так перебегать будете, немцы из вас решето сделают. Встать! Ложись! Я вас научу! Я вам покажу! Громче! Шепчут только в церкви...

Прошла утренняя свежесть. Солнце грело все сильней, пот лил градом, рубаха прилипала к спине. Это и есть «партизанить»? Кто это так себе представлял? Может быть, только Грушка, командир взвода, который снова кричал:

— Ложись! Встать! Новенький — ко мне!

— Гамза!

— Лесоруб?

— Лесоруб.

— Видишь лес? Опушку справа? Тех, что в гражданском?

— Вижу.

— Доложишься им. Поможешь рубить лес. Повтори приказ.

— Доложусь тем, в гражданском, и помогу им рубить лес!

— Бегом!

Те, в гражданском, оказались французами. Выделили им, как сказал командир, участок леса, который они должны были вырубить. Потом надо наделать бревен, досок, построить хаты, укрытия, землянки. Издалека было видно, как непривычна для них эта работа. Уже по тому, как держали топоры! Только берегись, когда валят деревья.

— Уходите, ребята, подальше отсюда! Лес рубят — щепки летят! — сказал он вскоре.

Поплевал на ладони — и зазвенел топор, запела пила, застучал молоток, завизжали клещи. Рубил, пилил, колол, ошкуривал изо всех сил. Он им покажет, французам!

Обступили его и любовались этим маленьким чудом. Работа у него спорилась, это он чувствовал. И хорошо! Пусть посмотрят, как рубят лес словаки.

— Браво! — упала на него тень.

Поднял голову. Француз, командир.

Мило даже покраснел.

Командир что-то говорил.

— Если бы я тебя понимал. — И вдруг увидел, что француз держит карту. Его карту. Засиял, указав на нее: — Карта! Я принес ее. От брата. Из Братиславы.

По глазам командира видно было, что он вспомнил тот вечер.

— А! — Снова похлопал его по плечу. — Браво!

— Ну как было у французов? — спросил вечером у костра рябой. — Вижу, ты при деле.

— Я что, у партизан или на прогулке?

Так и получилось. Утром их неплохо погонял Грушка: упражнялся со взводом. А потом он помогал французам, которых с каждым днем становилось все больше. Все помогали как могли. Скоро будет крыша над головой.

Приходил командир, иногда несколько раз в день. Стройный, по-военному подтянутый. Высоко держал голову, был серьезен и озабочен. Это, пожалуй, ему и не шло. Однажды объявился с Величко, Жингором и тем переводчиком.

— Это ты карты принес? — спросил, остановившись рядом.

Отложил Мило топор, подтянулся, тыльной стороной руки вытер пот со лба.

— Я!

— Поручик говорит, — Величко показал на француза, — что ты молодец. Продолжай так и дальше, парень!

Он был на седьмом небе от похвалы. Сколько раз в эти дни говорил себе: для этого вряд ли стоило убегать сюда. Елки валить, тесать колья, ставить срубы. Ведь шел бить немцев. А когда еще придется выстрелить? Хоть и винтовка есть! Другие говорят, что мы бездель-

ничаем здесь, жилье строим. Грушка волочит нас по земле, учит разбирать пулемет, и больше ничего. Но теперь обо всем этом сразу забыл. Вкалывал до мозолей, аж пар от него шел.

Когда снова поднял голову, те уже уходили. По вырубке на поляну. Три командира. Словак, русский, француз.

Вечером у костра похвалился, как к нему подошли три командира.

— Мне страшно интересно, — опять разглагольствовал рябой, — как эти трое между собой договариваются. Вот только представь: существует словацкая группа. Командует ею словацкий офицер. Потом сбрасывают советских парашютистов, они не знают разве, что здесь уже есть партизаны, которыми командует офицер. Группы объединяются. Кто будет старшим? Возникает вопрос. К этому надо добавить, что словацкий офицер, до того как сбежал, воевал на Украине против Красной Армии и выслужился до старшего лейтенанта. А советский офицер тоже на Украине сражался с врагами и также имел звание старшего лейтенанта. Ну а потом объявится еще и французский лейтенант, которому и во сне не могло присниться, что встретит здесь двух офицеров в одном подразделении. Что он сделает? Будет служить под их командованием? Или откланяется? К тому же еще подразделение, в котором все они встретились, должно носить имя нашего генерала, который был французским генералом и во время большевистской революции сражался в Сибири против красных. И наконец, французское подразделение должно якобы носить имя их маршала, принадлежавшего к заклятым врагам Советов, готовившего против них интервенцию. В Словакию же он направил военную миссию, руководитель которой был начальником нашего Генерального штаба, а три дюжины его генералов задушили Словацкую республику Советов и готовили поход против России. Не знаете, что каждый мало-мальски приличный город считал обязанностью назвать его именем улицу? Улица Маршала Фоша! Мне кажется, какой-то подлец большую кашу здесь заварил и слишком горячую для тех, кому ее придется есть. Ей-богу!

— Ох и околесицу же ты несешь, рябой! Ужасная ерунда! Ну и болтун ты! — одернул его дезертир Пало Грегор. — Мы за здравие, а ты за упокой! Кто сегодня думает о твоих генералах и маршалах, тот из них

будет первым или другой. Сейчас речь идет о главном. О большой беде, о том, что идет война и все от нее страдают. Посмотри на русских! Что им там наделал этот убийца! А французов как этот урод растоптал! А с нами что этот ирод вытворяет! Против него мы сейчас должны все объединиться, как один. Свернуть ему шею, переломать кости, набить рожу, перегрызть горло, дубасить и бить до тех пор, пока душа из него не выйдет. Понимаешь, рябой! А будет ли мной командовать словак, русский или француз, мне все равно. Если меня что-то занимает, так когда мы уже начнем. Посмотри вокруг. Каждый хочет взрывать мосты, бить немцев, захватывать оружие, а не коптеть здесь, неизвестно чего ожидая; не знаю, как нас тут удержат. Не понимаю и зачем нас здесь удерживать. Ведь каждый потерянный день означает, что Гитлер продолжает терзать мир, а у нас эта свиная голова президентствует. Это, говорю прямо, для меня не все равно. Поэтому кончай ты свои разглагольствования. Оставь командиров, они уж как-нибудь сами разберутся.

Разобрались. И предложили: из советских пленных, сбежавших из Германии, из советских парашютистов и новых добровольцев создать 1-ю партизанскую бригаду имени генерала Штефаника. Из двух рот, диверсионной и минерской групп, разведки, штабной роты, вспомогательных подразделений, на две трети состоящих из словаков. Во главе их поставить офицеров Советской Армии. Черногорова, Ляха, Суркова, Высоцкого, Солошенко, бог знает, как их всех звали. В нее включили и французов. Соединение французских бойцов, как сами они решили назвать свою часть.

Из словаков, которые остались у Жингора, образовали 2-ю партизанскую бригаду имени генерала Штефаника, пополнив ее новыми бойцами.

А командиры?

1-й бригады? Ну, конечно, Величко Петр Алексеевич. Родился в 1911 году в Казахстане, в Талды-Кургане Алма-Атинской области, отец — учитель. Окончил высшую экономическую школу, действительную военную службу проходил в Ульяновском танковом училище, которое окончил в звании лейтенанта. После гитлеровского нападения — слушатель ускоренных курсов академии имени Фрунзе для офицеров десантных войск. Потом бои под Москвой, на этом фронте за год стал гвардии старшим лейтенантом, с начала 1943 года — коман-

дир диверсионного отряда, выброшенного на Украине, спустя полтора года снова в Москве. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны I степени, Красного Знамени. Летом 1944 года направлен в Украинский штаб партизанского движения. Шестого июля вылетел в Словакию в качестве командира организационно-разведывательной группы, состоявшей из одиннадцати человек.

А командир французского соединения?

Конечно, лейтенант Ланюрьен, родился в 1915 году в Сен-Серване, в старой бретонской семье, отец — пехотный генерал, тяжело ранен на германском фронте во время первой мировой войны, награжден высокими наградами, включая наивысшую — Военный крест. Четверо братьев. В 1936 году окончил известную военную академию в Сен-Сире, потом учился в военной кавалерийской школе в Сомюре. Мобилизация 1939 года застала его лейтенантом 5-го кавалерийского полка, с которым он уходит на фронт. Участвует в боях на севере Франции, в Арденнах и на Сомме, отступление в Сен-Валери, где вместе со своей частью попал в плен и отправлен в лагерь Виденау.

А командир 2-й бригады?

Естественно, Жингор, словак, поэтому его и представлять не надо было.

— Что правда, то правда, — говорил вечером рябой, — толково все сделали, честь и хвала! Хорошо распределили.

— Кончай ты уж со своими сплетнями! — оборвал его дезертир. — Видно, не был ты в армии. Солдаты о таких вещах не говорят. Никогда. Как решили, так и будет! Слишком долго ты учился, рябой! Заучился.

— А ты вправду думаешь, так запросто они между собой поделили функции? Ведь ты же слышал, что сказал Величко о французах, когда встретились в первый раз. И это-то знаем только потому, что сказал. А что думал? Что не договорил? Ведь думать мог о чем угодно. О Бородине или о Севастополе. Даже о толстовском Карпушке, который подтрунил над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся; что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Или о царице Екатерине, которая писала о французском после: «Француз! А это для меня хуже собаки!»

— Пошел ты к черту! Болтаешь сам не знаешь что! Ведь Екатерина была немка!

— Пожалуйста, как хотите! Но помните! — кричал рябой, нескладный, как кривое дерево. — Если перестану, это не значит, что вы мне думать запретите. За мысли налог не берут. А по-вашему, о чем эти двое думали, когда встретились? Ну, Величко и Ланюрьен. Кто будет в тени, а кто на солнышке? Или богу молились? Вот видите, молчите.

— Язык твой — враг твой! — вздохнул дезертир. — Но за выдумки еще никого не вешали. Оставим это...

— Правда, давайте о чем-нибудь другом, — согласился рябой. Хуже будет, если немцы узнают, что мы здесь все перемешаны — словаки, русские, французы. Знаете, что пели их деды, гренадеры Фридриха:

Лишь только великий Фриц
Подкрутит ус,
От пушек его бежит
И русский и француз!

— Черт возьми! Кончай наконец с этим, рябой, и больше ни слова. Разойдись! Завтра Грушка вам покажет.

Не показал. Ни на строевых занятиях, ни на тренировке. И пулемет не разбирали, и не кричал ни на кого из-за нитки, замеченной на затворе винтовки: «Что это за тряпки? Из этого хотите в немцев стрелять?»

Потому что с самого утра они получили приказ выйти в Склабину, разгружать ящики с гранатами, которые привезли солдаты аж из Оремового Лаза. Потом вернулись за винтовками и пулеметами, привезенными из Попрада. А затем за армейским бельем, целый вагон которого пришел из Свита. Ну, стало, конечно, веселей. И столько работы, что не нашел даже времени зайти к крестному. Мама ведь выдана была замуж в Белую из Склабины, а дядя Павлович был его крестным.

В конце недели стало еще веселей. Командир приказал задать взбучку графу Ревайю из Штванички. Жил он, как пруссак во Франции, словно сыр в масле, любил говорить, что прикажет истребить эту партизанскую сволочь. Чтобы укротить его, дали о себе знать. «Одолжили» у него, кроме еды и одежды, семь коней да коляску, которые очень пригодились. Одного дали французскому

командиру. Когда вскочил на коня, сразу видно — гусар!

Ну а потом совсем было весело. Приказали им прочесать лес, искать парашюты и грузы, которые сбросили советские летчики. Случайно, а может быть, потому, что познакомился раньше, подключили его к французам. Вместе пробирались там, где лишь олени пасутся, по крутым склонам, через леса и кустарники, скалы и проломы, оборванные и промокшие от пота и родниковой воды, которой вместе утоляли жажду, но счастливые — ведь тащили такой ценный груз.

А вечером было самое веселое веселье. Готовили костры. Ожидали десант. Наносили хвои и веток, разложили огни. Они горели пламенем в форме русской буквы Г. Был август, падали звезды. Они пролетали по небу и скрывались во тьме, оставляя за собой мерцающие хвосты. Когда какая-нибудь летела долго или след оставляла очень ясный, слышал, как рядом вздыхали. «О! О!» — говорили словаки. «О! О!» — вздыхали русские. «О! О!» — восторгались французы этим маленьким чудом. Надо что-нибудь задумать, когда упадет следующая. Победим! Победим! Повторил, когда по небосводу снова протянулся длинный хвост. Победим!

В ту ночь, к их удивлению, десант не прилетел. А утром получили неожиданный приказ. Напасть на лесопилку в Туранах. Называлась «Объединенный лесопромысел», поставляла древесину для рейха, хозяйничали в ней немцы и предпринимали все, чтобы избавиться от партизанского сброда и бандитов, как их объявляло начальство. Охраняли Турец, следили за каждым шагом, рассылали агентов. Ходили по деревням и вынюхивали, в корчмах подпаивали, а потом заставляли рыскать, подкупали людей, чтобы те доносили, не один пытался выдать себя за партизана. Одного из таких отправили на тот свет уже в июне. Теперь, в начале августа, надо казнить гестаповца Вайса, которого схватили в Прибовцах. На сей раз готовили удар по всему гестаповскому гнезду и по их начальнику, этой бестии Ахбергеру. Молодой Гамза знал эту лесопилку, не раз ходил туда за лесом. Кровь ударила ему в голову, собственным гла-

зам не хотел верить, когда узнал, что его включили в отряд, отправляющийся с заданием в Тураны.

Не мог дождаться вечера. Трясся как в лихорадке. Быть лесным хлопцем! Он, Мило Гамза из Белой, становится Яношиком. Отправлялся теперь не грабить, а бить немцев. «Это за карты!» — ревновал рябой, который должен был остаться в лагере. Скорее за те бревна для французов, подумал Мило про себя, но промолчал.

Как только стемнело, двинулись в путь. Когда подошли к Вагу и переплывали реку на лодках, ему приказали остаться. Вот не повезло. Не будет вместе со всеми! Еще с двумя остался на страже. Но приказ есть приказ. Охраняли. Долго ждать не пришлось. Раздалось несколько глухих и слабых выстрелов, издалека долетали звуки, это могли быть и крики людей. Потом — отдаленный топот, который все приближался к воде, и вот наши уже здесь. Попрыгали в лодки. «Греби!» Мило начал грести. «На!» — кто-то совал ему в карман какие-то бумаги. «Возьми еще!» Надо было еще грести и грести, пока не показался берег. Тьму рассекали светлые конусы, вдали был слышен лай и крики, но партизан, как друзья, скрыли тьма и лес. Там сбросили мешки с плеч.

— Ну как? — с нетерпением спрашивали тех, что вернулись.

— Все на том свете! И Ахбергер. Рассчитались с ним. А здесь кое-что на радость. — И показали на мешки. Зажгли спичку. Открыли их. Самогон. Немецкий. Табак. Словацкий. А это? Не может быть! Пачки, свертки! Такие и иные, зеленые и коричневые. Деньги! Со столькими нулями! У Мило аж глаза на лоб вылезли.

«Там у них целый банк. Золотое дно!» Только тогда сунул руки в карманы. Пощупал бумажки. Никогда еще не держал столько тысяч в руке! Вскинул мешок на плечо и пошел дальше. Усталый, возбужденный, счастливый. Лесной хлопец! Яношик. Тот, что у богатых отбирал, а бедным раздавал.

Он провел бурную ночь. Снился ему Ахбергер, Мило преследовал гестаповцев, охранял лодку, носил тысячи мешками и лишь под утро уснул.

— Эй, соня! — расталкивал его рябой. — Вставай! Знаешь, сколько вы взяли из этой туранской кассы? Два миллиона! На всю жизнь хватит!

Первую половину дня ходил как во сне: он — один из героев дня. Хотел еще сбегать в Склабину к крестному, чтобы похвалиться и рассказать, как было в Туранах. Но ему не разрешили, так как уже готовилось то дело двоих. После обеда получили приказ — собраться всем, кто в Канторе.

Когда построились, им сообщили, что тех двоих, кого недавно приняли за чехов из протектората, которые якобы пришли в Словакию воевать против немцев, помощник повара поймал, когда они сыпали белый порошок в котел с супом.

Полевой суд из представителей подразделений единогласно приговорил их к расстрелу.

Вначале они не могли объяснить, как в их пальто оказались зашиты мешочки с белым порошком, который они собирались всыпать в котел. Позже, под тяжестью улик, после того, как настоящий чешский партизан их допросил, они сознались. Это были судетские немцы, посланные в Словакию под видом чешских беженцев. Туранский Ахбергер приказал им вытравить Кантор ядом, пообещав за это 25 тысяч крон.

Суд отклонил их просьбу о помиловании.

Вот почему сейчас в конце словацкого строя стоял дрожащий, смертельно бледный партизан Гамза.

Когда привели приговоренных, в лице его не было ни кровинки. Он закрыл глаза. Раздались выстрелы. Тупо, в пустоту, как будто не хотели издавать звук.

Эхо отразилось от скал. Волной пролетело над поляной. Лес проглотил его и не вернул. Все кончилось!

— Собаке собачья смерть! — пробормотал дезертир, когда возвращались.

— Ну, теперь началось, скоро будет весело, — добавил рябой.

«Совсем невеселое начало», — подумал про себя Гамза.

Рябой словно услышал, обратился к нему:

— Видел тебя, приятель. Плохо тебе было, да? Но что делать. Это война. Или мы их, или они нас. Если бы не мы их, то лежали бы уже мертвыми. Вытянувшись, холодные, полные мышьяка. Одно огромное прекрасное кладбище высоко в горах, в зеленом шуме, на свежем воздухе. Вот так-то, браток. Или они тебя, или ты их! Война!

Свобода

Фронт уже совсем близко.

По дорогам тянутся войска, в деревнях и лесах шныряют гитлеровские патрули.

Когда в сочельник вернулись с ужина, домашние сообщили:

— Приходили соседи. Говорят, здесь опять немцы рыскали. Завтра наверняка придут снова.

Пришлось опять уходить. На Катаринску Гуту, Малинец и Цинобаню, туда, где совсем близко к линии фронта возвышались заснеженные вершины — Хробоч, Град, Зубор, Разтоки.

Когда направлялись в горы, гул боев словно взывал: «Придите!»

Были нетерпеливы, возбуждены. Даже такой опытный воин, как Пилло, не скрывал волнения. Башковитый бретонец, он тридцать дней пробирался с Украины в Венгрию, еще сорок дней вытерпел в будапештской одиночке и не свихнулся, а теперь часами ожидал приближения фронта.

Но капитан решил: лучше выжидать здесь, в горах, чем идти в неизвестное, искать проход через нейтральную полосу, рисковать жизнями.

По дорогам, дорожкам и даже горным тропкам отступали первые ты-

ловые части, чаще всего это были пока венгры. В новогоднюю ночь патруль привел лесоруба из недалекого горного поселка. Едва переводил дыхание, сердце словно барабан.

— В соседней долине двадцать венгерских солдат ночуют в горной хате.

Французы сразу отправились туда. Окружили дом. Удивленные венгры без слов сложили оружие.

В небе все чаще и чаще появлялись краснозвездные истребители. Их ожидали с нетерпением и восторгом. Они уничтожали немецкие обозы.

Снова пришло сообщение от учителя из Млак. Раненые стали уже поправляться; но их пришлось отвезти на санях из школы, ибо предполагалось, что в ней разместятся немцы. Спрятал их в лесу. Санки с Даннэ тащил вместе с сыном и Бронзини. Уложили его на койке в землянке, учитель поставил там печку и каждый день приносил еду. Он говорил, что до подхода фронта Даннэ выдержит, но потом его необходимо отвезти в больницу.

Фронт и в самом деле совсем близко.

Целыми днями смотрели в южном направлении. Ночную тьму разрывали вспышки выстрелов, вдалеке полыхало зарево.

Приближалась свобода.

Горы и леса гудели от артиллерийской стрельбы. Оглушающие взрывы сотрясали воздух. Пробегал мороз по коже, захватывало дыхание.

— «Катюши»? Орга́ны Сталина! Я о них слышал! — убеждал Ардитти. — Куда стрельнут — ничего живого.

Прибежали люди из Катаринской Гуты, Цинобани, Котмановой. На спинах тащили, что успели схватить. В глазах страх.

— Всюду полно немцев, — говорят, — приказывают рыть окопы, строить заграждения.

Ночью подул южный ветер, издалека слышны были слабые, совсем слабые звуки пулеметов и автоматов. Видны были и ракеты — зеленые, красные и белые. Они поднимались над линией фронта, словно фейерверк. Небосвод пылал от далеких пожаров. Долины наполнились ревом моторов.

В горы вступали венгры. Стоило французам направить на них автоматы — они поднимали руки вверх, сдавали оружие, офицеры — пистолеты. За один день взяли в плен триста человек, а конца им не было.

За венграми удирали в горы немцы. Красная Армия стремительно наступала, и они спешили укрыться от нее в горах и лесах.

Наткнулись на них сразу после операции с венграми. Тачич дал очередь из автомата. За ним капитан, а потом остальные. Немецкие шапки и каски исчезли: солдаты спустились вниз. Девяносто три немца, сообщили позже те, кто их видел.

Возвращались французы. Уставшие, нетерпеливые, мечтавшие о встрече с охранявшими дома́. Они проваливались в снег, сгибались под тяжестью оружия. Вдруг из ельника вышел крестьянин, а с ним четверо странно одетых парней. Чуть не сцепились, направив друг на друга автоматы.

— Нет, нет! — прыгнул между ними этот крестьянин. — Ради бога, нет!

Остановились друг против друга. Испуганные, готовые ко всему, напряжен каждый мускул.

— Не стрелять! Нет! Нет! Французы! — закричал тот словак в национальной одежде, раскинув руки, как грабли. Пальцем он показывал на худых, обросших, оборванных парней с винтовками в руках — не солдат и не гражданских.

Потом повернулся на пятке и показал рукой на тех, что были в телогрейках и ушанках с красными звездами.

— Боже! Неужели это они? Неужели те, которых так ждали, не могли дождаться? В самом деле они? Да! Это они! Они! Свобода!

Сделали шаг вперед. Потом побежали им навстречу. Падали в снег, спотыкались, снова вставали, в глазах восторг.

Ведь тот капитан, лейтенант, два солдата и другие, что шли за ними с пулеметами, автоматами, вещмешками, и так откровенно удивлялись: «Французы? Смотрите, французы!» — в самом деле означали свободу.

Настоящую, счастливую свободу с того памятного дня 20 января 1945 года.

И возвращение домой.





Братья

Конец октября приносил одни дурные вести. Части танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» вторглись на повстанческую территорию из Венгрии. В Низкие Татры пробивается отборная бронетанковая дивизия «Хорст Вессель». От Ружомберока наступает бригада «Дирлевангер», дивизия «Татра» фронтально растянулась по всей западной линии, а группа «Шиль» рвется к Зволену.

Стальная стена немецких орудий неумолимо окружает горы. Еще, может быть, несколько дней, неделя, от силы две или месяц — и повстанцев оттеснят под самые хребты.

«Выше! Потом еще выше! Докуда же?» — спросил себя капитан Бела. Он думал о голодных, плохо одетых, больных людях, измученных гнойными нарывами и поносами. Горсть патронов, винтовка или автомат, проклятый дождь, грязь, хлесткий ветер, надвигающиеся холода. И восемь немецких дивизий по пятам!

Он невнятно выругался.

Эту тихую брань Метод Галагия воспринял как укор, что они слишком долго плетутся. Он

удлинил и убыстрил шаг — при его небольшой, коренастой фигуре это было удивительно.

Еще немного, сказал он торопливо.

Вот они и у замка. Галагия взбежал по лестнице, быстро пересек правое крыло. Капитан следовал за ним чуть медленнее.

Здесь, капитан, сказал Метод в конце коридора и первым вошел в комнату. Поверх гражданской одежды накинута плащ-палатка, подпоясанная толстой веревкой, захватанной и намокшей. Ее концы болтались у передков болотных сапог. Притворив высокую белую дверь с золотым и светло-зеленым орнаментом, он обернулся к офицеру в форме без знаков различия, молча кивнул головой к противоположной стене и, только удостоверившись, что капитан понял, шепнул значительнее, чем требовалось:

Вон он. Тот бородатый. Над ним висит автомат. Видишь?

Довольный тем, что выполнил задание, он перевел дух и даже улыбнулся.

Капитан Бела посмотрел внимательнее. Так вот он какой, подумал. Поскреб переносицу, потом глянул на ноготь. Сухие комочки грязи его не удивили.

В просторной комнате отдыхало человек двадцать, а то и двадцать пять, но не больше. Они спали либо неподвижно лежали, растянувшись на бесформенных соломенных тюфяках. Все — одетые. Бородатый тоже. Капитан готов был поклясться, что он единственный с самого начала зорко за ними следит.

Так, говоришь, не пойдет?

Я не говорил, что не пойдет. Я сказал, сдается мне, что не пойдет, возразил Метод Галагия и продолжал: Я сказал, что у него есть причины не ходить, но я не утверждал, что он не пойдет. В конце концов, откуда мне знать, пойдет он или не пойдет.

В душе он был уверен, что Винцо Грнко ни за что не пойдет. Ведь он-то знает его. Грнко и солдаты. Еще чего!

Атмосфера в комнате была прямо-таки леденящей. Капитан оценил ее такими словами:

Да, невесело тут у вас.

Услыхал его один Галагия: капитаново замечание было тихим, проворчал он его скорей про себя, как бы в отместку за все те хвастливые речи, какими партизаны этого отряда под влиянием Грнко потчевали его сол-

дат. Правда, сейчас никому не до песен. Ни солдатам, ни партизанам. И знаменитое бруменд* все реже слыхать.

Мрачное настроение рождало в нем такие же мрачные мысли. Повсюду такое уныние, что немцы того и гляди заявятся в горы свежевыбритыми, им не придется даже перебриваться для торжественного банкета в честь победы. SS-Obersturmbannführer Витиска, новый Befehlshaber der Sichercheitspolizei und des SD der Slowakei ** не успеет и обогреться как следует в своей братиславской резиденции на Палисадах, 42, как на груди у него прибавится еще один Железный крест. И не только у него. Несомненно, и у генерала Хёффла, нового командующего немецкими войсками в Словакии. Потому что теперь все новое. В том числе с сентября и «людацкое» правительство ***. Однако, сказал командир партизанской бригады, все это доказывает, что они нас боятся. Понимаете? Они нас боятся! В противном случае не перепрягали бы лошадей на подъеме!

Наметанный глаз был у командира бригады. И впрямь наметанный. Три месяца назад люди были преданы делу, но неопытны. К тому же чересчур говорливы. Теперь они молчаливы, замкнуты, зато тем опаснее для врага. В особенности когда знают, что худшее впереди. А они это знают.

Они готовы ко всему, сказал Метод Галагия.

Капитан тут же поднял брови — подумал кое-что о чтении чужих мыслей.

Только Винцо все равно не пойдет, заключил Метод.

Он опустил голову, глаза его погрустнели.

Ты же сказал, что не утверждаешь этого.

Ну, сказал. А теперь и утверждаю. Винцо не пойдет.

Значит...

Ничего это не значит, начал Метод, но запнулся, схватился за бедро, потом за плечо — будто из гнезда выпал. А если и значит, сказал он, то только то, что теперь у нас ото всего мурашки по телу. Меня бросает в жар и мутит.

Эх, убили, убили, двух парней без вины...

Песенка взметнулась в трех шагах от них. Голос при-

---

* Тихое пение без слов.

** Начальник полиции и СД (служба безопасности) в Словакии (нем.).

*** Клерикально-фашистское правительство так называемого «Словацкого государства».

надлежал человеку с бледным лицом. Он сидел, привалившись к стене, из-под одеяла торчала одна голова. Он глядел на них и пел низким, усталым голосом:

Эх, двух парней без вины... Одного звали Капустой...

Мог бы найти и более подходящую, то есть более веселую, сказал капитан и чуть погодя добавил: Впрочем, и на том спасибо.

Галагия дернул плечом:

В мыслях у нас одни свежие могилы, капитан. Имена на них нам до невозможности дороги. А память, сами знаете, лучше всего развязывает язык, чему же вы удивляетесь.

Он то выкал ему, то тыкал. Они знали друг друга недавно.

Капитан перестал слушать песню. Он перенес внимание на гладкую гипсовую стену с бараньей головой, тоже гипсовой. И заставил себя сосредоточиться на этом, потому что разглядеть лицо бородатого ему хотелось позднее. Позднее, когда подойдет к нему совсем близко.

Предыдущие два часа он провел в поисках подходящего проводника. Выбор пал на этого человека. Наговорили ему о нем самое разное. Хорошо еще — не изобразили головорезом. Сказали, что он упрям, неуступчив. И еще добавили очень неприятный, но важный факт: этот партизан более всего не жалует военных. Попросту говоря, их ненавидит. Еще сказали ему... Э, чего только не наговорили! И все-таки сошлись в одном: самый подходящий. Капитан подумал и остановился на нем. Ведь у него неоспоримое преимущество перед другими: он знает этот край как свои пять пальцев. До недавнего времени работал тут лесорубом.

Пол скрипел. В просторной продолговатой комнате было холодно. Вдобавок сквозило. Только в двух окнах стекла были целы, и то лишь во внутренних рамах. Остальные — заколочены досками. Промеж уцелевших окон, на коротких крепких рогах, висит русский автомат. Не дотянуться до него и самому высокому парню — гипсовая лепка со знаками зодиака в двух с половиной — трех метрах от пола. В замке высокие стены, когда-то они были доверху увешаны охотничьими трофеями. Остались от них только светлые пятна с темными пыльными очертаниями. Знаки зодиака снять не удалось. И хорошо: у Винцо Грнко есть где повесить автомат. Вешает он его с помощью короткой сучковатой

палки — она неизменно при нем. Грнко говаривал: хороша в рукопашном бою, сгодится как опора, как вертел, поклажу на ней удобно носить, при переходах через брод незаменима, ну просто — будь душа у нее — лучшего друга не придумаешь.

И об этом ему рассказали.

Винцо Грнко ждал их неподвижно, даже головы не поднял. В щелки меж припухшими веками увидел наконец две пары ног. Одна ему знакома. Английские болотные сапоги тут носит единственный человек — он стащил их с ног графского слуги Мачуги. Только этот Мачуга и остался в замке от прежней роскоши. К сокровищам его не причислили.

Вот капитан хочет потолковать с тобой, Винцо, опасливо начал Галагия.

Грнко и теперь не поднял головы:

Доктор?

Будто топором рубанул.

Нет, ответил капитан, я не доктор.

Грнко открыл глаза пошире, смерил офицера взглядом. Они смотрели друг на друга. Смотрели молча. Смотрели в упор, при этом надо заметить, что у Грнко было явное преимущество: он видел квадратный, ровно поделенный ямкой подбородок, выступающие скулы, короткий нос с большими ноздрями — из них торчали волоски, усталые глаза, почти сросшиеся брови, густые и черные; правая щека и лоб были обрызганы грязью, подсохнув, она осыпалась вдоль морщин и оставила коричневатые пятна, отчего половина лица сильно напоминала индюшечье яйцо. Капитану же пришлось довольствоваться только глазами Грнко: все лицо его тонуло в черной бороде, чуть тронутой сединой, а лоб и виски были по самые брови прикрыты слипшимися волосами.

Значит, не вы его оперировали.

Нет.

В глазах партизана мелькнуло облегчение и тут же пропало — взгляд не изменился, остался твердым.

Стало быть, вы пришли по другой причине?

Капитан собрался было объяснить, зачем пришел, но Грнко опередил его:

Вы пришли сказать, что все в порядке.

На этот раз капитан уже не пытался ничего объяснять. Его глубокий вздох, вероятно, испугал бородача, ибо он сказал:

А, вот оно что. Вы пришли сказать, что он умер.

Ни то, ни другое, ответил капитан. Я не доктор, никого не оперировал, не имею даже представления, о чем ты меня спрашиваешь. Я пришел совершенно по другому делу.

Он был рад, что вступление позади, и, торопясь както наладить отношения, сказал:

Почему ты мне выкаешь? В нашем отряде называют друг друга на «ты». Ведь мы с тобой из одного отряда.

В ответ ни звука.

Метод Галагия чувствовал себя хуже некуда и, чтобы прервать неловкое молчание, представил офицера:

Пан капитан из другой половины отряда. Пан капитан командует солдатами. Ты же знаешь, Винцо, с той поры, как мы объединились, все равно, что они, что мы. Он пришел просить помощи...

Меня занимает только одно, глухо сказал Грнко, и ты очень хорошо знаешь, что это занимает меня больше всего на свете.

У него дрожали губы. Лихорадка на нижней губе стала сочиться, он прижал ее запястьем правой руки, потом посмотрел на запястье. Несколько раз повторил это движение. Напротив кто-то с присвистом захрапел, и тут же рядом кто-то стал пощелкивать языком.

Они подождали.

Винцова брата ранило, обернулся Метод Галагия к капитану. Винцов брат тут, с нами. Из последнего боя пришел с целой горстью свинца в груди. Вскорости его должен оперировать врач из бригадного госпиталя.

Галагия взглянул на часы, слегка повернул их — блеснуло стекло — и снова вложил в маленький кармашек на брюках.

Скоро три, сказал он, должно быть, как раз оперируют, потому что за доктором отправились в тринадцать, а дорога занимает час. Час туда, час обратно.

Прости, участливо сказал капитан, не знал я.

Он рассердился, что Галагия и остальные не предупредили его.

Грнко поднялся, он был примерно одного с капитаном роста, только плотнее. Выдернул из-за голенища газету, клочок от нее оторвал — немалый, почти с ладонь. Скрутил козью ножку, насыпал мелкого табаку и прикурил. Остаток газеты сложил, сунул за голенище и сказал:

Мне бы надо представиться, чтобы не вышло ошибки.
Он в упор взглянул на Галагию.
Болтают обо мне всякое, а у меня свое понятие о людях. Живу я без робости, надежно, говорю всем что думаю. Мне не надо ломать голову да вспоминать, что говорил вчера.
Он опять покосился на Галагию, поэтому капитан решил вступиться за него:
Я попросил его проводить меня к тебе, он меня и привел. Вот и все.
Ладно, сказал Грнко.
И следом:
Не люблю я солдат. Учились всему, а воевать не научились.
Затянувшись, он медленно выпускал едкий дым через ноздри и уголки губ. Зеленовато-серый дым запутался в бороде, впитался в нее, потом стал просачиваться наружу — казалось, борода где-то исподнизу тлеет.
Я обязан был вам это сказать, чтобы с самого начала все между нами было ясно.
Он по-прежнему упорно выкал ему.
Винцо...
Тебя не спрашивают, Метод. Если разобраться, ты мужик неплохой, но лучше заткнись. В твоих советах я не нуждаюсь.
Он ногой поправил тюфяк, сучковатой палкой снял автомат и сказал:
Ребята спят. С немецким транспортом здорово пришлось повозиться. Воротились мы только к полудню, хлопцы вдосталь хлебнули. Не надо тревожить их, они умаялись как лошади. Ежели вам от меня что надо, выйдем наружу.
Капитан и Метод сочли это успехом.
Перед охотничьим замком тянулись к небу недавно пересаженные трех-, четырехметровые ели и сосны, крышу замка прикрыли еловыми ветками, к стенам прислонили срубленные деревья — всюду маскировка. По склону позади замка вырыты землянки. Лагерь раскинулся до самого леса. На ближнем пригорке намек на противовоздушную оборону — станковый пулемет на высокой подставке.
Как видите, сказал Грнко, ни одного фургона.
Эти слова вызвали еще один недоумевающий взгляд, капитан Бела не мог понять, куда он клонит.

Что ты этим хочешь сказать, Винцо? — спросил Галагия и про себя подумал: Этот всегда устроит потеху — такую, когда не играют, не танцуют, не поют и о веселье вовсе не помышляют...

Заткнись, оборвал его Грнко и, высморкавшись, продолжал: Говорят, кое-кто из господ офицеров пожаловал на восстание с целым фургоном добра.

Ах, вот что, вырвалось у капитана. Он понял, на что намекает Грнко: слух о большом фургоне, в котором один генерал перевез мебель и ценности из Банска-Бистрицы в Доновалы *, быстро разнесся повсюду. Кабы с такой скоростью передавались приказы, подумал капитан. Но что поделаешь. Он был бы рад о многом рассказать бородачу: ну хотя бы об успешных до сих пор операциях регулярных частей в восстании, и об отрицательном влиянии официальной «людацкой» пропаганды на ребят в форме, и о том, как мало коммунистов в армии и, главное, среди офицеров, — в общем, о многом, но времени было в обрез, да и Грнко его все равно бы не понял, потому что не захотел бы понять.

Тут произошло неожиданное: издали долетел грозный гул.

Оба невольно взглянули на небо, да так и застыли, напрягая слух. Капитан встревожился больше. Отношение партизана к армии перестало его занимать, голова была полна одним: он должен выполнить приказ командира бригады.

Двухмоторный «Хейнкель-111», сказал он значительно и стиснул зубы. Чуть погодя продолжал: Пузатый, как черепаха, и несет в себе лавину смерти. Кто пережил бомбежку, дружище, тот знает, что это такое. Дождь осколков, воздушной волной разорванные легкие, искалеченные тела, фонтаны земли и камней, перемешанных с деревом, опаляющий воздух, кровь, боль. Смерть! Бомбежка — это свинство, равного которому нет. А они бомбят наших. Наших! Таких, как ты, как Галагия, я, как мы все.

Услыхав про самолет, Галагия с явной опаской уставился в небо, рука на губах, должно быть, зажала выкрик. Она дрожала. На щеках выступили белые и лиловые пятна. Мысль о такой смерти погнала всю кровь его в грудь, сердце не могло с нею справиться. Гала-

* Банска-Бистрица — центр Словацкого национального восстания. Доновалы — горное село, куда в октябре 1944 года был перенесен штаб восстания.

гию затрясло. И не из страха перед смертью. Смерти он не боялся. Но самолеты в расчет не принимал. И о такой смерти не думал. Круто повернувшись, он уставился на единственную противовоздушную огневую точку, какая имелась у них, — пехотный пулемет. Голова раскалывалась от боли, до того острой, что он перестал ее чувствовать. Он пришел в ярость: один станковый пулемет, да и тот прикрыт еловыми ветками. Чем занят расчет? Чем заняты остальные? Почему не объявлена тревога? Галагия схватился за сердце. Не услышал его, не почувствовал. Впрочем, он вообще уже ничего не чувствовал — стоял как вкопанный, как окаменелый. Это уже будет не бой! Это будет бойня! Великий боже, настоящая бойня!

Винцо Грнко презрительно на него посмотрел и сплюнул. Затянулся слюнявой самокруткой так сильно, что она вспыхнула пламенем. Он притушил его рукой и стал неторопливо рассказывать о чьей-то жизни и чьих-то мытарствах. Изредка носком сапога ударял по камням у дороги и отшвыривал их вместе с глиной неподалеку в траву. Вдруг Винцо сказал:

Сколько всего просеялось через мои сорок лет. Сколько всего, и ничего хорошего.

Разве только то.... — не упустил случая капитан, чтобы как-то утешить его и в то же время заинтересовать приказом, но Грнко не дал ему договорить:

Нас было четверо. Старший погиб в концентрационном лагере, младший борется со смертью.

Он сказал это так, будто внутренне был непричастен к тому, что сейчас происходило довольно далеко от них, но все же не так далеко, чтобы не касаться и их.

Вдруг кто-то впился ему в локоть — будто буравил когтями. Он дернул руку, высвобождая ее, и увидел искаженное лицо Галагии. Запрокинув голову, тот хотел что-то крикнуть, но не мог выдавить ни звука. Наконец это ему удалось, хотя крик его скорей походил на мяукание:

Вот он! Вижу!

Капитан тоже заметил самолет, прикинул расстояние и сказал:

Далеко еще.

Метод Галагия был не бог весть каким смекалистым парнем, но прилив страха подсказал ему самое правильное, по его мнению, решение. Он закричал:

В лес, врассыпную!

Грнко покосился на него, высвободил наконец руку и крепче ухватил свою сучковатую палку. Совершая эти скупые движения, он угрожающе прошипел Галагии:

Шевельнешься, убью.

Галагия не шевельнулся. На лбу и висках набрякли синие жилы — это было все, на что его хватило. И еще: от корней волос побежали тонкие струйки пота, будто между слипшимися волосами под сдвинутой на затылок ушанкой был родничок, вздумавший как раз в эту минуту доставлять ему неприятности.

С тебя станет: плюнуть на раненых и беспомощных и спасаться бегством. Ты и на такое горазд, выговаривал ему Грнко.

Капитан следил за бомбардировщиком — летел он сравнительно низко и чуть в стороне от них.

Порожний, решил капитан, это, должно быть, тот самый, что лютовал в Старой долине.

«Хейнкель»? — спросил Галагия.

«Хейнкель», подтвердил капитан, но этот нам неопасен. По крайней мере сейчас.

Грнко ухмыльнулся и насмешливо повторил:

По крайней мере сейчас.

Он отвернулся от Галагии. И, нахмурившись, сказал:

Хорошенькое утешение — «по крайней мере сейчас». Кому нужно такое утешение, пан капитан? К счастью, мы ваши офицерские утешения опередили, потому как учли и эту возможность. Эту и прочие. Я сказал — опередили, точнее было бы сказать — мы без них обойдемся: как сделал Егоров *, кажется, на Прашивой, так сделали и мы. Замок — это одно, землянки с продуктовыми складами выше в горах — другое. Мы их на всякий случай построили. Мы, конечно!

Рослый командир в офицерской форме постарел на глазах. Он как бы вдруг осознал размеры пропасти, через которую ему пока не удается перекинуть мост. Он сказал себе:

Ведь я еще толком даже не начал. И тут же подумал: Зачем? Это все равно ни к чему. Он ненавидит нас сильнее, чем я полагал.

Из кармана гимнастерки капитан достал облезлый металлический портсигар, раскрыл его — под золотистыми резиночками надписью вверх, аккуратным рядком

---

*А. С. Егоров — Герой Советского Союза, командир партизанской бригады, действовавшей на территории Словакии.

лежали «Голубые Татры». Он поглядел на них, вытащил крайнюю, послюнявил ее, еще поглядел, послюнявил с другой стороны, кончиком постучал о крышку портсигара, прилепил сигарету к нижней губе, портсигар сунул в карман и тут же вытащил спички. Сложив ладони ковшиком, прикурил. Дым от «Татры» был голубым, будто летнее небо. И приятно пах. Капитан этого явно не замечал — казалось, курит он бессознательно, автоматически, как курят только страстные курильщики. Но он не принадлежал к их числу. Непривычную рассеянность, которую он силился преодолеть, вызывали неотвязные мысли, ранившие его офицерскую гордость. Он пытался прояснить их для себя, ибо они завели его в тупик — он бился о непреодолимое препятствие. Им была ненависть. Им был эгоизм. Грнкова ненависть, Грнков эгоизм. Он сказал себе: Всем нелегко. Всем. У каждого свое пламя, которое испепеляет его, а источник пламени здесь совершенно неважен. Одно все же ясно: каждый лучше чувствует собственную боль, она, разумеется, больнее всего. Сможем ли мы быть другими? Надо бы! Существует ведь что-то и помимо нас, над нами и впереди нас, к чему мы причастны каждый в отдельности и каждый своим особым, возможно, неповторимым образом, но именно тут-то и проходит та разделяющая нас черта, от которой начинается формирование не только мышления, но и поступков. Нами движет некая сила, заставляя держаться за жизнь вопреки страданию, горю, боли и, скажем, даже отчаянию. Была бы эта сила столь действенна, если бы не стояла над нами, как путеводная звезда? Могли бы мы тогда жить? Были бы сейчас тут? Эти мысли капитан не в силах был отогнать, он допустил их, ибо они помогали ему найти точку опоры. Ему любопытно было услышать ответ Грнко на вопрос:

Скажи, почему ты взялся за оружие?

Винцо расставил ноги и привычным движением стал расстегивать прореху. Это было отвратительно, гадко. Он отвернулся, но все равно было противно. Что ж, он оттягивал время как мог. Вопрос капитана его огорошил — в голове пронеслась уйма ответов. Стоя спиной, он выбрал такой:

Чтобы мне стало лучше.

Ответ устроил его, и он повторил его уже капитану в лицо.

Чтобы тебе стало лучше? — спросил капитан.

Да.

Ну что ж. Тебе так тебе. Ни отцу, ни матери, ни раненому брату, ни младшему. Только тебе.

Только мне, упрямо подтвердил Грнко. И с угрозой в голосе добавил: Родителей не поминай, они на том свете. Брата оставь в покое, потому что он с нами. Тут. Младший — сопляк, мог бы — тоже пришел бы, но раненого не касайся.

Он вдруг перешел на «ты». Капитан заметил это и счел дальнейшим успехом, хотя был не очень-то в этом уверен.

Отчего же тебя так мучит боль брата, Винцо? Тебя-то она не касается, это его боль. Его.

Молчание.

Капитан не отступал.

Или я ошибаюсь? Он сделал вид, что ответ ему безразличен; на самом же деле ему очень хотелось услышать его, но он боялся, что припертый к стенке, растерянный Грнко обидится и уйдет. Поэтому капитан, решив облегчить его положение, спросил:

Что, если надежды твои не сбудутся и лучшего ты не дождешься?

Грнко бился еще над первым вопросом — второй не сразу дошел до него. И мысль его неотступно возвращалась к раненому брату. Опустив голову, он смотрел на ямку под ногами, сапогом нагреб в нее земли, потом стал на нее, будто этим хотел дать понять, что он снова хозяин своих решений. До сих пор было просто. Без всяких сложностей. Хотел жить, надо было работать. И баста. Какие там решения? Но этот тип с бело-сине-красной кокардой на бригадирке * не дает ему передохнуть.

И такое может случиться, капитан, и такое, ответил Грнко. Но тогда мне некого будет винить. Скажу себе: чего хотел, то и получил. На первый взгляд просто. На первый взгляд. Потому как между тем, что было, и тем, что будет, — великая разница. К тому, что было, я вовсе не стремился, того я не хотел.

До сих пор молчавший Метод Галагия недовольно произнес:

Одна болтовня.

Капитан не согласился.

Галагия сказал:

---

* Военная фуражка.

Не пойдет он. Ну что, угадал я? Ясное дело, не пойдет.

Тем самым он решительно положил конец разговору и стал торопливо потирать руки — это не только напомнило капитану о прибывающем холоде, который все злее добирался и до его тела сквозь скудную одежду, но и подсказало ему, что пора кончать этот пустой разговор — в нем не было проку. Грнко упрям, что баран над его тюфяком, и такой же бесчувственный, и вообще — невозможный.

Мыслимое ли дело, чтобы среди стольких людей не нашелся другой, кто знал бы этот край, кто знал бы особенно те места? И Галагия ткнул большим пальцем через плечо.

Грнко следил за пальцем Галагии. Палец вдруг оказался на груди, Галагия стучал им по плащ-палатке и говорил:

Найдем — хорошо, не найдем — тоже хорошо. Я пойду первым.

Что он — серьезно или только хочет раззадорить Грнко? — думал капитан и без усилия вспомнил, каким был этот Галагия минуту назад, когда над ними пролетал «хейнкель». Но капитан тут же выкинул его из головы. Коснувшись плеча Грнко, сказал:

Говорят, там пещеры и подземные русла. И еще говорят, что если кто их и знает, так только ты, Винцо. Только ты.

Взгляд Грнко сделался вдруг растерянным, и злоба была в нем. Вложил он ее и в резкий взмах руки, от которого дернулось тело.

Ну, выкладывайте, куда я должен идти и что вам от меня надо. А то откуда мне это знать — из пальца, что ли, высосать?

Капитан понял, что предложение Галагии раззадорило Грнко. Так вот он какой! Честолюбивый... Это уж точно, но что до этого «высосать из пальца», он прав, подумал капитан, и потому почти виновато, спокойным голосом извинился:

В самом деле, ведь я тебе до сих пор ничего не сказал.

Он все медлил; отошел к низкому можжевельнику, постоял там, повернувшись боком, долго смотрел в направлении долины, даже сделал несколько шагов, шагов пять, не больше. Видно было уже не так, как полчаса назад, вместе с холодом быстро сгущались су-

мерки, и этими несколькими шагами он, верно, хотел как бы сократить расстояние. Да, вот самое главное! Эта долина притягивала его. Долина и задание. Он быстро воротился к Винцо и сказал:

По донесению разведки, в Старой долине сосредоточилось около тысячи наших солдат...

Слова-то какие — «сосредоточилось»! — насмешливо сказал Грнко, что-то еще заворчал себе под нос, да вдруг осекся — капитан Бела, вытянувшись по стойке «смирно», взревел командирским тоном:

Дисциплина касается тебя точно так же, как и других! Ясно?

Грнко передернуло.

Капитан прикурил еще одну сигарету и продолжал уже более спокойно:

Так вот, тысячу, а то и больше наших солдат фашисты согнали в Старую долину, окруженную войсками Хёффле. И ликвидируют их. Они избрали самый зверский способ: с сегодняшнего дня, точнее, с сегодняшнего утра бомбят их регулярно через каждые три часа. Используют всего один «Хейнкель-111», больше для этой цели у них, вероятно, самолетов нет. Может, один и тот же «хейнкель» используют умышленно. Может, и такие длительные интервалы тоже умышленны. С бомбами они сбрасывают листовки с призывом сдаваться. Обещают солдатам беспрепятственное возвращение домой. Вот и представь, какая там обстановка. Речь идет о том, чтобы этой ночью мы попытались вывести наших из долины. Пробиться к ним нам не удается, для прорыва у нас нет ни людей, ни огневой силы. Попытки солдат вырваться из долины провалились — слишком очевидный маневр. Они внизу, немцы над ними. Лишь нескольким удалось прорваться, двое из них у нас в штабе. Теперь ты знаешь все.

Он судорожно затянулся.

Ты из этих краев, тебе знакомы каждый овражек, тропка, скала, дерево. Говорят — даже подземные ходы между пещерами.

В руках у него появилась карта местности, он разостлал ее на земле, ткнул в одну точку и сказал:

Речка теряется вот здесь.

Он провел пальцем по путанице зеленых пятен разных оттенков и множества линий, значение которых Грнко не понимал.

Она пробивается вот здесь, видишь, совсем на дру-

гом склоне, в другой долине. Тут Яловянка, он показал пальцем, и тут Яловянка, он передвинул палец несколько дальше и продолжал, глядя на Грнко. А что между? Что между этими двумя точками? Высота 1109, возвышенность шириной по меньшей мере в восемьсот-девятьсот метров.

Он снова глубоко затянулся, дым выпустил на карту, откуда тот сполз в сырую траву. Затем капитан встал, сложил карту и спрятал ее в планшет. Выплюнув окурок, раздавил его носком сапога.

Теперь очередь за тобой. Мы надеемся на тебя. Солдаты в Старой долине тебя ждут. Их жизнь в твоих руках. Отбери ребят — отделение или взвод — и иди.

Галагия глядел на обоих, Грнко — ни на кого. Он теребил густую бороду, смотрел в землю, на карту, в пространство. Минуту спустя поглядел в карие глаза капитана. И начал:

Антон, это мой старший брат, погиб в концлагере. У него худая малокровная жена и семеро ребятишек, у которых, как назло, нормальные человеческие животы. Жена и дети осиротели. Это начало. У Рудо — четверо. Рудо тот, который был с нами и теперь лежит там — он кивнул головой в сторону замка. Это продолжение.

Грнко глубоко вздохнул.

И еще я. Тоже с четырьмя. Четверо своих, семеро Антоновых, всего одиннадцать. Похоже, что нынче их станет пятнадцать. Дело серьезное. Посерьезнее, чем, наверно, вы думаете. Для меня, конечно.

В голове у него пронеслось множество мыслей, только выразить словами он их не мог, поэтому сказал:

Вернусь домой, так, пожалуй, буду жив. Бог знает. Останусь тут, может, погибну, может, и нет. А пойду туда, в Старую долину, — надежды на возвращение почти никакой, это как кинуть камнем в летящего воробья — вряд ли в него попадешь. Вот какая надежда. Смешная.

Опять вздох.

Кое-что я могу взвесить, сказал он, настолько еще ума мне хватает.

Вмешался Метод Галагия:

Я же говорил, что не пойдет.

Бедняга капитан. Он был в незавидном положении. Думал — придет и прикажет. Его сбил с толку Галагия, который знал Грнко и знал, о чем речь. Но постепен-

но Галагия пришел к выводу, что Винцо откажет. Как он пришел к такому выводу? Да так же, как и капитан, когда узнал все обстоятельства. Только ведь Метод Галагия — рядовой боец. Звучит это пусть глупо и, пожалуй, не совсем точно, но рядовым он останется и в том случае, если найдется десять, а то и все сто более подходящих выражений. Командир есть командир. На нем не только звездочки, но и вся тяжесть ответственности. Ну, если даже не вся, то основная часть — несомненно. Что же теперь? Я командир, я обязан решить. Решить — значит принять во внимание каждую мелочь, ничего не упустить, найти наилучшее решение, отдать приказ. Итак, еще раз и все по порядку, сказал он себе и снова повторил задание, полученное от командира бригады. Взвесил возможные и непредусмотренные варианты. Он был кадровым офицером, на случайность не полагался, хотя где-то в подсознании верил в нее. Верил и опасался ее, ибо в бою случайность редко когда облегчает дело. Обычно она застигает врасплох. Именно это и есть самое страшное, ибо в бою человек, действует ли он в одиночку или в составе боевого подразделения, подобен заведенной машине. Он идет. Он исполняет приказ. Голова у него занята только тем, что он должен выполнить. Разумеется, он при этом и думает. А как же не думать, когда самые непредвиденные опасности грозят его жизни и он должен защититься от них. Иной раз силы его на исходе, он просто изнемогает, он при последнем издыхании... Тогда его ободряет товарищ или самое обычное воспоминание: о матери, о сыне, о девушке или даже о ручье близ родного дома, где полощутся гуси. И силы чудом возвращаются. Мгновенно. Хуже с мыслями — в такие минуты они мешают, носятся в голове и докучают, точно вороны. Отчаянное чувство безнадежности, пассивная покорность судьбе, безысходное уныние. Налетят — и нет человека. Как с этим Винцо Грнко. В самый неподходящий момент. Едва он допустил мысль, что раненый брат, по всей вероятности, не выживет, в нем проснулось чувство ответственности за семью — ни о чем другом он не думает. Предчувствие гибели брата так его оглушило, что он совсем потерялся. Стоит, глаза зажмурены, суставы сжатых пальцев побелели — видать, перемогает что-то в себе. Что? Что же окажется сильнее? Что возьмет верх? Капитану захотелось помочь ему, он сказал:

Понимаю тебя, Винцо. Могу войти в твое положение, товарищ. И все-таки подумай, нигде ведь не написано, что ты не вернешься. И если брату врач не поможет, то не поможешь и ты. Напрасно терзаешь себя. Конечно, я знаю, что скажешь: что ты ему брат, берешь ответственность за его семью, жену, детей, все так, ты прав, но там, Винцо, там, может быть, тысяча отцов, тысяча братьев, тысяча сыновей, после них останется тысяча, а то и несколько тысяч сирот...

На чувствах играете, загремел Грнко, это мне ни к чему!

Не глядя ни на кого, он повернулся и, по-стариковски опираясь на свою сучковатую палку, собрался было уйти.

Решение Грнко взбесило капитана Белу. В нем настойчиво заговорило чувство долга — оно, верно, перекипело через край, потому как капитан, словно в исступлении, расстегнул кобуру, и в руке его матово блеснул пистолет. Он поднял его на уровень спины Грнко и крикнул:

Стой!

Грнко, не зная, что происходит у него за спиной, ступил правой ногой и, слегка раскорячившись, поворотился. Увидев, что капитан в него целится, он закивал головой, будто хотел сказать только: откуда знать тебе, жалкий человек, что меня ждет? Что ты вообще знаешь о жизни? Потом занес левую ногу, обратил взгляд к замку и медленно зашагал под гору.

Капитан Бела крикнул еще раз:

Стой, Грнко, приказываю тебе, стой. Приказываю тебе выполнить задание! Приказываю тебе!

Галагия отвернулся. Он видел, как гибли многие товарищи, но чтоб так — никогда. Щелкнул предохранитель.

Капитан напряг руку, в прорези нашел голову Грнко. Она покачивалась из стороны в сторону. Что она несла в себе — тяжесть ответственности или страха? Вдруг она исчезла из прорези, капитан стал искать ее, нашел, она снова исчезла. Бежит, трус, петляет, подумал капитан и тут же открыл глаза: медленным, размеренным шагом, пожалуй, тяжелее обычного Грнко направлялся к замку. Плясала рука капитана.

Кто-то тронул его за плечо, потом силой приподнял ему голову.

Галагия.

Нечего стыдиться, капитан. Твое милосердие не сродни слабости или измене. Ты доказал силу своего понимания. А потом, капитан, пуля — ведь это не выход.

Бывший лесоруб больше не оглядывался. Он шел, нога за ногу, каждая весила по меньшей мере пуд. Он был похож на мертвеца, он, собственно, и был уже мертвый; то, что должно было произойти, он пережил уже десятки раз, но никогда оно не наваливалось на него с такой силой, хотя всякий раз он говорил себе: это и есть смерть. А минует опасность, он громко смеялся и бахвалился: Я что хрен, десять раз меня выруби, а я раз от разу крепче вырастаю. Но ощущение смерти сейчас давило иначе: ноги, дыхание, онемевшие руки и свинцовая голова — все физические признаки смерти или по крайней мере умирания пришли только потом. Потом. Сперва появилось сознание или нечто такое, что делало Грнко самим собой, ибо телу он никогда не придавал особого значения. Он порой говорил: пусть желудку голодно, пусть руки цепенеют, а вздутые жилы пусть обвивают ноги — если бы дело было только в этом, я запросто согласился бы быть хозяйским псом или лошадью. Но моя голова живет завтрашним днем, а моя душа пьет из источника, который существует, хотя пока его я не знаю. Поэтому я терплю, а близорукие мне говорят: служу. Я молчу, и никто не может понять, что я рождаюсь.

Ты ошибаешься, сказал ему Антон, каждый рождается с криком, надо бы тебе это знать. Или ты никогда не был при этом?

Винцо возражал:

Плохо ты меня понял, брат, я еще не родился. А раз не родился, то и кричать не могу.

Старший брат Антон работал на цементном заводе, когда приходил домой, заполнял собой всю горницу, а когда появлялся в корчме — будто все стекла звенели. Без устали убеждал, агитировал, призывал, его было слышно, видно, он был повсюду, всегда самим собой.

В сорок втором, сразу вначале, за ним пришли. Вскорости семья узнала, что из тюрьмы перевезли его в Дахау, где он был «застрелен при попытке к бегству», как сообщили из окружного управления.

Антон!

Тебе, Винцо, и землетрясение нипочем, корил его Рудо. Он был младше Винцо, но как-то само собой стал в семье главарем.

Тебе этого не понять, огрызнулся Винцо.

А бывало, Винцо начинал рассуждать про вулканы и обычно заканчивал так:

Я вулкан. С первого взгляда ничего не увидишь. Это кипит во мне! Когда-нибудь взорвусь и смету всех, кого ненавижу.

Рудо как две капли воды походил на Антона, только действовал осмотрительней.

Мальчишка ты, мальчишка, сказал он ему, отчего Винцо так и взвился. Сиди-ка и слушай, ты недоросль с разумом, как у вороны, которая ждет пахаря, чтобы насытиться. Сперва ты болтал о том, что не родился, хотя каждая мать и отец вместе с нею чувствуют плод уже загодя. Теперь что-то выдумываешь о вулкане. А завтра о чем? Если в руки тебе попадалась хрестоматия или календарь, ты мог бы там прочитать еще и о том, что происходит в вулкане до извержения. Ты же, видать, явился на свет с топором; отметят тебе дерево, ты и рубишь его. Один! Еще бы, ты — Винцо Грнко, ты один управишься с любым деревом. Один. Только ты, ты да ты. Для нас же важно не дерево, а лес. Лес, который рос с незапамятных времен. И ты хочешь с ним справиться один на один?

Рудо!

Бог мой, как он умел применяться к местности, как умел действовать с автоматом! И как спокойно, безропотно переносил все тяготы партизанства, как заразительно смеялся.

Антон! Рудо! Братья мои!

Грнко пальцами прочесал густую кудрявую бороду, боли не почувствовал, хотя длинные волосы слиплись, свалялись. Сильные пальцы продирались сквозь них, причиняя боль, но эта боль была мертвой. Что еще? Нет Винцо Грнко. Воистину нет, и не вспомнить ему имена Антоновых и Рудовых детей. Семеро и четверо — одиннадцать. И еще своих четверо. Боже милостивый!

Он шел нога за ногу.

Неужели охотничий замок так далеко?

Охотничий?

Партизанский!

Самый младший — сопляк. Сосунок. Птенец неоперившийся. Этот-то что! Здесь — я, Винцо. Я умер, чтобы жить иной жизнью, жизнью братьев. То есть продолжать их жизнь, потому что моя — мертва. Только сумею ли я жить по их воле? Вот в чем дело.

Он выпрямился, перескакивая через две ступеньки, влетел в двойные двери коридора.

Зеркала, зеркала, зеркала! — услышал он.

Люди метались, собирали маленькие зеркальца.

Доктор говорит, в помещении темно, сказал ему кто-то на бегу.

Другой остановил его и сказал в свой черед так:

Больше лампочек у нас нету. Мачуга вмонтировал все четыре, но и их не хватает, принесли мы несколько свечек, но и этого мало.

Зеркала! Нужны отражатели света! Больше свету!

К Грнко подошел бывший графский слуга.

Ведь это твой брат. Говорят мне, что он хороший. Этого могли мне и не говорить. Я знаю его с самого начала. Он не смеялся надо мной, не обзывал графом. Помогал, защищал меня. Иной раз его и не просишь, а он придет и поможет. Больше сделать для него ничего не могу: я включил генератор и вмонтировал еще две лампочки. Последний запас. Рад бы помочь еще чем-нибудь, да не знаю чем. Боже мой, боже мой, почему мороз опаляет плодоносные деревья самыми первыми? Какой это был хороший человек!

Какой это был хороший человек, повторил Винцо.

Был? Его уже нет?

Даже слуга не верит.

Грнко не произносил слов вслух, только губы у него шевелились. Погруженный в себя, он и не заметил, когда Мачуга отошел.

Рудо Грнко или Винцо Грнко, Антон или Людо, шептал он... все мы были или все мы есть хорошие. Так как же: были или есть?

Голос его замирал где-то между колен, когда он поднял голову, слуги действительно не было, а остальные смотрели на него и молчали, недоуменно или участливо качая головами. Никто этому не верит. Никто. Чему? Что его нет? Ерунда какая!

Из-за двери вырвался пронзительный крик, потом другой, последующие не походили на предыдущие, это были какие-то хрипы, искаженные болью.

Все сжали кулаки. Что еще они могли сделать? Кто-то тихо заплакал. Винцо не мог вынести эти громкие вздохи, он представил его себе и страдал вместе с ним. Мысль: жив! — обрадовала его. Но другая, давящая, была по меньшей мере такой же упорной и отзывалась нестерпимой болью. Винцо не знал, как унять ее. На-

верное, достаточно было бы небольшого усилия, и он сумел бы. Но он не хотел. Ведь Рудо был ему брат. Опять: был.

Коридор очнулся от мертвенной тишины, откуда-то долетал тихий гул.

«Хейнкель»!

Винцо вздрогнул. Остальные не шелохнулись.

Тьма, равномерный гул, по доскам окна барабанит дождь, хриплые вздохи, как удары, застывшие в ожидании люди. В бездну сверхчеловеческой муки влетел тихий голос, он отражался от стен и проникал прямо в уши Грнко? Там, в долине, тысяча людей... взрывной волной разорванные легкие... пузатая черепаха несет лавину смерти... фонтаны крови, боли, криков... ты единственный можешь их вывести... ты единственный... ты...

Я?

Люди наклоняются к Винцо и подымают его. Он открыл глаза, но долго не замечал их, не осознавал их присутствия.

Я? — спросил он.

Лихорадка лопнула, по губе стекала сукровица.

Ничего, ничего, сказал кто-то, это пройдет, ты не выспался, устал, выбился из сил, смертельно измучен, а тут еще это, чему удивляться, кто знает, что ждет нас.

Он сказал им:

В роду Грнко никто никогда не уставал, не выбивался из сил и не был смертельно измучен. Никогда. В роду Грнко — никто. И никто не умер. Грнко не вошь, чтобы его раздавил какой-то гитлеришка.

Он держался за чью-то теплую руку, наконец отпустил ее, собрался с силами и спросил:

А «хейнкель»?

Он не различал ясно их лица, скорее чувствовал их замешательство. Наконец кто-то сказал:

Ах, вот что, Винцо, ты имеешь в виду генератор. Он сбил тебя с толку. Мы велели Мачуге оставить двери открытыми, чтобы знать наверняка, что генератор работает и со светом все в порядке.

А он?

Винцо принял протянутую флягу с водой, влил себе в рот, проглотил, снова влил, зажал флягу между колен, изо рта выпустил струйку воды на руки, ополоснул лицо.

А он?

Не бойся, будет в порядке.

Чиркнула спичка, все увидели, как по густой бороде стекает вода, увидели и другое: твердый, решительный взгляд.

Грнко быстро пошел по коридору, никто не мешал ему. Он спустился в подвал и без дальних слов прямо спросил графского слугу:

Местность хорошо знаешь?

Я-то? Ясное дело, знаю, ответил слуга.

Разбирается еще кто в этом ворохе железа?

Это ты про генератор? Разбирается. Есть один электрик. Вацулькой зовут. Помогал мне, сейчас ждет в коридоре.

Я пришлю его сюда, Мачуга. Схожу наверх и пришлю его. Ты пойдешь со мной, Мачуга, конечно, если захочешь, но я знаю, ты захочешь, потому что ты уже не слуга, Мачуга, ты такой же, как мы, как я. Потому и говорю, что пойдешь. Не забудь взять с собой воды и автомат, Мачуга. Буду ждать тебя на сторожевом посту у оврага.

У оврага сошлось их пятнадцать. Чуть дождило, потом задул ветер. Ребята стали под деревьями, под защиту еловых веток. Никаких резиновых плащей, предупреждал их капитан, они шуршат; все лишнее сбросить с себя. Его послушались. Теперь прячутся от ветра.

Грнко пошел Мачуге навстречу. Мачуга решил, что должен приветствовать его по всей форме: поднес руку ко лбу, пальцами коснулся облезлой бараньей шапки.

Явился по приказанию, Мачуга старался рапортовать по-военному. Прозвучало это смешно, но никто не засмеялся.

Грнко протянул ему руку, Мачуга присоединился к отряду. Со стороны реки подходил человек. Направляясь к нему, Грнко сказал:

Мы договорились, капитан. Не забудь про телефонную линию. Перережь ее точно в назначенное время; ни раньше, ни позже. Жди нас у Ворот и не давай им опомниться. Начинай, как только «хейнкель» сбросит первую бомбу. А будешь в настроении, передай привет тому, черепахе. Сдается мне, что после налета ему будет не до смеха.

Капитан улыбнулся. Обсудили все до мельчайших подробностей.

Грнко без умолку говорил, ребята таким его не знали. Он способен был молчать долгими часами с видом оскорбленной невинности. Сегодня вечером он

действительно разговорился! В голове у него рождались невероятные планы, он весь светился вдохновением и бодростью. После ухода капитана он стал отдавать приказания так умело, будто был прирожденным командиром.

Худшим оказалось начало, потому что в самом начале он сказал:

Чтобы было ясно, ребята, в этих местах нет никаких подземных ходов, пещер, коридоров и чего там еще, на что вы надеялись.

Они были до крайности ошеломлены. Капитан тоже.

Столь же удивились они, когда Грнко открыл им свой план. План освобождения солдат был не бог весть каким совершенным, но на то с ними был капитан. Он обдумал план, дополнил, кое-где изменил. Окончательный приказ гласил: небольшие группы под командой Грнко и Мачуги, хорошо знающих местность, незаметно проскользнут сквозь кольцо немецких войск. Немцев все-таки не может быть столько, чтобы держаться за руки. И потом, Грнко с Мачугой здесь дома, кто может знать лучше их эти тропы, укромные уголки, ущелья и самые безопасные проходы?

Под вечер снова упало несколько капель, Мачуга встретил их такими словами:

Дождя не будет.

Он послюнявил палец, подставил ветру и утвердительно кивнул:

Быть сухой буре, этот ветер я знаю. Самые крепкие деревья и те с трудом устоят.

Ребята вздохнули с облегчением, разговорились — этот ветер с попутным шумом леса будет на их стороне.

К трем часам утра они вывели свыше трехсот солдат.

Плохо дело, капитан, и Грнко злобно выругался, «хейнкель» тут здорово поработал, это верно, только пострадали-то больше нервы и дух наших. Потери невелики. Хуже то, капитан, что солдаты в ожидании очередной бомбежки разбежались по всей долине. Все врассыпную.

Голос в трубке Грнко слышал плохо.

Говори громче, капитан, грохот такой, что уши закладывает, сам себя не слышу!

Я сказал, не бросить ли это дело?

А как же остальные, капитан? А раненые? Я обещал им вернуться. Не в моей привычке не держать слова.

Рад это слышать, Винцо, это я сказал просто так.

Не время шутить, капитан, этот бой — наше дело, в этом бою мы можем потерять все, но только не доверие людей.

Ты прав, Винцо! Действуйте с Мачугой согласно твоему плану. Точно так, как мы договорились. Немецкую форму достали?

Не только форму, капитан, но и живых немцев. Пленных. Уж мы их раздобыли.

Порядок. Кончаю, Винцо, начинайте операцию «Хейнкель»!

Есть, капитан.

Задача была такова: до начала первой бомбардировки подготовить все для переброски солдат и раненых на глазах у немцев. Люди капитана перережут в одном или двух местах телефонную линию, разрыв замаскируют ветками и камнями. Перед самой переброской солдат линия будет нарушена вторично. Солдатам надо будет дождаться второй бомбардировки где-нибудь в безопасности. Об этом позаботятся их офицеры. Перед вторым налетом начнется операция «Хейнкель».

Между бомбежками до сих пор были трехчасовые интервалы, время налетов 9.00—12.00—15.00. Выдержат ли немцы их и сегодня?

Выдержали, взахлеб рассказывал вечером Мачуга. Немцы как машина. Бог мой, у меня душа в пятки ушла, а я ору как скаженный: Schnell! Los! Los! * Немецкая форма висит на мне — меньшей-то я не нашел, зато губы, что мои, что немца, не отличишь. Ору это я, бегаю вдоль колонны, даже тумаками подгоняю солдат... Ох, видели бы вы, братцы, пятьсот солдат...

Пятьсот сорок восемь, поправил парень за его спиной.

Ладно, пусть будет по-твоему, согласился Мачуга, ребята слушали его, рассевшись прямо на земле: Так вот, наши — беглым шагом прямиком через долину, те, что в немецкой форме, поторапливают их, впереди немецкий мотоцикл с коляской, а в нем настоящие немцы.

Мачуга глядел на стену, словно на экран. Только он да те, кто был с ним, видели все как наяву: на мотоцикле Клаус Штрайхер, до той поры арестованный немцами, — его и еще трех других Грнко нашел в погребке маленького деревянного домика.

Верить ему или не верить?

---

* Быстро! Давай! Давай! (нем.).

Правда, Штрайхер вызвался сам, но что, если вместо условленного «Прекратите огонь! Выполняем приказ штаба — сдавшихся словацких солдат перевести в тот конец долины, откуда их будут отправлять в плен!» — что, если вместо этого Штрайхер откроет правду? Или: что, если людям капитана не удастся вторично повредить немецкую телефонную линию? Или: что, если у кого из перебрасываемых солдат сдадут нервы? И что делать, если немцы не послушают приказа штаба и откроют огонь?

Немецкий лейтенант Клаус Штрайхер стоял в коляске, на заднем сиденье сидел Грнко: всклокоченные волосы скрыты капюшоном немецкого дождевика, борода по самые глаза — темно-зеленым офицерским шарфом, в руках снятый с предохранителя немецкий автомат. Между ним и немецким мотоциклистом к ручке сиденья привязана простыня: она заменяет белый флаг.

Мотоцикл временами останавливался, и Штрайхер кричал или растолковывал солдатам Хёффле, в чем дело. Их все больше сбегалось к дороге. Мотоцикл объезжал солдат, оказываясь то впереди них, то сзади, Штрайхер покрикивал на немцев. Грнко не понимал его. Он только следил за жестами Штрайхера и приглядывался к реакции немецких солдат. Штрайхер отгонял их от пленных, одному даже пригрозил пистолетом — настырный немец хотел стянуть с раненых теплое одеяло.

Почти четвертая часть колонны уже миновала сторожевой пост в конце долины. Один из охраны упорно крутил ручку телефонного аппарата и, прижимая трубку к уху, кричал: Алло, алло, алло!

Мотоцикл повернул, Грнко тоже поторапливал солдат.

Повозки с ранеными были уже в безопасности, если дорогу за пределами долины можно назвать безопасной. По дороге вдоль долины бежало еще примерно с сотню солдат.

Телефонист все вызывает: Алло, алло, алло. Грнко напрягает слух — нет, глухого гула бомбардировщика не слыхать. Неужели плохо рассчитали? Сколько еще: две минуты? Пять минут? Или секунды?.. Алло, алло, алло.

Сегодня это уже во второй раз, сказал начальник сторожевого поста Штрайхеру и виновато повел плечами.

Штрайхер улыбнулся, но тут же, повернувшись к бегущим солдатам, прокричал длинную немецкую фразу,

видно, не очень пристойную, потому что начальник сторожевого поста заржал.

Люди выбивались из сил. Бескровные руки, протянутые к небу, опускались, ноги едва плелись, в раскрытых ртах белели зубы, кое с кого свалились шапки, от голов шел пар...

Грнко, не отрывая глаз от неба, искал блестящую точку. Вслушивался — не мог дождаться первой волны самолетного гула. Вдруг он едва не вскрикнул. Увидел его! Слышать не слышал, но вдали ясно различил серебристый блеск самолета.

Еще последняя горстка солдат. Грнко мысленно молил их: ребята, родные мои, соберите все силы, все-все; может, один-единственный шаг спасет вас; обгоните смерть, прибавьте ходу, быстрее, быстрее!

Он почувствовал облегчение.

Алло, алло, алло.

Грнко глянул на телефониста и побледнел: он не кричал алло... алло... алло... он уже... он уже говорил... говорил!

Из глубины долины донесся резкий свисток, потом еще и еще, взлетела белая ракета, где-то раздались короткие пулеметные очереди, одновременно воздух дрогнул от первого взрыва.

Начальник сторожевого поста поднимал автомат...

Бывший лесоруб Винцо Грнко его опередил. Нажал спуск. Короткая очередь, потом вторая. Эту Грнко уже не докончил — мотоциклист резко дал газ, мотоцикл рванул, и Грнко не удержался на сиденье. Он упал навзничь, но тут же вскочил, чуть подался назад и открыл огонь.

Последний караульный поднялся на цыпочки, перегнулся пополам и упал лицом вниз.

Тогда неподалеку от Грнко взорвалась граната.

Долина превратилась в кровавое пекло. Сверху орудовал «хейнкель», с обоих гребней в конце долины — капитановы ребята, сказал Галагия, вдруг появившийся в комнате. Не доведи бог еще раз пережить такое, добавил он, когда ребята повернулись к нему.

Кто-то из них громко рассмеялся — Галагия держал в руках вычищенные до блеска болотные сапоги. Он протискивался между парнями и кого-то искал. Похоже было, нашел — лицо у него прояснилось. Он сказал:

Пропустите меня, пожалуйста.

Парни потеснились, Метод Галагия переступал через

них — в комнате яблоку негде было упасть. Отряд разросся и разделился на две части. Командиром стал капитан Бела. Он тоже следил взглядом за Галагией, который протискивался куда-то в угол. Около бывшего графского слуги Метод остановился. Молча поставил перед ним болотные сапоги и, должно быть, что-то хотел сказать, но вместо того тыльной стороной руки отер губы и, отступив, замешался между ребят.

Под окном раздалось тихое пение. Рога на бараньей голове были пустые, Грнков автомат уже на них не висел. Пение усилилось: Мать моя, матушка, за горами-лесами...

В пение врезался скрип дверей, ничего не подозревавший часовой спросил совсем не по-военному:

Здесь командир? Командира ищу...

Один из лежавших поднялся. Он был в офицерской форме без знаков различия.

Я здесь, сказал капитан Бела.

Солдат указал на юношу рядом с ним и громко сказал:

Пан капитан, вот этот паренек не отстает, хочет говорить с командиром, и все тут. Ни с кем другим, только с вами.

Капитан смерил взглядом долговязого паренька. Он стоял под лампой над дверями. Под носом и на подбородке у него белел первый легкий пушок, в руке, прижатой к бедру, он держал замасленную фуражку.

Ты хотел говорить с командиром? Говори! Слушаю тебя, подбодрил его капитан.

Паренек с натугой сглотнул, словно оробел перед таким многолюдьем и перед самим командиром. И только когда капитан обратился к нему во второй раз, сказал:

Зовут меня Людовит Грнко, извиняюсь, пан командир. Мне очень хочется к вам, потому что... знаете... да ведь вы, конечно, знаете, извиняюсь, пан командир, тут мои два старших брата. Винцо и Рудо.

Все подняли на него глаза. Посмотрели и как по команде склонили головы.

Петер Шевчович

Жеребенок с душой человека

Ребята едва удерживались от смеха, овладевшего ими еще на переменке, когда в их пятый класс вошел отец Эмерам. Но, как только он злобно стукнул рукой об стол и закричал: «Тихо!», сразу все успокоились и смиренный вид приняли даже самые разудалые весельчаки. Так боялись они человека в коричневой францисканской рясе, опоясанной конопляной веревкой.

Этот монах с крючковатым носом и острыми скулами стал учить школьников закону божьему в конце прошлого года вместо старого почтенного священника Тухини, которого фашисты запрятали неизвестно куда за помощь партизанам.

Придя на первый урок, Эмерам окинул класс сверлящим взглядом и сказал: «И прислужника божьего может смутить сатана». С той поры ребята всякий раз, когда монах входил в класс и впивался в них колючими глазами, молча вставали, избегая встречаться с его ястребиным взором.

— Что вас так рассмешило? — прощупывал он всех взглядом, пока не уперся наконец в сидящего на первой парте Матуша Шкреко.

— Дюро Хмелик забожился... — начал было нерешительно Матуш. Но когда Мишо Чапко кольнул его пером в мягкое место, тотчас замолк, словно набрал в рот воды.

— Чапко, останешься после уроков! — изрек отец Эмерам. Он поощрительно потрепал Матуша за чуб, потом засунул руку под рясу и что-то там поискал. — Ты получишь святой образок, Матуш, если мне станет известно, что сказал Дюро Хмелик!

— Он божился, что у коня есть душа! — пропищал Матуш. — И даже будто лучше, чем у некоторых людей.

Пятиклассники снова стали давиться смехом. Монах благодарно протянул Матушу заработанную предательством награду, хлопнул ладонью о стол и подчеркнуто строго сказал:

— Ни единому зверю не дал господь бог души, ибо душа бессмертна. Господь дал душу только человеку, а с нею и вечную жизнь, ибо только человека сотворил по подобию своему.

Дюро Хмелик открыл было рот:

— Но...

— Не рассуждая о бессмыслице, — резко оборвал его отец Эмерам, — в эту тяжкую военную годину лучше помолимся за спасение словацкой нации. — Он ткнул пальцем в распятие Христа и висевший рядом портрет пана президента, истово перекрестился и мрачно продолжал: — Ничего вы, неразумные, не смыслите! В этой войне верх может взять антихрист. Храни бог от него народ, в котором он так разочаровался. По утрам и вечерам мы избиваем себя плетью в монастыре, чтобы вымолить прощение грехов. Вот такими бичами! — Он вытащил из-под рясы связанные в одну несколько плеток с рукоятью, обтянутой кожей, и грозно подержал плеть перед собой, словно архангел Гавриил огненный меч.

Школяры почти перестали дышать. И только жалобно захныкала Людка Браздова. Вероятно, потому, что у гардистов, которые арестовали ее отца заодно с почтенным господином священником Тухиней, были такие же плетки.

Патер снова запрятал плеть под рясу.

— Помолимся же за спасение тех, кто не предал нас, и за справедливую кару божью для вероотступников.

Дюро Хмелик глядел в окно, из которого была видна почти вся площадь села. С самого начала учебного года на ней, размокшей и раскисшей от дождей, разместилось великое множество брезентовых палаток немецких солдат, и теперь нигде, даже перед корчмой Шпитцера, не было видно ни одного мужчины в штатском.

— Во имя отца, сына и святого духа, аминь... — осенял большими крестами Эмерам.

Школьники боялись, что тот, кто не повторит почтительно за святым отцом эти слова, получит плетью.

— Отче наш, иже еси на небеси... — начал монах молитву.

— Отче наш, иже еси на небеси... — пугливо затянули дети.

А в это время на площади началось что-то необыкновенное. Около старого колодца с журавлем остановилась автомашина, из нее выскочил тонкий офицерик, вскочил на каменное ограждение колодца и стал что-то выкрикивать. Солдаты в черных мундирах обступили офицерика широким кругом, сняли винтовки с плеч и держали их прямо перед собой, как бы приветствуя кого-то. Тут вдруг почти одновременно пооткрывались ворота крестьянских дворов, окружавших площадь, и уже другие солдаты, в серых униформах, стали выгонять на площадь коров, волов и откормленных хозяйских коней.

Дюро уже не повторял слова молитвы, он впился в окно, широко раскрыв рот. За солдатами из дворов выбегали причитающие женщины, некоторые с детьми на руках, и со слезами на глазах упрашивали немцев не забирать скот.

В этот момент из дома выбежал дядька Грнач с вилами в руках спасать домашнюю животину. За ним — тетка Грначка, чтобы уберечь его от беды. Костистыми пальцами она крепко схватила мужа за ворот и вцепилась в него словно клещ. Но Грнач недаром слыл в селе силачом — однажды в бродячем цирке он вышел бороться с медведем и выиграл сто крон, — резко оттолкнув жену, так, что она упала, он, насупившись, пошел с вилами на молодого, совсем еще зеленого солдата, уводившего его живность со двора.

Солдаты подняли винтовки к плечу.

Только над одним стволом всплыло облачко белого

дыма. Дядька Грнач сразу остановился, словно чему-то удивляясь, потом зашатался, как пьяный, выронил из рук вилы и грузно рухнул на землю.

— Но избавь нас от греха вечного, аминь... — понизил голос Эмерам.

— Убили дядю Грнача! — крикнул на весь класс Дюро и с глазами, полными слез, обернулся к соседке по парте: — Бетка! Твоего отца застрелили!

Он схватил свой ранец и рванулся к дверям.

— Куда?! — поймал его за руку монах.

— Оставьте меня! — Дюро ловко, как уж, вывернулся из его рук и выбежал из класса.

Он пересек площадь, заполненную ревущим скотом и плачущими женщинами, и выскочил на луг, на котором немецкие артиллеристы рыли капониры для пушек. Прошмыгнул мимо палаток с дымящимися полевыми кухнями, которых еще вчера здесь Дюро не видел, и побежал к горам узкой лощиной: здесь теперь стояли танки, охраняя подступы к селу.

Мальчик бежал, соревнуясь со временем и волнуясь за жеребенка, у которого, как он считал, была совсем человечья душа и который все понимал с полуслова, ему недоставало только человеческой речи, чтобы быть не четвероногой скотиной, а настоящим товарищем.

— О, Пейко мой, Пейко!..

Это было два года тому назад. Как-то отец рано утром сдернул с него одеяло: «Вставай, Дюрко, у Язмины родился жеребенок!»

Мокрое, скользкое, беспомощное существо неопределенного цвета недвижно лежало в стойле на соломе, а старая Язмина нежно облизывала его шершавым языком. Зажмурив глаза, жеребенок часто дышал. И только это говорило о том, что он жив.

— Не умрет? — посмотрел Дюро на отца.

— Еще какой конь из него вырастет!

— Он будет моим?

— Если ты это заслужишь...

— Бедняжка, как он жалок...

В этот момент жеребенок открыл большие карие глаза и боязливо повернул голову к матери. Язмина поняла его страх и ободряюще ткнула жеребенка мордой. Жеребенок шевельнулся, но в глазах все еще была неуверенность. Язмина недовольно завертела головой и

дважды поддала ему под ребра, чтобы был посмелее, ибо страх никому еще не помогал.

Жеребенок тяжело вздохнул, но мать послушал: изо всех сил уперся копытцами в землю, еще не зная, как распорядиться всеми четырьмя ногами; он грустно посмотрел на мать, словно хотел сказать, что никогда не сможет встать на них.

Язмина укоризненно заржала, потом легла на солому возле жеребенка и приказала ему глазами, чтобы он смотрел на нее. Затем она встала осторожно и медленно. Язмина снова облизала его языком и отошла в сторонку. Ему наконец удалось опереться о землю всеми четырьмя копытцами. Он еще неуверенно опирался на них, но уже смотрел на свою родительницу с такой радостью, что Дюро неудержимо потянуло погладить его.

— Сегодня ты его не трогай, — остановил отец. А когда прочел на лице сына недоуменный вопрос, взяв в руки фонарь, пояснил: — Язмина тебя ударит!

— Почему?

— Она сама должна сперва с ним поиграть. А завтра он будет и нашим. Каждая мать должна натешиться своим дитем, понимаешь?

Война уже круто шла к концу, но где-то так далеко от Словакии, что для пятиклассников существовала только в газетах и радио. А сегодня она пришла в их село — и Дюро летит птицей, чтобы спасти жеребенка.

Дорога кажется мальчику бесконечной и трудной. Она то вьется между холмами, то спускается к берегу ручья, то снова забирается вверх. Спустя час он достиг наконец ровной котловины, посреди которой стоят семь приземистых с коричневыми крышами домов Лазовиска, похожих на старые заматерелые боровики.

Ну а теперь быстро во двор дома, где спрятан от бурь войны Пейко. Быстрей, быстрей добежать! Вскочить на Пейко, впиться пятками в его бока, зажать шею коленями, запустить руки в конскую гриву и горячо зашептать в трепетное ухо: «Пейко, плохо. Скачи!» Жеребенок поймет, призывно заржет и понесется вскачь в темные горы, чтобы остановиться у Бурной скалы, на которой из-за частых ударов молний не растет ни одно дерево. Под скалой густые заросли лещины, а за ними широкая пещера, о которой сегодня знает мало людей:

она не отмечена даже на военной трехверстке. Посередине ее старый очаг. Когда ребята разводили в нем огонь, Бурная скала курилась, словно вулкан.

— Здесь и спрячем наших коней, — решили недели две назад парни из Лазовиска.

— А от кого их надо скрывать? — спросил тогда Дюро.

— От немцев, конечно же, и от некоторых словаков. Паршивая овца всегда найдется в стаде.

Потихоньку натаскали в пещеру сена, соорудили из березок ясли. Здесь переждут смертоносный вихрь войны кони, а может быть, и ребята, если их отпустят родители. На тот случай в пещере припасены копченое сало, керосин, мука, домашняя колбаса, а в дальнем углу — картошка, морковь, капуста и яблоки. О, чего только не надавали заботливые мамы ребятам для их кошек, крыс, ласок, хорьков и всяческой бродячей твари. И скамейки в пещере березовые, и столики, и нары, и даже ведро сливового варенья, которое так таинственно исчезло в один прекрасный день у бабки Петрашки. Словом, пещера для многих осталась тайной, и, принимая во внимание, что шла война, можно сказать, даже военной тайной.

Месяц назад, несмотря на невзгоды военного времени, отец начал мечтать вслух:

— Наш Дюрик, мать, если будет учиться дальше, мог бы стать хорошим ветеринаром. Слышишь меня?

— Если ты заработаешь ему на ученье.

— После войны, говорят, все будет иначе, — продолжал мечтать отец.

— Ну хорошо, хорошо. — Мать хлопотала у стола, и ей не хотелось говорить. — Главное, что мальчик понимает душу животного.

— Именно так... — Отец завернул щепоть самосада в полоску из газеты, закурил, задумчиво всматриваясь в клубы сизого дыма, и продолжил свой разговор: — Зверь-то, он сразу понимает, с кем имеет дело. Но не каждого человека могут понять немые творения. Вот, кажется, у жеребенка нет души. А на самом деле она у него есть. Только не такая, как у человека, потому как это все-таки зверь. Или разве у зверей нет памяти, или они вообще не соображают? И ненавидеть умеют, и любить. Кто их хорошо знает, подтвердит, что у них есть и своя речь, которую они понимают... и желания... и даже чувства. Человеку нельзя забывать о своем ме-

сте в природе. Только равнодушный и слепой не понимает, что и каждая живая тварь имеет душу. Лучше и чище, чем у многих людей, потому что зверь не обидит никого без причины.

Две хищные серые танкетки с черно-белыми крестами на боках затаились неподалеку от пещеры в орешнике, дожидаясь того часа, когда мужчины из Лазовиска уйдут на работу, а ребятишки — в школу. Сойки раскричались по холмам и в котловине, как бы предупреждая о задумавших недоброе проклятых существах. Словно предчувствуя что-то, размычались коровы. Кони испуганно били копытами по деревянным стенам конюшни, разъяренные псы пытались сорваться с цепи, а кошки, не ожидая ничего хорошего, заранее скрылись в лощине за горой. И только мамки, тетки и бабки из Лазовиска, занятые, как и всегда, своей постоянной болтовней и сплетнями, проморгали приход немцев. И теперь, вынужденные покинуть свои теплые и пахучие кухни, они чешут языки около единственного в Лазовиске колодца: жалуются на тяжкую жизнь и прикидывают, что бы они могли сделать, если бы... Словом, если бы да кабы... Нет, на сей раз они, судя по их взволнованным голосам, не болтают.

Возле стайки женщин двое немецких солдат. Они дымят сигаретами, играя в руках винтовками.

«Только не делайте глупостей», — хотел издалека подать женщинам добрый совет Дюро, укрывшийся в ближних зарослях кустарника: чтобы не выдать себя, он старался почти не дышать.

Солдаты смеялись над жалобами женщин:

— Малина, моя однорогая Малина... что я без тебя буду делать... чем накормлю детей?!

— Язык дои свой, Мутоня! Слышишь, Мутоня? Теперь ты можешь доить только язык!

— Забодай вас бык вместе с вашим Гитлером, — погрозила им кулаком тетка Краличка, когда ее выставочная симменталка Алиса жалобно замычала после пинка солдатским сапогом в живот, вырвалась из стайки женщин и побежала к своему двору:

— У, живодеры! Не видите, что она стельная!

— Хальт! Хальт!

Один солдат направил на тетку Краличку штык винтовки, она ловко увернулась от него и стала высматривать, нет ли где поблизости суковатой палки.

«Только не это, тетка», — упрашивал, шевеля влажными губами, Дюро. Он чуть даже не закричал: «Дядька Грнач уже мертв, и только за то, что защищал свое добро», — но его язык набух от страха, а в горле перехватило дыхание.

Однако Дюро сразу пришел в себя, увидев реквизированных немцами лошадей. Старая кобыла Язмина, будто бы с самого начала смирившаяся со своей новой участью, безразлично пощипывала губами тонкие зеленые побеги весенней травки. А Пейко?

Пейко определенно чувствовал близость своего повелителя. Он беспокойно вертел головой с буйной гривой, поводя широко раскрытыми чуткими ноздрями, фыркал и даже вопросительно коротко заржал, как бы спрашивая: «Человече, чего ты там торчишь?», и скреб копытом землю от радости, что его вывели из конюшни на волю, оттого, что хочется проскакать с хозяином на спине. Стоило Дюро только заложить в рот четыре пальца и свистнуть, как он в два скачка был бы здесь, в чащобе. Пейко озорно взбрыкнул бы над лежащим Дюро, а потом мягко бы опустился, наклонил шею и по-приятельски ткнул бы его теплой мордой. И все было бы в порядке. Только бы удалось перехитрить этих ненавистных солдат-стражников. Ведь коней они постараются отправить раньше, чем сами уйдут. Потом уже не узнаешь, куда отвели его коня. Может быть, все-таки стоит свистнуть, дождавшись подходящей минуты ночью. Хорошо, что не успел съесть в школе данный матерью завтрак. По крайней мере он не останется голодным и дождется наступления темноты.

После вечерней молитвы село погрузилось в сон. Не спали только в доме Хмеликов. У матери сжималось от волнения сердце. Она еще к обеду приготовила вареники с повидлом, которые так любит Дюро. Но он так и не явился...

— Ну конечно же, где-то застрял, — утешал ее отец, вынимая ремень из штанов и кладя его перед собой на стол, чтобы наказать непослушного, когда он вернется со своей затянувшейся прогулки.

— Столько худого было сегодня, а ты и его хочешь... — испугалась мать...

— А что же? Должен понять, что делает.

— Иисус, Мария, только бы воротился, — просительно вскинула руки мать.

— Придет. Придет и пожалеет! — погладил отец ремень.

Мать закрыла окна ставнями и стала зажигать керосиновую лампу. Когда же она вставила стекло и лампа осветила ее заплаканное лицо, отец смягчился:

— Маришка, не плачь же, не плачь...

— А если его где-нибудь... как дядьку Грнача.

— Прошу тебя, не волнуйся. — Он положил твердую ладонь на ее руку, сжал зубы так крепко, что на скулах заходили желваки, потом тяжело вздохнул, медленно встал и снова заправил ремень в штаны.

А Дюро в это время сидел, спрятавшись в кроне кряжистого дуба на опушке Майерского леска, и продолжал строить всяческие планы спасения жеребенка, всматриваясь в темноту.

В тупичок, упирающийся в гору, на самую середину луга, по которому были разбросаны стволы столетних деревьев, вкатывался с ближайшей железнодорожной станции паровозик с вереницей расшатанных платформ.

Если бы у Дюро под рубашкой был почтовый голубь, он написал бы огрызком карандаша на клочке бумаги: «Отец, я следил за Пейко. Он жив и здоров. Продолжаю наблюдение. Буду осторожен!» А если бы Дюро мог посылать свои мысли на расстояние, как телеграммы, он отправил бы такую депешу: «Сердечный привет с немецкой скотобойни. Немцы все заранее продумали. Сделали здесь из жердей загоны, отдельные для лошадей, отдельные для коров. Яловиц, волов и свиней забивают тут же выстрелами в голову. Перед насыпью полыхают огромные костры, дымят полевые кухни. Мясники здесь же свежуют и разделывают забитый скот. В сладком смраде смешалось вместе мычанье, рев, ржанье, ругательства. Коровы сатанеют от запаха крови. Паровоз пригнал в тупик три товарных вагона. Жду, что будет с Пейко, пока его никто не тронул!»

К этому времени Дюро уже съел половину своего школьного завтрака — солдаты-мясники раздразнили его запахом пожираемого ими гуляша. Солдаты-грузчики внесли разделанное мясо в вагоны. Когда чумазый паровозик увез их, мойщики вымыли ножи мясников, а помощники полевых кузнецов начали раздувать мехами

угли в железных полевых противнях. Кузнецы с медными лицами раскаляли в них докрасна железные армейские клейма на длинных щипцах и по отрывистой команде офицерика в свежеотглаженном мундире припечатывали их к каждой корове, каждому коню, чтобы все эти животные считались отныне собственностью германского рейха. Только на минуту прервалась эта жестокая забава, сопровождаемая ревом животных и запахом паленой кожи, когда над лугом загудели самолеты. Мясники, кузнецы, охранники, пособники и офицеры распластались на земле.

Когда пришла очередь Пейко, Дюро в первый момент показалось, что он не перенесет позора его страданий. Жеребец будто бы чувствовал, что за ним следит дружественный взгляд. Когда раскаленное клеймо поднесли к его крупу, он встал на дыбы, а как только подручные прижали его к выхоленной гладкой шерсти, он резко встал на передние ноги, выбросив зад высоко вверх, и левым задним копытом ударил одного из солдат. Тот упал и завопил от боли. Но мучителей было много, и они хорошо знали свое дело. Шестеро из них зависли на норовистом жеребце, канатом привязали его к одиноко стоящему буку и до тех пор охаживали длинной ременной плеткой, пока он не склонил покорно гордую голову.

Дюро отвел от своего любимца глаза со слезами стыда и бессилия. Никто теперь, кроме него, не сможет приложить к ранам Пейко тряпку с отваром ромашки.

Темнело.

Офицер выкрикнул последние распоряжения.

Через три минуты на лугу погасли все огни.

Еще через четверть часа луг опустел, и на нем осталось лишь несколько дозоров.

Свежий ветерок под вечерний звон колоколов сельского костела развеял тучи на небосклоне. Пейко вместе с другими молодыми жеребцами направил свой грустный, просящий взгляд к золотистому серпу месяца. Язмина и ее подруги спокойно паслись, пощипывая травку.

В это время паровозик, тяжко пыхтя, притащил в тупичок первые пустые вагончики для скота. Охрипший машинист по-словацки переругивался с немецким солдатом-переводчиком.

— Где это видано — во тьме грузить скот?

— Приказ есть приказ, его не обсуждают.

— А мне плевать! Грузить не буду.

Дюро впервые после побега из школы усмехнулся: машинист Бендик был его старым приятелем.

Тихо, словно уж, соскользнул Дюро с дуба. Сделав крюк, чтобы не услышали шороха его шагов дозорные, подкрался он к паровозу с неохраняемой стороны. Выждав, когда переводчик занял свое внимание перепалкой погонщиков с испуганными коровами, Дюро шепнул:

— Дядя Бендик! Это я...

— Кто?

— Дюро Хмелик.

— А ну-ка гребись отсюда! — строго зашептал Бендик и прижал палец к губам.

— Возьмите меня на паровоз!

— Сегодня я с охранниками. В другой раз...

— Куда вы коней повезете?

— Не знаю, куда прикажут.

— Этим же составом?

— Нет, этим только коров... Коней, наверное, завтра.

— Так завтра мне скажете?

— Обязательно... если вернусь... А теперь беги!

— Спасибо, — прошептал Дюро на прощанье и на четвереньках отполз от паровоза под густую ракиту. И вовремя, потому что переводчик уже учуял что-то неладное и навострил уши, удивляясь, как это дядя Бендик ни с того ни с сего разговаривает сам с собой.

Близилась полночь, когда Дюро увидел наконец светящееся окошко своего дома. По пути к Лазовиску прислушивался к каждому подозрительному шороху — не был ли он осторожными шагами дозора. Он вслушивался и в приближавшиеся звуки фронта; в ночном небе отражались его всполохи, а однажды над горизонтом даже вспыхнула красная ракета и рассыпалась роем мелких звездочек, которые падали две-три секунды и гасли одна за другой.

Когда отец выслушал, какие приключения были сегодня у Дюро, то решил:

— Завтра из дому ни ногой.

— И даже в школу?

— Даже на улицу! Могу я надеяться на твое честное слово или должен запереть тебя в подвале?

— А Пейко ты оставишь немцам?

— Человеческой жизнью можно рисковать только ра-

ди человеческой жизни... или ради великой цели, — протянул ему отец правую руку.

— Мне будет нелегко, но запирать меня не нужно, — стиснул ее по-мужски Дюро. — А ты действительно боялся за меня?

— Как никогда, — признался отец.

Следующий день пролетел, как летний вихрь. Отец решил перенести все ценные вещи в подвал и подготовить его к тому, чтобы пересидеть в нем бои. Под туго набитые тюфяки он заботливо на всякий случай уложил лопаты, мотыги, топор и кирку, чтобы было с чем выбраться на свет божий, когда фронт минует.

— Не лучше бы переждать в пещере под Бурной скалой? — спросил мальчик.

— Не первому пришло это тебе в голову, но все боятся идти туда.

— И ты боишься?

— Да, — признался отец и спокойно надел на плечи вещевой мешок, так как в местечко, полное разъяренных немцев, идти совершенно не боялся.

— А почему мы должны бояться Бурной скалы?

— Да потому, что она дымит и с Лазовиска там никого нет.

— А мы с ребятами так здорово все там подготовили, — с сожалением сказал Дюро.

— Бог знает кто там обосновался: то ли наши, то ли чужие?

— Ты думаешь, враг? — Глаза у Дюро расширились.

— На рассвете здесь шныряли жандармы, но тебя было не разбудить даже пушкой! — вставила мать.

— Это те... что с такими бляхами?

— Да, да. Они искали каких-то беглецов.

— Ну, если заметили тот дым... — Отец задумчиво вынул из кармана большие дедовские часы. — Если уж они решили прочесать горы, то могут обнаружить их в любой момент. А если им еще взбредет в голову бросить в пещеру пару гранат...

Дюро бросило в дрожь, когда он представил себе растерзанные тела, такие, какие он видел однажды в киножурнале.

— Ну вот, так-то обстоят дела с укрытиями, — собрался в дорогу отец. — Всюду сейчас опасно появить-

ся, дома все же спокойней. Потому что первое, о чем сегодня спрашивает при встрече немец гражданского человека: почему ты не дома, если у тебя чистая совесть?

— Ничего не покупай, кроме соли, — напутствовала его мать. Она, конечно, не пустила бы его в местечко, если бы об этой чертовой соли позаботилась неделю назад. — Неизвестно, когда теперь в этой заварухе откроют лавку, а соли у нас меньше килограмма.

— И узнай еще у дяди Бендика, куда он отвез Пейко? — крикнул на прощанье отцу Дюро.

Он смотрел в окно вслед удалявшемуся отцу, а мать махала ему белым полотенцем, словно опасаясь, что он уже не вернется.

— Если б нам оставили Язмину или хотя бы коровку, — вытерла глаза мать. Но тут в ее взгляде появилась непреклонная решимость: — Что ж, на то мы и люди, что, когда нужно будет, сами впряжемся в плуг! — Она достала из-за печки молоток и гвозди, бросила взгляд на сына и велела ему подавать ей старые доски. Молча они забивали ими окна, чтобы после войны не искать стекло, которое трудно будет найти.

Они замолчали, устремив взгляды на дорогу, ведущую к Бурной скале. Оттуда постоянно слышались немецкая речь и пьяный смех. У полевых жандармов было явно хорошее настроение. За ремнями у них не было гранат, но каждый из этой троицы нес за спиной по три винтовки.

От Бурной скалы еще шел дым, но он уже редел и к вечеру вовсе прекратился.

Перед заходом солнца возвратился отец. Кроме соли, горсти гвоздей, трех плиток светлого клея, килограмма ячменной крупы, последнего номера «Словацкого мира» и пяти пачек трубочного табаку, он принес еще и газету, в которой сообщалось, что немцы намерены оборонять местечко изо всех сил, а для этого мобилизовали рыть окопы даже школьников.

— И пятиклассников? — спросил Дюро.

— В школе остались только первые три класса.

— Как хорошо, что ты меня не выпустил из дома!

— Тебе привет от каких-то Иордана и Сило.

— Это мои одноклассники. Что они делают?

— Скребут школьные коридоры. Вроде бы там будет перевязочная. А ты, говорят, получишь тройку по

закону божьему и двойку по поведению, — нахмурился отец и выжидающе посмотрел на сына.

— Ты видел отца Эмерама? — простонал Дюро.

— Почему он тебя не жалует?

— Потому что не верит, что у коней есть душа. — Дюро с облегчением заметил, что губы отца невольно растягиваются в улыбке.

— А видел ты дядю Бендика?

— Бог знает где он, дома не появлялся. Вместе с кочегаром Мачинцем бросил паровоз. А поезд с коровами все еще стоит на станции. Скот в нем шалеет от голода и жажды. И вашего учителя Дриена нет нигде. И вообще, многие за вчерашний день и ночь куда-то исчезли. Хорошо, что я с вами.

— Теперь уж не пойдешь никуда? — спросила со страхом мама.

Отец ничего не ответил, хитро улыбаясь, пошарил рукой в мешке и выложил на стол плитку швейцарского молочного шоколада.

— А это у тебя откуда? — удивилась мама.

— Проходил мимо кондитерской Идризовича, говорю себе, спрошу старого Исмета, не продаст ли пару кило сахара. А Исмета боли в пояснице приковали к постели. Сам уж кое-как может спуститься в подвал, а снести туда что-нибудь не в состоянии. Пришлось ему помочь — целый час отправлял туда, в подвал, его турецкое имущество. Вот тебе расписка. Дюро, как начнется после войны сезон мороженого, будешь иметь каждый день бесплатную порцию.

Дюро свистнул от радости, а бумажку немедленно спрятал в секретную железную коробку из-под пряностей, в которой у него уже было двадцать восемь сэкономленных крон, три хрустальных подвеска, крыло африканской бабочки в целлофановом мешочке и старая немецкая почтовая марка достоинством в десять миллионов марок.

— Это похвально — помочь заболевшему, — вернулась к действительности мать, — но где же сахар? Идризович тебе его не продал?

— Говорит, что уже нет и в помине! — помрачнел отец. — Со своей кондитерской точки зрения посоветовал лучше всего купить турецкий мед. Навешал он мне его пять килограммов. — Отец еще раз запустил руку в мешок и извлек из него бумажный пакет с большими желтыми кристаллами. — Если это расто-

лочь в ступе, растворяется почти как сахар, — бормотал отец.

— Ну вот, пора и спать, — сказала мать и погасила потрескивающую свечку.

Сразу после ее слов где-то рядом, совсем недалеко от Лазовиска, застучал пулемет. Коротко, сухо, резко. Тишина, наступившая после выстрелов, была настолько глубокой, что никто не осмелился прервать ее даже вздохом. Мать вышла в сени, взяла фонарь, зажгла его и спустилась в подвал, повесила его там на крюк. Вернувшись наверх, всего лишь минуту, словно колеблясь, постояла над разложенными постелями, а затем принялась сносить в подвал одеяла и подушки.

...Отец с матерью уже давно заснули, а Дюро сделал вид, что спит.

Тут загрохотали разрывы бомб, домик заходил ходуном, с ужасным воем посыпались на Лазовиск коварные мины. Дюро прижался к маме, мать к отцу, отец обнял их обоих тяжелыми, грубыми руками. Широко раскрытыми глазами смотрят они все трое на сыплющуюся штукатурку, раздувающимися ноздрями вдыхают смрадный дым пожара, проникающий вниз через малую подвальную отдушину.

— Яно, выходи тушить! — откуда-то сверху долетел голос соседа Регака. — В бога твоего... горим!

Отец, в упор посмотрев на сына и жену, тяжело поднялся.

— Ты должен идти, — сказала мама и закрыла глаза.

— Ты всегда была мне хорошей женой. — Он погладил ее по щеке, набросил на плечи куртку и вышел из подвала.

Уже было весеннее солнечное утро, когда мужчины собрались у еще дымившегося пожарища и из зеленой большой бутылки пили за свободу вместе с первыми советскими воинами.

— Так говорите, что в горах много одичавших коней? — спросил у бойцов отец.

— Да, — кивнул усатый сержант без каски.

— И они убегают от солдат? — ввернул сосед.

— Боятся... да... — Усатый опрокинул в себя стаканчик и хотел было двинуться дальше. Но едва он сделал три шага, как от Бурной скалы, почти касаясь вершин деревьев, появился самолет и начал поливать местечко свинцовым дождем.

— Сукин сын! — выругался усач, сжав кулаки последний раз в жизни. Отец бросил сына на землю и прикрыл его собственным телом. Веснушчатый высокий боец старался попасть из автомата в хвост самолета. Но тот, издевательски урча, скрылся за горами.

— Отец, его уже нет! Вставай!

Но отец беспомощно лежал на земле, в его ясных голубых глазах отражалась боль.

— Дюрко... ничего... жив... — пытался улыбнуться он.

Высокий боец держал на руках голову усача, что-то быстро говорил ему по-русски и плакал, словно малое дитя.

—Ой, умрет, ой, умрет! — заголосила мать, когда мужчины принесли отца в дом. — С простреленным животом... без врача... умрет...

Дюро гладил, ласкал горячие отцовские руки и не мог себе представить, что будет, если он уже никогда не сможет их погладить. Что, если эти в горячке распухшие губы, со свистом ловившие воздух, уже никогда ему не посоветуют, как надо пахать, сеять и боронить и вырастить на каменистых полянках такой урожай, чтобы исполнился отцовский сон о его будущем.

— Не плачь, Марина, мы поможем тебе, — утешал маму сосед Регак, как будто уже случилось наихудшее.

— Еще жив, — оборвала она его. — Несите его к доктору!

— На руках?

— Если бы он остался в подвале... — залилась слезами мама.

— Я не должен был его звать на пожар, ведь я все равно сгорел... — виновато бормотал Регак.

— Но он бы не был человеком, если бы не пошел!..

Дюро захотелось выйти на пустой скотный двор. Здесь по крайней мере никто не видит, как задумчиво осматривает он свои худенькие руки, а потом и плуг, бороны, косы, сбрую. Со всем этим может управиться только взрослый мужчина. Ну что ж, мама впряжется в плуг, а я... по крайней мере постараюсь удержать его в земле, чтобы борозды были глубокими и ровными. Если бы был хотя бы Пейко.

Что говорили бойцы? Будто бы в горах есть одичавшие кони. Если бы так...

Он выбежал со скотного двора и помчался на лу-

жок, где они вместе с Пейко проводили когда-то самые прекрасные минуты. Он остановился посередине изрытого окопами лужка, окинул взглядом ряд опаленных войной сосен, зажал язык четырьмя пальцами и пронзительно засвистел. Только сойка щебетнула ему в ответ. Через минуту он свистнул во второй раз. Тишина была ответом.

На вспаханной полоске, протянувшейся далеко к пригорку, паслись три фазанихи и их яркоперый петух. Дюро чувствовал, что все-таки что-то должно произойти. Не может быть, чтобы день, в который пришла свобода, остался таким печальным.

Он засвистел в третий раз.

В лесу затрещали ветки и затопали уверенные шаги.

Он зажмурил глаза и ущипнул себя за бедро, чтобы проверить, что не спит: с горы действительно шел к нему Пейко. Жеребенок осторожно осмотрелся, а потом победно заржал и понесся к мальчику. А после, как бы удостоверившись, что людей уже не нужно бояться, из леса вышла незнакомая молодая светлая кобылка. Нежным пофыркиванием позвал ее Пейко к себе. Он гордо и победно посмотрел на мальчика, как будто хотел сказать: «Ну, что ты скажешь?»

— Прекрасная... — похлопал его Дюро по шее и сунул руку в карман, в котором носил железную коробку с турецким медом. Он осмотрел кристалл в руках, положил его на камень, ударил по нему другим, и, когда он делил осколки на равные горсти, Пейко нетерпеливо тыкал его мордой.

— Жаль, что не понимаю лошадиной речи, а то бы послушал, как ты убежал от них, — протянул ему лакомство мальчик.

Пейко с удовольствием проглотил его и любовно посмотрел на кобылку.

Она сразу же поняла и потянулась своей благородной головой к мальчику.

— И ты, оказывается, сластена! — протянул он ей лакомство.

Пейко зафыркал, кивая головой.

— Будешь зваться Язминой, — сказал кобылке Дюро, повернулся и, весело насвистывая, пошел домой.

Кони спокойно шли за ним, но, когда увидели бойцов, испуганно стали.

— Ну идите, идите же, эти вас не обидят.

Они все-таки продолжали стоять, пока Дюро не

вскочил на спину Пейко, не ухватился, как обычно, крепко за гриву и не приказал:

— Домой!

Отец Эмерам вместе с такими же, как и он, под стражей расчищавший улицу после боя, немало удивился, когда перед школой, где сейчас расположился советский полевой госпиталь, остановилась телега, на которой сидел Дюро с вожжами в руках. Напрасно он ожидал, что мальчик поздоровается с ним. Однако на этот раз не решился на него наброситься.

— Работай, монах, работай, — погонял его школьный сторож Зубряк с автоматом через плечо и красной повязкой на рукаве. — А ты не Дюро ли Хмелик? — весело закивал он мальчику. — Разве у вас не забрали коня?

— Взяли, но он вернулся! Потому что у него есть душа! — крикнул Дюро мрачному Эмераму и засмеялся вместе со сторожем. — У русских здесь есть доктор?

— Конечно, и еще какой! А у тебя к нему дело?

— Отца моего ранили, боюсь, что умрет, — погрустнел сразу Дюро.

— А ты не бойся! — ободрил его старый Зубряк и исчез в воротах школы. Через минуту из них выбежали к телеге двое бойцов с носилками.

— Но тебе в школу нельзя! — остановил сторож мальчика перед воротами.

Солдаты с носилками остановились, чтобы Дюро мог попрощаться с отцом. Мальчику свело скулы, и он смог выдавить из себя только два слова:

— Выдержи, папа!

— Спасибо тебе... — улыбнулся отец, превозмогая боль.

А на площади играл духовой оркестр, ветер хлопал веселыми флагами, как бичами, люди танцевали, пели, ликовали и пили, обнимались с бойцами, незнакомые не боялись незнакомых, ворота и окна домов были раскрыты настежь, дружно вызванивали колокола, а школьники, не боясь, что их заругают, писали мелом на каждой стене: СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!

Милан Зелинка

Соната для кленовой скрипки

1

С инженером Марко я познакомился в шестьдесят четвертом году — он тогда был прорабом на Лесной стройке, а я работал на той же стройке в отделе труда и зарплаты.

Я всегда представлял себе прораба плечистым, грубоватым парнем с громким голосом, а Марко был человеком худым, невысокого роста, с нежными чертами лица, с тонкими длинными пальцами и грустными глазами. У него было двое детей, хороший дом, машина, ну и все прочее, что свидетельствует о достатке и благополучии.

Честно говоря, в душе я удивлялся, что рабочие любят Марко. Было непонятно, чем же молчаливый инженер может нравиться шумливым и дерзким парням. Со мной он был строгим и, как мне подчас казалось, неоправданно требовательным. О нем шла молва как о человеке, который всегда выбирает самые трудные участки работы. Говорили, что он неоднократно вытягивал всю стройку из прорыва и брался за такие дела, к которым другие даже боялись подступиться. Благодарности и премии

он принимал так, словно они его и не касались. Все это было необъяснимо для меня, грешным делом, я начал думать даже, не было ли у него в прошлом судимости, не заглаживает ли Марко теперь какую-нибудь старую вину.

Я стал более внимательно присматриваться к этому человеку, старался исподволь проникнуть в его личную жизнь. Но, увы, меня ожидало разочарование: мне так и не удавалось обнаружить за ним чего-либо предосудительного. Всегда он был безупречен, всегда хорошо работал. Всегда был скромен и требователен. В корчму не ходил. С рабочими не пил. И все же ни разу никто не упрекнул его в том, что он сторонится коллектива. Рабочие уважали его тягу к одиночеству и каждый понедельник любезно интересовались, как он порыбачил в субботу.

И все же любопытство не давало мне покоя: у этого человека была какая-то тайна. По любому случаю и без случая я, хотя мне теперь и стыдно вспоминать об этом, стал проходить мимо дома Марко, желая найти хоть косвенные признаки того, что далеко не все там так благополучно, как кажется с первого взгляда. Так я увидел его жену и детей. Жена показалась мне необыкновенно привлекательной, а дети прелестными...

Постепенно мой интерес к тайне инженера Марко стал угасать и угас бы совсем, если бы не один непредвиденный случай.

Как-то сентябрьским солнечным днем я вошел в его времянку. Марко сидел за маленьким столиком и просматривал наряды. Казалось, что Марко совсем не замечает меня. А мой взгляд остановился на его мизинце, который был неестественно вывернут. Раньше я этого не замечал!

Меня пронзило какое-то странное жалостливое чувство, а потом возникла мысль, что между изуродованным мизинцем и тайной инженера непременно есть какая-то связь. Откуда этот изъян? Я стоял и ждал, не примет ли палец инженера нормальное положение. А Марко, не поднимая головы, бросил мне:

— Что же вы стоите? Садитесь. Я сейчас закончу.

Я сел, но взгляд мой был прикован к руке инженера. Мизинец так и не изменил своего положения.

Наконец Марко оторвался от бумаг.

— Слушаю. Что случилось?

Он заметил мой взгляд и убрал левую руку со стола.

— Ничего... ничего особенного, — быстро заговорил я, думая совсем о другом. — Просто я вспомнил, что жена попросила меня купить сливки, а я забыл кошелек в столе, на работе... И вообще, как я теперь доберусь обратно?..

Вскоре мы расстались, и после этого случая я долго не видел Марко.

2

Кончалась зима, холодная и вьюжная, какая бывает в северных районах Словакии. Снегу навалило до крыш. Очевидно, прорабу Марко трудно было выполнять задания в таких условиях. Не знаю. Да я почти и не вспоминал о нем.

Кончалась зима.

В субботу днем я обычно садился к окну и мечтал о весне. Весна! Скорее бы она пришла! Как мне хотелось взять удочку и пойти на Удаву ловить форель. Я мечтал о том, как буду ловить на мотыля, и притом сам, без присмотра пана Гамачека — моего учителя. Я отрывал очередной листочек календаря и включал радио: не начнется ли потепление. А чтобы скоротать время, охотно помогал жене: чистил картошку, пылесосил ковры, разбирал вещи в шкафах. Каждое утро я ходил в магазин да еще заносил бутылку молока бабушке Гаврилковой.

Наконец наступил март, задул с юга теплый ветер. Он принес с собой запах рыбы и речных водорослей. С крыш закапало. Однажды мне почудилось, что кто-то спрашивает меня:

— Зинковский! Чувствуете, какой воздух? А? Вы только вдохните!..

Я открыл окно и высунулся. По улице шли цыгане в расстегнутых пальто, и в глазах у них поблескивали веселые искорки. Пришла весна.

На первую рыбалку я выбрался утром шестнадцатого апреля, а двадцать шестого стало уже совсем тепло и на небе появились большие звезды: они отража-

лись на темной поверхности воды, из которой временами выскакивала форель.

Я бродил по колено в воде и пытался поймать большую килограммовую форель, но мои усилия были тщетны. Я сам придумал лозунг: «Ловить красивую рыбу на красивых мотылей!» — и с удивительным терпением предлагал форели мотылей, делая вид, что меня вообще не интересует, возьмет она их или нет... Так или иначе, но каждый раз мой улов составляли лишь несколько рыбешек.

В конце концов мне надоело зазря проводить время у реки. В ярости ударил я удочками по воде. Брызги взлетели к вершинам деревьев. Над хребтами гор кружили ястребы. С полей тянуло лежалой пшеничной соломой. Я снова вернулся к своей серебряной блесне, спрятав на дно рюкзака коробочку с мотылями так, чтобы они мне больше не попадались на глаза.

Однажды утром, в конце мая, когда я сидел в канцелярии, вошла пани Топинкова.

— Пан Зинковский, — обратилась она ко мне, — инженер Марко подарил нашему отделу форель — вот такую. — Она показала руками, какую именно. — Если хотите полюбоваться, приходите, она в ванне.

Пани Топинкова рассмеялась и вышла из комнаты. Кровь бросилась мне в голову. Карандаш выпал из рук. Меня охватили страшная зависть и злость.

С минуту я сидел неподвижно, а потом со мною произошло что-то необъяснимое: какая-то сила подхватила меня и понесла в ванную комнату; там я склонился над ванной и обомлел: в воде плавала огромная прекрасная форель.

Наступило лето. Каждую субботу я стал выбираться в горы — бродил по их зеленым склонам, собирал в рощах грибы и ягоды. Я вставал еще затемно, натягивал сапоги и потихоньку исчезал из дома. Когда солнце еще только-только окрашивало воздух у горизонта, я уже сидел на корточках за гумном и слушал пение петухов.

Во время прогулок путь мой лежал то через плоскогорья, то через овраги, то через луга; повидал самые прекрасные уголки, и все же душе моей чего-то не хватало... Я ловил себя на мысли, что все это я делаю из-за Марко: просто не желаю встретиться с ним на реке в какой-нибудь голубой излучине, где над водой шелестят сухие ольховые шишки. Эти мысли совсем лишали

меня покоя. Я стал нервным. Даже со стариком Гамачеком не мог спокойно разговаривать.

— Ну что? Погуляли? — спрашивал он.

— Погулял, — хмуро отвечал я.

— Грибов уже нет. Холодно. Не растут, — говорил он.

— И не надо. Я хожу просто так.

— Просто так? Гм... гм. А у Воина вы были?

— Какого воина?

— Разве вы не видели памятник советскому воину?

— Откуда мне его видеть, если я о нем ничего не знаю? Никто мне ничего не говорил.

Пан Гамачек покачал головой.

— Там, наверху, у Трех холмов, похоронен русский капитан. Я думал, что вы туда ходите.

— Нет, у Трех холмов я еще не был.

— Ну что вы! О чем вы его спрашиваете? — вмешалась моя жена. — Разве вы не знаете, что он с детства боится мертвых?

— Помолчи! — прикрикнул я на жену. — Не каждый может быть таким героем, как ты.

3

Я натянул сапоги, хлопнул дверью и ушел в горы. Шел я без остановки, наверное, час, уже задыхаясь от напряжения и проклиная весь белый свет. Я сердился на жену, на пана Гамачека, на инженера Марко и на самого себя...

Я вышел на лесную дорогу. Справа был овраг с крутыми скалистыми скатами; по нему тек ручей, такой маленький, что в нем не могли бы жить даже головастики. Местами дорога прижималась к горе, местами отходила от нее. Подымались вверх двадцатилетние буки. Их корни выступали из земли и дробили аспидный сланец.

Я прошел еще не более пятнадцати метров и вдруг от удивления остановился как вкопанный. Метрах в сорока передо мной шел человек в зеленой куртке лесника с каким-то странным чемоданом в руке. Я вгляделся: это был инженер Марко.

Инстинктивно я спрятался за дерево. Когда затем через минуту высунул голову, чтобы посмотреть, где он, то увидел, что инженер спокойно продолжает свой путь.

На лбу у меня выступил пот. Несомненно, я был бли-

зок к разгадке тайны инженера Марко. Сейчас самое главное — не упустить его из виду. Я должен преследовать его до тех пор, пока он не откроет свой таинственный чемодан. Тогда все сразу станет ясно. Чемодан не казался тяжелым. Что лежало в нем? Деньги?

Приблизительно с четверть часа я следовал за Марко. Чем дальше, тем труднее становилось идти: дорога все круче поднималась в гору. Трава здесь была сырой, земля повсюду изрыта копытами кабанов. Тут, на болоте, они лежали в жаркие летние дни.

Я посмотрел вверх и увидел гребень горы — ровный как линейка. Отсюда к нему вела крутая тропинка. Марко был уже почти в конце ее.

Я начал карабкаться в гору, временами останавливаясь и прячась за деревья. Вскоре я потерял Марко из виду. Боясь неожиданно столкнуться с ним там, наверху, я решил сделать небольшой обход, метров в десять. Ну, вот и конец!

Передо мной раскинули ветви старые сосны. Под их сенью я увидел какой-то цветник. Марко стоял перед ним, все еще держа чемодан в руке. Потом он наклонился, положил чемодан на листья, присел и поднял крышку. И не успел я опомниться, как он выпрямился, держа в руках скрипку.

Я снова перевел взгляд на цветник и только тогда заметил белую плиту. Боже мой! Не на Трех ли я холмах? Не здесь ли могила того советского воина? Ведь Гамачек говорил мне, что где-то тут похоронен русский капитан. Неужели здесь?

...И вот в тиши деревьев неуверенно зазвучала скрипка. Это была тихая, грустная мелодия. Казалось, что она рассказывает о раннем летнем вечере, когда стада возвращаются с пастбищ домой, в избах пахнет топленым молоком и кошки, встав на задние лапы, точат о дерево свои когти... Вот в одном из окон появляется бледное женское лицо. Оно обращено к небу, на котором рождаются звезды. Кто-то зажигает лампу. С улицы доносится тихий звон колокольчиков. Роса ложится на луга, горы еще розовеют, и над ними склоняется синее небо. Кто это там топочет во дворе? Это жеребята резвятся в предчувствии первого радостного галопа...

Я подошел к Марко. Он отнял скрипку от подбородка и, не глядя на меня, спросил:

— Я кажусь вам странным, да? Вы, наверное, думаете, что я сумасшедший?

— Нет... Почему же? Я вас вполне понимаю, — ответил я торопливо.

— Ничего вы не понимаете. Это я уже давно заметил. Что вам неясно? Скажите прямо.

Я вытер пот со лба.

— Ну... да... Я... Вы правы... Я... не знаю, что у вас было общего с тем человеком... который похоронен здесь... Именно у вас. И вообще... почему вы такой... Почему именно вы...

— Хорошо. Подождите, я только уберу скрипку. Здесь неподалеку есть охотничий домик. Там, думаю, нам будет лучше беседовать.

Мы подошли к домику, почерневшему от времени, Марко толкнул заскрипевшую дверь и жестом предложил мне сесть за стол. Он сел сам, сразу же достал сигареты и закурил.

— Вы спрашиваете, что у меня было общего с тем человеком? — сказал он хрипловато и выпустил дым. — Почему именно я... Да... Каждый год, и всегда двадцать пятого октября, я прихожу сюда. Каждый год. Всегда вот так, один и со скрипкой... Вы спрашиваете, что общего у меня с этим человеком... Ну так слушайте!

...Небольшой отряд разведчиков капитана Воронова вошел в деревню Брезники двадцать пятого октября утром. Низкие домики с соломенными крышами выглядели покинутыми, лишенными жизни. Дома стояли целые, война никак не коснулась их, и казалось, что жители деревеньки отлучились куда-то ненадолго все сразу и могут вернуться каждую минуту. Но во дворах не квохтали куры, не мычали коровы, и лишь поэтому, пожалуй, можно было догадаться, что война дотянула свою страшную руку и сюда.

Когда отряд остановился в верхней части улицы, капитану Воронову вдруг показалось, что откуда-то доносятся звуки скрипки. Мелодия была настолько странной и необъяснимо грустной, что капитан повернулся к коренастому сержанту, осторожно шедшему в нескольких метрах от него, и подозвал его взмахом руки. Сержант бесшумно приблизился к командиру, прислушался и с минуту молчал. Да, теперь Воронов слышал явственно: из дома неслись звуки скрипки.

— По-моему, кто-то играет на скрипке, товарищ капитан, — неуверенно сказал сержант.

— Ждите здесь. Я пойду посмотрю, — сказал Воронов.

— Не ходите, товарищ капитан! А вдруг это ловушка?

— Да нет, не похоже...

— Товарищ капитан... разрешите на всякий случай бросить гранату?

— Вы что, с ума сошли?!

— Товарищ капитан! А если и вправду немцы? Если они только и ждут, что мы клюнем и откроем дверь?..

— Оставьте! И суньте-ка свои гранаты за пояс.

— Слушаюсь!

Грустная мелодия звучала то сильнее, то слабее, она неслась над покинутыми крышами и пела о радости, боли и печали. «Скрипичная соната! — пронеслось в голове удивленного капитана. — Кто же это может играть? В такой забытой богом и людьми деревушке — и вдруг скрипичная соната Бетховена?!»

— Загляну внутрь, — сказал он. — А вы будьте наготове. И прошу: никаких глупостей!

Капитан Воронов дернул дверь, и на него пахнуло запахом словацкой хаты. Главным здесь был аромат мореного дерева, пропитанного дегтем, приготовленным по-крестьянски: из древесного угля, уксуса и сосновой смолы. Капитан оказался в низких сенях и остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте; потом он различил голубоватую печь с отбитой штукатуркой, допотопную лавку и ведро — все то, что беженцы не смогли унести с собой.

Звуки скрипки, спокойные и мелодичные, были теперь совсем рядом. Кто на ней играет? Может быть, музыкант, который не пожелал покинуть свой дом? Или какой-нибудь местный учитель?

Капитан Воронов решительно толкнул дверь в комнату — на лавке у окна сидел мальчик лет двенадцати в рваненькой одежонке; на табурете перед ним лежали ноты. Увидев капитана, мальчик замер: подбородок прижимал скрипку, смычок лежал на струнах, и только взгляд выдавал его испуг. Мальчик встал, опустив скрипку вдоль бедра, и сразу стал похож на провинившегося школьника.

— Как тебя зовут? — спросил капитан.

Мальчик молчал.

— Не бойся, я тебя не обижу. Как твое имя?

— Йозеф, — тихо ответил мальчик, опуская голову.

— Йозеф, — повторил капитан. — Йозеф. Очень хорошо! А где твои родители?

Мальчик в ответ только всхлипнул.

— Они живы?

Мальчик по-прежнему молчал.

— Послушай, Йозеф. Ты давно не ел? Ам-ам... Понимаешь?

Мальчик вытащил из кармана огрызок сырой свеклы и послушно протянул его капитану.

Воронов горько усмехнулся.

— Нет, мальчик, — сказал он, с жалостью глядя на него. — Ты неправильно меня понял... Ты понимаешь, что я говорю? Мы советские солдаты, Йозеф, и хотим вам только хорошего. Но почему же ты все-таки один, без матери? Не скажешь?

Мальчик снова потупился. Тогда капитан крикнул в сени:

— Эй, сержант! Принесите-ка сюда банку-другую консервов! И хлеб!

Когда через минуту сержант вбежал в комнату с вещевым мешком в руке, он даже присвистнул от удивления.

— Ну, что вы остановились? Накормите мальчугана!

Сержант вытащил из-за голенища большой нож, открыл консервы, отрезал ломоть хлеба и протянул бутерброд парнишке.

Тот молча схватил его и жадно набросился на еду.

— Скажите лейтенанту Карпенко, пусть найдет приличное место для отдыха. Не исключено, что нам придется задержаться здесь.

— Слушаюсь!

Капитан Воронов устало опустился на лавку, еще раз взглянул на жадно глотающего куски мальчонку, и горло у него сжалось.

— Ешь досыта, — сказал он. — Бери, бери.

«Как это все странно: война, покинутая деревня и вдруг скрипка, этот паренек... — думал капитан. — Почему беженцы не взяли его с собой? Где его родители? Отец, конечно, воюет. Мать или ушла в горы, или была эвакуирована. Но едва ли она могла бросить мальчишку в такое время... Что же с ним делать?»

Жители горного селения, находящегося несколькими километрами южнее Брезников, сообщили разведчи-

кам о внезапно появившейся в округе крупной немецкой части и о марше до зубов вооруженных карателей. Возвращаться к своим придется, очевидно, с боями. Ах, если бы капитану удалось наладить связь с нашими частями!

Его бойцы устали. Но отдых в этой деревушке может дорого обойтись им. Здесь, в котловине, они слишком хорошая мишень для всех видов оружия. Да, скорее всего надо сегодня же уходить вверх, в горы, возвышающиеся над деревней. Если бы у них был пулемет!

Йозеф доел хлеб и теперь торопливо вылизывал консервную банку. Капитан взял нож, открыл еще одну банку, отрезал хлеба и все это пододвинул поближе к мальчику.

Капитан вспомнил горные хутора, находящиеся в двух километрах отсюда. В двух из них дома стояли пустыми, а в третьем жили старик и старуха. Туда можно было бы отвести мальчонку, но как туда пройти, если в любой момент рядом могут оказаться немцы? Послать с ним хотя бы одного бойца — значит ослабить отряд. Ведь нет никакой уверенности, что провожатый вернется живым и здоровым. Да и вернется ли вообще? Нет! Отряд должен быть собран в один кулак. Только так они смогут прорваться к своим.

Капитан Воронов даже не заметил, что паренек уже все съел и теперь виновато стоит перед ним, снова взяв скрипку в руки. Только когда мальчик кашлянул, капитан пришел в себя и, вздохнув, сказал:

— Ну что, Йозеф, пойдем к лейтенанту Карпенко...

Капитан Воронов сидел в сарае на буковой колоде, разложив перед собой карту. Около него, раскинувшись на соломе, спали бойцы отряда, а среди них и мальчик, даже во сне не расстающийся со своей скрипкой.

Через полуоткрытые ворота был слышен голос радиста, безнадежно пытавшегося наладить связь:

— «Вода», «Вода», «Вода»! Здесь — «Рыба», «Рыба». Прием!

Послышался щелчок — радист переключился на прием; из молчащего приемника доносились только шумы и шорохи эфира. И вдруг в тишине раздался неестественно громкий голос:

— Ахтунг, ахтунг! Лорелея! Ахтунг, ахтунг...

В проеме показалось смуглое возбужденное лицо радиста.

— Товарищ капитан! Немцы! Где-то совсем рядом.

— Как, по-вашему, сколько до них?

— Думаю, они в километре, если не ближе...

— Да, как будто прямо в ухо кричат, — сказал капитан и подумал: «Если бы знать, сколько их. Можно было бы подождать их внизу, в засаде, ударить врасплох... А если это та самая часть, о которой говорили местные жители?.. Да еще этот мальчик с нами... Ну что ж, и не в таких переделках бывали, главное сейчас — не терять головы».

Капитан решительно подошел к русоволосому офицеру, что спал в углу с пистолетом в руке, потряс его:

— Вася! Лейтенант Карпенко! Немцы рядом.

— Приказ... — пробормотал Карпенко, не просыпаясь, и вдруг одним движением поднялся с соломы.

— Давай, Вася, быстренько предупреди ребят у моста.

...Наконец капитан дошел и до спящего мальчика.

— Вставай, Йозеф.

Мальчик испуганно сел и молча уставился на капитана.

— Не бойся, Йозеф... Все будет хорошо.

И в этот момент внизу затрещал пулемет. Ему ответили автоматные очереди, раздался сильный взрыв — это сработала мина, заложенная разведчиками под мост на случай, если враг нагрянет именно отсюда, снизу... Оттуда, от моста, к сараю бежали лейтенант Карпенко и еще два бойца.

— Товарищ капитан, — отрапортовал Карпенко, — мост взорван, выведена из строя одна машина, так что время у нас есть...

Через несколько минут отряд, не принимая боя, уходил лесной дорогой вверх по оврагу. Капитан Воронов тянул спотыкающегося мальчика. В нескольких метрах позади них бежал и отстреливался Карпенко. По другой стороне оврага отходил сержант с двумя бойцами. Трое бежали впереди. Еще немного — и они достигнут ровного, как линейка, гребня хребта. Капитан думал о том, что нужно забраться выше — там будет легче отстреливаться. Если, конечно, враг не обойдет их...

— Сержант! Сколько их? — крикнул капитан.

— Человек сорок! — крикнул в ответ сержант и дал очередь в сторону немцев. — Две бронемашины.

— Ах, сволочи! — вдруг закричал один из бойцов. — Дома подожгли!

К небу один за другим взвилось несколько столбов черного дыма. Мальчик заплакал.

— Как можно скорее добраться до гребня! Сообщите всем! На гребень! Чтобы нас не мог достать их пулемет! — крикнул капитан и, обращаясь к парнишке, спросил: — Можешь идти сам?

Мальчик был очень бледен и тяжело дышал.

— Эй, сержант! Возьмите мальчонку на спину и идите правым склоном. Там, кажется, потише.

Сержант посадил мальчика на спину и исчез за скалистым обрывом.

— Есть раненые? — спросил Воронов у подбежавших бойцов. — Нет? Отлично! Всем отходить правой стороной, под прикрытием скал. За поворотом займем оборону. Без минометов им нас не взять.

За поворотом стали слышны выкрики немцев, видны их перебегающие фигурки.

— Лейтенант Карпенко! Организуйте оборону. Я остаюсь здесь, — распорядился Воронов. — Прикройте меня.

И тут из-за поворота выскочила немецкая бронемашина. Капитан Воронов бросил одну за другой две гранаты. Дал очередь из автомата и перебежал вправо по откосу.

Он уже различал прищуренные глаза Карпенко, который непрерывно стрелял по немцам, прикрывая его. Потом услышал шум еще одной машины, увидел пламя, вырвавшееся из ствола немецкого пулемета, и тут же почувствовал, как что-то тяжелое, горячее ударило его ниже колена левой ноги...

Он лежал на сухой осенней листве, красной от крови. Теперь немцы стреляли уже с двух сторон.

— Вася, — приказал Воронов лейтенанту Карпенко, — принимай отряд и обязательно уведи с собой мальчика. Оставь мне побольше гранат, я их задержу.

— Нет, — твердо ответил Карпенко. — Нет!

— На одной ноге далеко не уйдешь. Если бы не я — вы могли бы быть уже далеко.

— Нет и нет! — отвечал Карпенко.

Мальчик расплакался.

— Йозеф, — обратился к нему капитан. — Сыграй мне, Йозеф, что-нибудь тихо-тихо, так, чтобы те, внизу, не услышали.

Мальчик приложил скрипку к подбородку и начал играть. Грустная мелодия рассказывала о раннем летнем вечере, когда коровы возвращаются с пастбищ, а в деревенских избах пахнет топленым молоком и зажигаются первые лампы. Мальчик играл о сентябрьском утре, таком чистом, о росе на лугах, о розовых горах и голубом небе над ними, об искрящейся горной речке, через которую скачут жеребята в буйной радости первого галопа. «Прости меня, мама, — думал мальчик, закрыв глаза, — что я тебя не послушался и один вернулся в деревню за скрипкой...» Он играл, и по щекам его текли слезы. Вдруг Йозеф положил скрипку на землю и закрыл лицо руками.

— Почему не играешь? — спросил капитан.

— Не могу, — всхлипнул мальчик.

Карпенко стиснул зубы.

— Товарищ капитан! Я не могу допустить, чтобы вы тут остались один... Никогда!

— Не бойся, живым они меня не возьмут. А если вы свяжетесь со мной, окружат всех!

— Пусть окружают! — отрезал лейтенант. — Вместе воевали, вместе и умрем.

— Умрем? А этот парнишка? Мы должны спасти мальца. Это наш долг.

— Что его теперь, на руках качать? Ему бы за мамкину юбку держаться, а он потащился в самое пекло!

— Он должен жить, Вася! Это мой приказ... Когда закончится война...

— Когда она закончится — другое дело, а раз она идет — не должно быть никаких скрипок. Когда война, надо воевать и не думать о каких-то мальчиках со скрипками. Подумайте, наконец, о своих собственных детях!

Впереди, совсем близко, послышались взрывы гранат и автоматные очереди.

— Слышишь? — сказал Воронов Карпенко. — Окружают! Давай быстро, а то погибнете все до единого!

— Товарищ капитан!..

— Отставить пререкания! Я пока живой, — ответил капитан. — Еще живу и всю ответственность беру на себя. Я так решил и знаю, почему я так сделал. Идите!

Лейтенант Карпенко наклонился и трижды поцеловал капитана.

— Прощайте, Петр Александрович... Простите меня.

— Счастливо, Вася. Привет Большой земле. Иди же, иди! С богом, Йозеф!

Разведчики уходили по гребню на северо-восток. В середине маленького отряда шел мальчик и беспрестанно оглядывался. Капитан Воронов вздохнул, оперся на локти, прицелился и стал стрелять вдоль склона, по сухой листве которого ползли солдаты в черных касках, поднимались, перебегали, падали на землю...

4

В охотничьем домике долго стоит тишина.

— Конечно, капитан Воронов был человеком особого склада, — говорю я, но Марко сидит неподвижно и молчит, сжимая виски длинными пальцами.

— Вы меня слышите, товарищ инженер?

Марко вздрагивает, приходит в себя и удивленно смотрит на меня. В глазах такая печаль, такое одиночество, что мне становится его жалко.

Марко зажигает сигарету.

— Да, да, — отвечает он. — Вот так, Зинковский. «С богом!» И — все...

Марко глубоко вздыхает.

— Я не сделал в свое время того, что мог сделать... А теперь уже поздно.

— Но мне непонятно! — восклицаю я. — О чем вы говорите? Ведь этот мальчик...

— Для этого мальчика нет никакого оправдания. У него было все, что нужно, чтобы стать блестящим скрипачом-виртуозом. Но он не стал им. Теперь вам понятно?

С минуту я размышляю, а потом говорю, глядя на его левую руку:

— Он не стал им, и я знаю почему. С таким мизинцем нельзя играть. Разве не так?

Марко горько усмехается и отрицательно качает головой.

— Если бы так, Зинковский! Обязательно подавай вам романтическую тайну. И правда, чего бы, кажется, романтичнее: студент-скрипач вдруг получает увечье — в результате трагического случая у него изуродован палец, и все — артистической карьере конец. Хм... А что,

если я вам скажу, что все это неправда, что все было много прозаичнее? Если я вам скажу, что ни у мальчика, ни у юноши не было никакого увечья? Если я вам скажу, что мизинец он сломал несколькими годами позднее? Уже здесь, на стройке?

— Не верю. Вы меня обманываете.

— Я? — Марко грустно качает головой. — Зачем мне вас обманывать?

Я молчу. Инженер подходит к окну. Сейчас он выглядит таким маленьким и щупленьким, что напоминает мне мальчика.

— Я мог стать скрипачом, но не стал, и это не из-за лени, не из-за отсутствия таланта. Талант у меня был, и был я прилежным студентом. Кроме скрипки, я ничего не знал — скрипка была моей жизнью. Дни и ночи я упражнялся и, не случись того, что случилось, мог бы сегодня, возможно, играть на знаменитых сценах. Но артисту, кроме таланта, надо иметь огромную выдержку и волю, которая должна помочь ему в нужный момент преодолеть в себе слабость, способную загубить человека безвольного... Может быть, вам приходилось слышать имя профессора Якубеца. Это выдающийся педагог. Он предсказывал мне большое будущее, но одновременно опасался, как бы я не пошел на поводу у публики, не поддался ее вкусу. Профессор долго размышлял, стоит ли включать мое выступление в студенческий концерт. Я уже заканчивал второй курс. Со слезами на глазах я просил профессора разрешить мне хотя бы одно выступление, тем более что многие из моих товарищей уже выступали по два-три раза, а я еще ни разу. Я ходил за профессором Якубецом и умолял его. Наконец он разрешил мне выступить. Перед самым моим выходом он сказал мне: «Йозеф, прошу вас, пожалуйста, как закончите, не смотрите в зал. Наклоните голову и быстро уйдите». Почему я его не послушал? Я играл скрипичную сонату. В ее исполнение я вложил все свое сердце, все воспоминания: все то, что произошло тогда в деревне и на гребне горы, все то, что было записано теми людьми, поразившими меня и своей жизнью, и своими смертями, в книгу Человека. Теперь я не могу жить по-иному, чем живу. Не могу! Все то доброе, что я делаю, что пытаюсь делать, — это лишь незначительная часть...

— Знаю, — прерываю я его. — Знаю. Не надо об этом, я все понимаю.

— Нет. Я должен вам досказать. Только немного подождите: я передохну.

Инженер Марко идет к окну. Смотрит на горы. Нервно потирает руки. Потом продолжает:

— Когда я сыграл финал, то услышал бурные аплодисменты и возгласы восхищения. Я склонил голову, чтобы не смотреть в зал, как просил меня профессор, и направился к выходу. Но вдруг... вдруг я почувствовал, что не в силах уйти, не взглянув на тех, для кого я играл. Какая-то сила подхватила меня и увлекла снова на сцену. Я увидел горящие лица, взволнованные от счастья. Тогда я понял, что мое искусство может воздействовать на людей, преображать их. Я отдал им все, чем была полна моя душа: радость, грусть и надежды. У меня не осталось ничего...

Профессор подал мне руку и ушел, не сказав ни слова.

С того вечера я без конца просил профессора Якубеца снова разрешить мне выступить. Мною овладело желание, страстное желание воздействовать на людей своим искусством...

И это был конец. Когда профессор не разрешил мне выступать официально, я стал это делать тайно. Потом связался с группой деляг от музыки, игравших по вечерам в ресторанах. Однажды я взбунтовался даже против своего учителя: я сказал профессору Якубецу, что ему уже нечему меня учить, бросил ноты на рояль и ушел.

Марко подходит к пепельнице и долго гасит окурок. Потом трет виски пальцами.

— На экзамен за второй курс я не явился — бродил в Загорье с группой музыкантов, игравших на танцевальных вечерах. Из консерватории меня исключили. Тогда же скрипка начала выходить из моды. И в один прекрасный день мне заявили, что группе не нужен скрипач...

Что дальше... Вскоре меня взяли на военную службу... И вот, отслужив, я решил приехать сюда. Потом стал инженером — уже здесь.

Марко устало умолкает, снова закуривает.

Я подхожу к окну. Гляжу на горы, те горы, которые навсегда вошли в судьбу этого человека. И думаю о том, как, должно быть, трудно ему идти по жизни с тем долгом, что лег на его плечи много лет назад — здесь, в этих горах...

Повернувшись к нему, я говорю:

— Я... я не имею права, если можно так сказать, выносить приговор. Но я думаю, что, если бы был жив капитан Воронов, если бы он был жив, он не только не осудил бы вас, он мог бы гордиться вами. Да! Гордиться! Конечно, вам нелегко. Вы не стали скрипачом... Вы совершили ошибку... Но ваша жизнь, ваша нынешняя жизнь, какой я ее знаю... Вы хороший работник, вы делаете для общества все, что в ваших силах... Нет, вас не за что теперь осуждать. Я вас уверяю, вы можете спать спокойно...

Инженер Марко устало машет рукой, словно бы и не хочет слышать моих слов. Он берет свой чемодан и направляется к дверям.

— Пойдемте, — говорит он, невесело улыбаясь. — А то дома нас уже определенно заждались.


HOTEL STEIERHOF
MC 1085

4

Рассказы чешских писателей

Франтишек Ставинога

Дядя Ондржей был лишь на два года старше моего отца, но умер раньше, чем моя память смогла удержать хоть какие-то воспоминания о нем. Все, что мне известно, я знаю только со слов отца. А чего не знал отец, о том рассказал мне товарищ Чермак, горняк-пенсионер, переживший те давние события.

Этим своим братом отец гордился больше, чем другими, а их у него было немало. Он рос в то время, когда восемь детей в шахтерской семье считалось делом обычным.

Пока мой отец и остальные его братья жили привычной для того времени шахтерской жизнью — боролись с судьбой и с шахтой, оказывались под валами, помирали от увечий и болезней или доживали свой век на пособие — дядя Ондржей жил и умер так, что его жизнь и смерть навсегда сохранились в памяти людей, знавших его, овеянные дыханием того героизма, который когда-то творил историю и нашу современность.

Это была совсем иная гордость, нежели та, что испытывал папаша, когда я получил диплом об



Легенда о шахтерском Геркулесе

окончании техникума. Она была и глубже и значительнее, словно отец сожалел, что сам так никогда и не смог подняться выше стремления заставить шахту обеспечить семье пропитание. А позднее, когда заботы о хлебе насущном отошли на второй план, появились другие: как бы спустить по пивным небывалый излишек.

О дяде Ондржее отец рассказывал много позже, уйдя на пенсию. С пристрастием к подробностям, свойственным старым людям, которые помнят давно прошедшие события и забывают, погасили ли они минуту назад свет в кладовке, он возвращался к временам своего детства, и его рассказ неизменно переходил на Ондржея, старшего брата, родившегося в начале столетия.

Я слушал эти легенды с преступной невнимательностью зеленого юнца, единственной заботой которого были благоволение девчат и успехи в спорте. Для меня это были истории о тридесятом царстве, хотя вдова дяди Ондржея, тетя Йозефка, до сих пор жила в шахтерском поселке Хабешовне. Виделись мы с ней редко, она как-то не прижилась в нашей

семье, хотя провела у нас всю войну. Эта застенчивая недотрога пришлась не по вкусу моей шумной и энергичной мамочке.

Только этим частым повторениям я обязан тем, что сегодня вообще хоть что-то знаю о своем дяде Ондржее.

Он был самым старшим из босоногого племени моего деда, и в его юности не было ничего необычного. Разве что, еще будучи мальчиком, Ондржей отличался необыкновенным аппетитом. Для шахтерского ребенка в этом не было ничего примечательного, если бы уже «в нежном возрасте пятнадцати весен», как писали об Ондржее на ярмарочных афишах, он не обладал незаурядной физической силой.

Это усердие в еде навело моего деда на мысль, что четырнадцатилетнему Ондржею совсем не обязательно быть шахтером. Такая профессия в данных общественных условиях при его ненасытном желудке грозила ему голодной смертью.

И послал он мальчика учиться на пекаря. Тут он исходил из самого простого расчета, что рослый парень играючи овладеет нелегким ремеслом, да при этом еще и поест вдоволь.

Однако при всей бесспорной почетности и необходимости пекарского ремесла пекарня мало привлекала Ондржея. Немало тому способствовала брюзгливость «шефа», обязанность следить за его сопливыми ребятишками, что в те времена являлось неотъемлемой частью жизни подмастерья, так же как и ночная работа, и связанное с ней вечное недосыпание. Единственное, что удерживало парня на месте более года, была лохматая гуцульская лошадка, приблудившаяся откуда-то из Подкарпатской Руси, на которой Ондржей развозил изделия своего мастера.

Да и с обещанной вечной сытостью дела обстояли не так уж и здорово. Поначалу Ондржей до отвала наелся опекишей — испорченной или подгорелой продукции пекарни. Но хозяин быстро смекнул, что бездонная пасть ученика снижает, в сущности, результаты откорма поросят. И он разделил дневную порцию отходов на две неравные части.

Большая доставалась поросятам.

В старом, кишащем крысами и тараканами доме пекарь будил Ондржея ударами по трубе, которая тянулась из его спальни в каморку Ондржея. Будил с без-

жалостной систематичностью, ровно в час ночи — когда надо было замешивать хлеб. Ондржей крутился возле квашни, опьяненный теплом, дремой и кисловатым запахом хлеба. Он мечтал о том, что никогда не станет пекарем, а в один прекрасный день сделается знаменитым борцом.

Конец пекарской карьере Ондржея положил сам мастер. Однажды, когда по приказу трубы ученик не смог достаточно быстро выкарабкаться из запорошенных мукой одеял, хозяин основательно огрел сонного парня дубиной.

После такой бесцеремонной побудки Ондржей сразу проснулся. Проснулся и влепил своему мастеру-учителю такую оплеуху, что тот рухнул как подкошенный. Он так основательно «отделал ему вывеску», что в тот памятный день жители шахтерского городка напрасно ждали своих утренних булочек и хароузского хлеба — обычного своего лакомства.

Чуть позже, в неполных шестнадцать лет, Ондржей поступил учеником кузнеца на Болденку.

Это было совсем другое дело. Трудовое братство суровых парней, гордившихся его атлетическими успехами, больше подходило Ондржею. Да и кузнечное ремесло, требующее смекалки, физической силы и ловкости, полюбилось ему. Кончилась и изматывающая ночная работа.

Однако и здесь заработка не хватало, чтобы утолить ненасытный аппетит. Будущий кузнец и знаменитый атлет начал с того, что снюхался с одним подсобником из цирка, который целую зиму подбирал на болденском терриконе отходы угля. Этот рабочий, уже тертый калач, полюбовался Ондржеевыми бицепсами, усомнился в том, что парню всего шестнадцать лет, и пришел к весьма желательному для Ондржея выводу:

— Будешь знаменитым! — сказал он смущенному соискателю цирковой славы.

Весной, возобновив знакомства с бродячим цирковым и ярмарочным людом, он продемонстрировал нескольким балаганщикам свою «находку».

Вот так и случилось, что имя юного Ондржея начало красоваться на ярмарочных и балаганных афишах, крикливо размалеванных вручную рекламными призывами:

«Непобедимый юноша!»

«Чудо-ребенок с адски развитой мускулатурой!»

Поскольку истина мало заботила балаганщиков, то кое-где на ярмарках они бессовестно уверяли, что Ондржею всего семь лет.

«Непобедимому», в сущности, это было безразлично. Главное, что после каждого выступления он получал несколько обещанных грошей, чтобы тем самым облегчить жизнь отцу и не объедать своих сородичей. Мир сотрясала первая мировая война, и раздобыть еду значило избавить себя от всех остальных забот.

В скором времени Ондржей позволил себе роскошь, в те годы невиданную в шахтерских семьях, доступную лишь представителям обеспеченных слоев, — он купил подержанный, но приличный еще велосипед и на нем объезжал в престольные праздники ярмарки и цирковые представления.

Восемнадцатилетие Ондржея совпало с окончанием первой мировой войны. Не довелось австрийским эскулапам взглянуть на эту благодатную грудь, они также были лишены удовольствия послать такой редкостно развитый экземпляр пушечного мяса на бойню за государя императора и его семейство.

Уже в том юном возрасте Ондржей чаще подумывал о своей собственной семье, нежели о семье трясущегося государя императора.

Как бы невероятно это ни звучало сегодня, но факт остается фактом: знакомство Ондржея с Йозефкой, единственной наследницей владельца швейной фирмы «Тэйлор. Для леди и джентльменов», длилось целых одиннадцать лет. Одиннадцать лет ждали жених и невеста, и все-таки дождались, когда злюку портняжку, который улыбался, только снимая с заказчиков мерку, хватила кондрашка.

Отец Йозефки, вечно озабоченный, не слишком преуспевающий ремесленник, никак не горел желанием выдать свою единственную дочь за голодного борца с медведями, а ведь в плохие времена Ондржей не брезговал и такими поединками. Портного скорее устроил бы жених из средних слоев, например государственный чиновник с видами на пенсию или же, что еще лучше, преуспевающий адвокат или врач. Стойкое чувство к своему «босяку», которое питала во всем остальном забитая и даже меланхоличная Йозефка, доводило папашу до припадков бешенства, во время которых он без колебаний хватался за деревянный портновский метр.

Избитая Йозефка с рыданиями покорно брела в свою

девичью, а ночью очертя голову бежала к любимому Ондржею и орошала его могучую грудь обильными слезами.

Встречались они на старых, поросших зеленеющим березняком холмах терриконов, клялись друг другу в вечной любви и, несмотря на все преграды, стоявшие на их пути, обет свой исполнили в точности. Любовь их благополучно пережила и военную службу Ондржея, на которую Йозефкин отец возлагал самые большие надежды.

Чего греха таить — их прочная любовь сыграла немалую роль в безвременной кончине злобного портняжки. После себя он оставил разоренную, опутанную долгами фирму, в которой, несмотря на хвастливое иноязычное название, никто и ничего теперь не заказывал. А в придачу вдову, такую же забитую и затюканную, как и двадцативосьмилетняя полусиротка Йозефка, которая теперь едва ли вышла бы замуж, если бы не долголетнее знакомство с Ондржеем, парнем в высшей степени честным и порядочным.

Поженились они в двадцать девятом году, а в тридцатом у них родился Йозеф, мой двоюродный брат. Они получили болденскую казенную квартиру в шахтерском поселке Хабешовне, где спокойно жили до самой второй мировой войны.

Последующее десятилетие вовсе не было периодом райского блаженства, но было и не самым худшим в жизни Ондржеевой семьи. Со временем Ондржей получил лучше оплачиваемую должность, место ремонтного рабочего под землей, а позднее работал наверху слесарем подъемного оборудования. Кроме того, он стал специалистом по сшиванию стальных канатов.

Дело дошло до ограничения рабочей недели, в шахту теперь спускались лишь три-четыре раза, а там начались и массовые увольнения. После свадьбы Ондржей покончил со своими ярмарочными выступлениями и при случае подрабатывал у городских кузнецов. Он мог подковать лошадь и справлялся с любым кузнечным делом для крестьянских нужд. Не чурался он и террикона, где собирал уголь, развозил его на тележке и продавал в городе.

Когда начались увольнения, Ондржея выбросили одним из первых. Болденка дала ему не только профессию и работу, он прошел на ней и жизненную школу. У него был горячий нрав и открытый характер, его

яркая внешность и острый ум притягивали горняков, и он вел за собой на прямые столкновения с хозяевами, для них он стал бельмом на глазу. До войны членство в партии не привлекало Ондржея, по крайней мере, насколько мне известно, он туда не стремился. Он вступил в партию уже во время второй мировой войны, когда она была в глубоком подполье, в самый тяжелый для коммунистов период. Этот факт говорит об Ондржее больше, чем любой другой.

— Этот независимый анархист вылетит первым, — заявил известный еще во времена Первой республики горный инспектор Сикора, когда на Болденке за плотно закрытыми дверями тщательно отбирали «смутьянов и большевистский сброд», чтобы тут же уволить.

Ондржей очутился на мостовой. Дома у него был четырехлетний сын и хрупкая, не очень здоровая жена, которая при вторых родах разрешилась мертвым ребенком.

Сколотив компанию себе подобных, он уехал в Бельгию.

На Болденке, даже во времена, когда она дослуживала свой век и которые я сам пережил, никогда легко не жилось. Но о Бельгии Ондржей, возвратясь, рассказывал истории, где рукоприкладство мастеров было еще не самым худшим.

Ондржей побаивался своей горячей натуры и огромной физической силы. Он боялся, что сгниет в чужой тюрьме, вдали от жены и ребенка. И тогда вспомнил о своем другом, борцовском, ремесле. Он распрощался с негостеприимной шахтой и притащился домой с цирком, с несколькими сотнями крон в кармане и с веселой, пестрой дворняжкой, которая привязалась к нему возле какого-то цирка.

Все последующие годы, вплоть до оккупации, Ондржей постоянно отсутствовал. Он скитался по стране с цирками и балаганами, был и подсобным рабочим, и «Таинственной маской», и смотрителем диких животных, а иногда, напялив клоунский наряд, кричал с подмостков гнусавым голосом:

— Господа обманщики, господа обманщики! Я вам буду гофорить карош анекдота!

Уже тогда в борцовском мире было известно имя Густава Фриштенского *. Ондржей встречался с ним во

* Густав Фриштенский — известный чешский борец.

время своих скитаний, и знаменитый борец заинтересовался могучим кузнецом. Но Ондржей не хотел идти к нему. Он уже не был шестнадцатилетним подростком, которого можно было выдавать за чудо-ребенка. У него была профессия, жена и сын. К цирковым скитаниям он прибегал как к выходу лишь в случаях самой горькой нужды. Своей хрупкой Йозефке он посылал деньги и приветы из дальних городов, а в душных комедиантских повозках обнимался с иноземными циркачками. Домой он возвращался, только когда перекрещивались их пути-дороги.

Во время последнего возвращения его и застигла оккупация.

Болденка расщедрилась. Война требовала угля. Однако Ондржея хорошо помнил его бывший мастер, и работы по специальности для него не нашлось. Ондржей поступил на скверно оплачиваемую должность откатчика. Позднее он попал в ряды забойщиков и стал зарабатывать лучше. Прекратились бродячие походы в цирковых фургонах, кончились постоянные заботы о куске хлеба. Однако другие, более серьезные проблемы дали знать о себе.

Ондржей основательно пригляделся к миру. Кое-что ему уже было ясно, чего только он не передумал! Он давно уже понимал, почему большая часть опекишей идет поросятам хозяина, а меньшая — пекарскому подмастерью. Он научился видеть невидимое, слышать неслышимое, угадывать подводные течения в человеческом поведении и мышлении.

Он знал, ждал, что люди придут к нему.

— Эй, Ондржей! — окликнул его как-то раз на работе приятель Эда Чермак.

Хорошо знакомое обращение друзей и тон его заставили Ондржея по горняцкому обычаю присесть на корточки.

— Ну что? — спросил он с наигранным безразличием.

— Ты всегда был свой парень! — бросил вскользь Чермак.

— Чего не знаю, того не знаю, — ответил Ондржей, вспомнив, наверное, свои приключения в цирковых вагончиках.

— Так я это знаю, да и другие тоже, — не сдавался Чермак.

— О чем речь? — Ондржей перешел от прощупывания к разговору в открытую.

— О том, — сказал Чермак, — что в этой дыре попусту расходуется взрывчатка для победы великогерманского рейха. За здорово живешь тут бросаются материалом, который сгодился бы в другом месте.

— А как ты это себе представляешь? — допытывался Ондржей. — Ведь взрывчатка под строгим контролем...

— Мы это себе представляем так. — Чермак сделал ударение на первом слове. — Можно спалить ее меньше, чем запишет в книжечку штейгер... Остаток уже ждут в другом месте.

— А что штейгер? — спросил Ондржей.

— В порядке, наш человек. И если из-за этого недоберешь в получку, он запишет тебе «липу»...

— Я не спрашивал о деньгах, — сказал Ондржей, еще недавно ради денег исколесивший пол-Европы, и выпрямился на затекших ногах.

Так он стал членом нелегальной коммунистической ячейки.

Партийная организация, годами преследуемая гестапо и службой безопасности, продолжала свою работу. Многие ее члены были казнены или сидели в концлагерях. Партия, загнанная в глубочайшее подполье, искала на Болденке новые связи, новых соратников. Одним из них и стал Ондржей.

Его жена ни о чем не знала. Дома он держался как обычно, был спокоен и добросердечен. Лишь вечером перед сном иногда уверял жену, что любит ее как прежде, когда они вдвоем бродили ночами по терриконам. Иной раз он делился с ней своими соображениями, какой будет жизнь после войны, или ронял замечание, что, если вдруг что-то случится, она должна воспитать Пепика так, как если бы он воспитывал того сам.

Йозефка в полусне обещала, не связывая эти разговоры ни с чем иным, кроме его работы. Ведь он теперь был забойщиком, а Болденка каждый год, главным образом перед рождественскими праздниками, требовала своей дани.

Гестапо усилило свою тайную деятельность, особенно в период гейдрихиады *. Агенты наводнили пивные,

---

* То есть в 1943 году, после убийства гитлеровского протектора Чехии Гейдриха.

заводы, привокзальные залы ожидания. Болденскую ячейку раскрыл какой-то Голуб, бывший горняк из Пршибраской области. Один из шахтеров-подпольщиков, привыкший к вечному чувству товарищества под землей, как-то ляпнул, что в новой Европе даже такое товарищество потеряло силу. Как это, собственно, было, никто никогда так и не установил. После войны Голуба повесили. Перед смертью он рассказал, что болденскую ячейку выследил чисто случайно, шестым чувством прирожденного шпика.

О готовящемся ударе гестапо болденские товарищи узнали слишком поздно. Чермак постучался в окно казенной квартиры Ондржея как раз в ту минуту, когда гестаповская машина с командой из четырех человек заворачивала к шахтерскому поселку Хабешовне.

Три гестаповца ворвались в маленькую кухоньку с пистолетами в руках, и один из них скомандовал:

— Хальт! Руки за голову и повернуться к стене. И без глупостей! Мы любим стрелять и стреляем метко.

Это замечание гестаповец бросил, подметив недоброе выражение глаз Ондржея. Они пришли арестовать шахтера, изнуренного тяжким трудом и скудным военным пайком, а встретили тут двоих, один из которых напоминал рослого гладиатора.

Они вытащили из постели перепуганную, ничего не понимающую Йозефку и перевернули вверх дном всю ее скромную квартирку. Несколько раз пнули в маленького Пепика, который спросонья мешался у них под ногами в этой сутолоке.

Ондржею и Чермаку надели наручники. Ондржей мрачно разглядывал свои браслеты. Он выглядел словно силач на ярмарке, готовящийся к выступлению.

Гестаповцы кивнули на дверь.

Была морозная январская ночь.

Возле гестаповской машины крутился промерзший водитель. Он безуспешно пытался завести ручкой заглохший и застывший мотор. Самый высокий и толстый гестаповец, выждав с минуту, раздраженно оттолкнул его и попробовал сам крутануть ручку.

Мотор два раза простуженно кашлянул и смолк.

Верзилу по очереди сменяли двое гестаповцев, шофер пробовал помочь им из кабины стартером, но результат был прежним. Водитель вышел снова. После нескольких бесплодных попыток он истерично взвизгнул и принялся дуть на озябшие пальцы.

Толстый гестаповец наблюдал за ним с возрастающей злобой.

— Не думаешь ли ты, скотина, что мы будем мерзнуть здесь до утра! — заорал он прямо в посиневшее лицо водителя.

Шофер беспомощно пожал плечами.

— Я, наверное, смог бы завести, господа, — подал Ондржей непривычно смиренный голос.

— Ты? — удивился толстый гестаповец.

Но, глянув на фигуру Ондржея, казавшуюся в коротком полушубке еще более мощной, кивнул.

Ондржей протянул закованные руки.

— Стой! — крикнул гестаповец поменьше. — Это опасно. Не стоит связываться.

— Не дури, — ответил тот, что был повыше ростом. — Не замерзать же тут! — Он вытащил свой неизменный пистолет. — Сними...

У Ондржея и в мыслях не было заводить «господам» машину. Он не питал ни малейших иллюзий относительно того, что ждет его в гестаповском застенке. Это была последняя возможность использовать силу своих могучих рук. Вырвав ручку из решетки радиатора, он изогнутым ее концом нанес удар прямо в лицо вооруженному гестаповцу.

Изогнутая ручка была неподходящим орудием. Она выскользнула из руки Ондржея. Он еще успел ударить второго гестаповца кулаком — «отделал ему вывеску», как когда-то своему хозяину-пекарю. Это уже был не паренек, разозлившийся на то, что его грубо растолкали. А враг — не хозяин пекарни. Ондржей ударил, чтобы убить.

Третий гестаповец, наконец опомнившись, разрядил в широкую грудь Ондржея всю пистолетную обойму.

Так погиб мой дядя Ондржей, брат моего отца, кузнец-горняк, шахтер-забойщик и цирковой борец, член подпольной коммунистической организации.

Вот и конец легенды о шахтерском Геркулесе, легенды, ничем не напоминающей историй античных героев. Легенды о его славной жизни и мужественной гибели. Согласно словарю «легенда» — это повествование о жизни священных особ или же предание, вымышленная история. Период второй мировой войны дал понятию «легенда» и иное, не раскрытое словарем значение. Однако самое главное: в этих новых легендах вообще ничего не нужно выдумывать.

Мирослав Рафай

Свет в окнах

Йозеф Ганусек возвращался домой. После обеда он вышел прогуляться и теперь неторопливо брел по набережной. Быстро смеркалось, в окнах загорался свет. По мосту тихо проехал полупустой троллейбус.

Пошел снег. Медленно кружась, с туманной высоты бесшумно летели хлопья. Ганусек снял перчатку, и несколько холодных звездочек упало ему на ладонь. Уличные фонари, помигав, загорелись во всю силу.

Кто-то шел навстречу. Ганусек сделал шаг в сторону и уступил мужчине дорогу. Мир и спокойствие окрест. В самих сумерках ощущение покоя. Рядом, перекатываясь через камни, шумела река, неустанно спеша в серую даль. Снежинки погружались в воду, словно хотели отведать ее на вкус.

Справа тянулись в ряд усердно ухоженные коттеджи. Ганусек проходил мимо, с интересом заглядывая в освещенные окна, откуда веяло теплом и добротой. Он поднял воротник и застегнул пальто на все пуговицы: промозглый ветер, тянувший с реки, пробирал до костей. Домой, однако, не хотелось.

Сегодня Ганусек не ра-

ботал. В такой вот праздничный день он всегда брал отгул. Это уже вошло в привычку, и жена не спрашивала, почему он дома, а сам Ганусек ничего не объяснял. И хотя он не помогал ей по хозяйству — не накрывал праздничный стол, не пылесосил, не бегал за покупками и даже не наряжал новогоднюю елку, — жена была рада уже тому, что он где-то рядом.

До обеда он прочитывал праздничные газеты, потом аккуратно складывал их и, перекусив, отправлялся на непременную прогулку по берегу реки, неутомимой и скромной труженицы, деловито несущей свои воды.

В доме напротив зажглись окна на первом этаже. Ганусек увидел картины на стенах, мебель, резвящихся детишек. Но тут к окну подошла женщина и задернула шторы. Вздохнув, Ганусек двинулся дальше. Свет в окнах словно притягивал его.

Из приоткрытого окна соседнего одноэтажного дома доносилась бравурная мелодия — по радио передавали концерт. Ганусек перешел через улицу, оставляя за собой четкие следы на белом снегу, и остановился, прислонившись к железному забору. Прислушался. Но радио вдруг замолчало, и в неожиданной тишине Ганусеку показалось, что он слышит ласковый шорох падающих снежинок. В комнате кто-то закашлял, а потом чистым и спокойным голосом запела женщина.

Ганусек утратил ощущение времени и уже не знал, как долго стоит здесь. Он размышлял о своей жизни, вспоминал, сколько пришлось ему пережить! Он всегда старался, чтобы люди вокруг знали, что он хочет быть им полезен. В голове, словно сумасшедшие, мелькали тысячи подробностей, в памяти снова вставала вся жизнь с ее радостями и огорчениями, и он пытался разобраться в каждой мелочи, уловить все детали, которые сплелись в книгу его жизни. Ганусек вспоминал время, когда сам ушел в горы к тем, кого тогда преследовали по пятам. Он слышал лай собак, далекие резкие голоса, треск выстрелов, перед глазами вставали полыхающие дома, которые сжигали фашисты, обуреваемые ненавистью.

Огней в домах становилось все больше и больше, и вскоре он увидел, что свет струится изо всех окон. Казалось, эти огни зовут его к себе в гости, чтобы он вошел в дом и увидел тех, вместе с кем изо дня в день ходит на работу, радуется, надеется.

Кто-то тяжело положил ему руку на плечо.

— Что вы здесь высматриваете в чужих окнах? Отправляйтесь-ка лучше к себе домой.

Ганусеку показалось, что он сам уже говорил себе эти слова, но тогда дом был далеко, не вернуться.

Он обернулся на голос. Рядом стоял высокий, широкоплечий мужчина, казавшийся еще крупнее в мохнатой шубе и меховой шапке, надетой набекрень. Ганусек чувствовал на себе его испытующий взгляд и видел плотно сжатый в немом вопросе рот.

Ганусек знал его в лицо, они частенько встречались на улице по дороге на работу или домой, в дождь и в снег торопливо проходили мимо, но не здоровались, ни разу не перекинулись даже словом.

— Так в чем же дело? — нетерпеливо повторил мужчина, холодно глядя в сухое лицо старика. — Идти, что ли, некуда? Ничем не могу помочь. А быть таким любопытным, мягко говоря, неприлично.

Темнота сгущалась. Они стояли прямо в потоке света, что струился из дома, пробиваясь сквозь прозрачный снежный занавес.

Ганусек вспомнил, как когда-то в новогоднюю ночь мечтал увидеть в светящихся окнах многочисленных гостей, охваченных веселой праздничной суетой, полной трепетного ожидания, но тогда вокруг были только деревья, ветви которых провисли под тяжестью снега почти до земли, а вместо освещенных окон — холодные, дрожащие от стужи звезды.

В те годы, когда Ганусек партизанил в Бескидских горах, вечерами он с надеждой и нетерпением глядел вниз, на черные долины, где, однако, не загоралось ни огонька. Все окна в домах были черны, словно жизнь оборвалась, люди вымерли, а свет и огонь, эти вечные спутники человека, исчезли навсегда.

За сотни километров были жена и дети, охваченные тем же тяжелым предчувствием, что больше никогда с ним не встретятся. Он не мог увидеть огоньки в глазах своих детей, свет в зрачках жены. Что за дьявольское было время! Пожалуй, ничто не угнетало его так, как эта темнота и то, что свет исчез из человеческого жилья, из людских глаз и лиц. Он яростно боролся с врагом за свое представление о светлой жизни в этих горах, где сам дважды чуть не погиб.

Вернувшись с войны, Ганусек никогда не занавешивал окна, и свет горел у него до самой ночи. Весной, жарким летом, многоцветной осенью или в черные зим-

ние вечера любой мог заглянуть к нему в дом. И если сам Ганусек замечал в потоке света за окном незнакомое лицо, то знаками приглашал человека войти. Он улыбался, кивал головой, и его нисколько не смущали удивленные взгляды. Для него не было чужих и незнакомых людей, просто раньше у него не хватало времени заглянуть им в глаза.

И жена, и трое детей привыкли к таким его странностям и тоже никогда не зашторивали окон. Зрелище было своеобразное: во всех домах горел свет, но везде окна были занавешены, и только у Ганусека раскрыты.

Зимой сорок четвертого он был тяжело ранен в спину, и пуля проникла в легкое. Два месяца он пролежал в партизанском госпитале — небольшой, сырой и тесной землянке на дне лесного ущелья. А немного поправившись, еще бледный как смерть, выбрался на воздух. Наступал ранний февральский вечер, и темнота пала в долину, словно схватила ее за горло. Забравшись на самую вершину горы, он с нетерпением ждал, что внизу увидит свет, что жители долины дадут ему знать, что они живы. Но долина оставалась траурно-черной.

На обратной дороге он встретил Григара, и тот, положив ему руку на плечо, сказал: «Ничего, Йозеф, все впереди. Еще загорится свет в окнах, а если кто захочет найти дорогу домой, огни укажут ему путь».

Ночь была ясная, искристая. Звезды, зябко поеживаясь в вышине, сияли так, будто и не было войны.

— Знаешь, Григар, я никогда в жизни не буду закрывать окон, потому что мне здесь так не хватает света.

Григар улыбнулся, и они вместе спустились в лагерь.

Ганусек снова почувствовал тяжесть руки на плече и обернулся к высокому статному мужчине, который попрежнему выжидающе смотрел на него. Ганусек заметил, что тот держит полную сумку с продуктами, и уступил ему дорогу. Незнакомец подошел к калитке, вытащил ключ и открыл замок, при этом все время недоверчиво оглядывался на Ганусека, хотя и припомнил, что этого седого мужчину часто встречал по пути на работу.

— Мария! — позвал он нетерпеливо. — Мария!

В окне показалась молодая, празднично причесанная женщина. Она высунулась наружу, чтобы лучше видеть и слышать.

— Задерни шторы, а то здесь какой-то тип таращится в чужие окна. Я за ним долго наблюдал. Мария, слы-

шишь? — повторил он раздраженно. — Закрой окно и опусти шторы.

Он пошел к дому, а женщина прикрыла окно и выключила свет.

— Послушайте-ка, я смотрю в окна, чтобы видеть людей! — крикнул Ганусек ему вслед.

— Шли бы вы лучше домой. Живете где-то здесь поблизости, но поторапливайтесь, праздник на носу, — буркнул мужчина.

— У меня такая привычка, — сказал Ганусек.

— Ничего, отвыкнете, — проворчал мужчина, вытирая ноги.

— Это еще с войны, — продолжал Йозеф Ганусек. — Тогда везде было затемнение, люди боялись друг друга. Правда, не все, но большинство жили в темноте.

— Какое мне до этого дело? Мне тогда всего пять лет было.

— Подите сюда, — позвал Ганусек молодого человека. Йозеф Ганусек быть терпеливым научился в горах.

Мужчина колебался. Он медленно поднялся по лестнице, оставил у порога сетку и вернулся, стал за железным забором напротив Ганусека.

— Вышли бы на тротуар, — предложил ему Ганусек.

Мужчина вышел, оставив калитку открытой.

— Ну и что?

— Скажите жене, пусть зажжет свет, включит радио и откроет окно.

— Это еще зачем? — удивился мужчина, которого старый Ганусек начал занимать. — И вообще, объясните наконец, что все это значит?

— Ну так зовите же свою Марию, — потребовал Ганусек.

Мужчина нажал кнопку, и где-то в глубине дома раздался звонок. В комнате загорелся свет, окно распахнулось.

— Это ты, Милан? — спросила Мария.

— Да, сумку я положил у двери, забери, пожалуйста.

— Ты почему домой не идешь?

— Погоди минутку, — сказал он и, повернувшись к Ганусеку, добавил: — Включи, пожалуйста, радио.

Из окна полилась музыка. Ганусек, глядя туда, начал рассказ обо всем, что сейчас вспомнил.

В окне снова появилась женщина.

— Милан, ну мы сегодня будем накрывать на стол или нет? — нетерпеливо крикнула она.

Помолчав, он ответил:

— Мария, подними шторы в гостиной. Я хочу, чтобы все видели, как мы ужинаем.

Ганусек улыбнулся.

— Это совсем не обязательно. Я рассказал тебе обо всем только потому, что самое красивое в мире — это освещенные окна, и та уверенность, что из них вытекает, и то доверие, радость, любовь и покой, которые они означают. Ты меня понял?

— Думаю, что да, — ответил Милан и благодарно посмотрел на него. — Вы уж меня простите, пан...

— Ганусек, — ответил Йозеф и протянул ему руку.

— Мне неловко, что я прогонял вас.

— Всякое бывает, — ответил Ганусек, глубже натянул шапку и пожелал ему счастливых праздников.

Милан что-то ответил, захлопнул за собой калитку и поспешил в дом. Он зажег свет и принялся помогать жене накрывать праздничный стол.

Ганусек задумчиво и медленно брел по заснеженным улицам.

Уже издали он увидел яркий свет, всегда безошибочно приводивший его домой. Он заглянул в освещенное окно и увидел в комнате жену, двоих сыновей, их жен, дочь с мужем и множество детей. Народу в доме — не повернуться.

Ганусек улыбнулся. Малыш, прижавшись к стеклу, уставился в темноту улицы. Увидев деда, радостно замахал руками и что-то закричал. Окно заполнилось знакомыми лицами, потом старший сын распахнул рамы настежь и крикнул:

— Отец, иди же! Только тебя и ждем.

Он вошел, стряхнул снег, повесил пальто на вешалку и, раскрасневшийся от мороза, сел на свое законное место во главе стола.

Вся семья была в сборе, и он чувствовал себя уверенным и сильным. А свет из его окон струился на падающий снег, на тротуар, на улицы, заливал весь район, и весь город, и, если хотите знать, всю землю. Ганусек чувствовал себя прекрасно. И у всех, кто видел его довольное лицо, разгорался в глазах огонек радости.

Мирослав Слах

Встреча в Граце

— Значит, договорились? — Высокий седовласый мужчина встал, протянул мне руку и улыбнулся. Взгляд серых глаз прямой, твердый и доброжелательный. — Если в Австрии возникнут какие-нибудь проблемы, звоните: в Вене — по первому телефону, в Граце — по второму.

— Не понимаю, о чем вы. Ни в Египте, ни в Индии, ни в Гане у нас не было никаких проблем, кроме сугубо медицинских, конечно.

— Там не было, а в Граце могут быть, как когда-то в Малой крепости, — сказал он серьезно. — Но об этом прошлом вы расскажете на суде. А главное, помните, что процесс привлечет внимание неофашистов и бывших эсэсовцев.

— Показания будут давать десятки свидетелей из Чехословакии и других стран.

— Да, но только один из них — доктор Горский, признанный эпидемиолог, чьи показания могут придать всему процессу совсем иное звучание.

— Вы преувеличиваете, товарищ полковник.

— Нисколько, и вы это знаете.

— Я буду говорить правду, — сухо сказал я.

— Вот и прекрасно, — улыбнулся он довольно. — Если только суд вам это позволит.

Выходя из здания министерства внутренних дел, я чувствовал, что у меня появился не просто новый знакомый, но и хороший друг.

* * *

Вот уже много лет я занимаюсь проблемой сыпного тифа. Люблю свою работу, горжусь ею и дело свое привык делать честно. В медицине вообще нельзя по-другому, а уж в эпидемиологии тем более: за любую халтуру здесь приходится расплачиваться сторицей.

В Малой крепости в Терезине пятнистую лихорадку называли попросту «пятном». Ее возбудитель находится в желудочном тракте платяной вши, и повальная эпидемия распространяется мгновенно, особенно во время войны, в грязи концлагерей и лагерей военнопленных. Стоило раздавить вошь и расчесать ранку, как через пару дней вспыхивал новый очаг сыпняка. И тех, кого не истребили карательные отряды, Йокл, Ройко и Шмидт, кого миновали пуля и виселица, добивал сыпной тиф. И не только в Малой крепости: в конце войны эпидемия должна была охватить всю Чехию.

Вот почему в своей видавшей виды, потрепанной «шкоде» я оказался сейчас на трассе Вена — Зиммеринг — Грац, на серпантине, стремительно спускавшемся в долину реки Мур. По этой дороге через Брук я доберусь до самого Граца.

— Если вы выступите на суде против обершарфюрера СС Штефана Ройко, вам же будет хуже, — услышал я сегодня ночью по телефону. — И учтите, может случиться так, что вы вовсе не вернетесь в Чехословакию, — добавил незнакомый бесстрастный голос.

* * *

Приехав в Вену, я, как обычно, остановился в тихой чистенькой гостинице «Конгрессхаус» на углу Маргаретенштрассе, недалеко от центра города. Здесь у нас проходило несколько медицинских симпозиумов, а в позапрошлом году я и сам выступал тут с докладом. В отеле есть удобный, оборудованный по последнему слову техники конференц-зал и небольшое, по-домашнему уютное кафе с отличной австрийской кухней, а врачи, как известно, большие гурманы.

В одиннадцать вечера мне в номер позвонил все

тот же незнакомец. Как он узнал, кто я, где остановился в Вене, куда еду и зачем — одному богу известно. Ясно одно: он все пронюхал и теперь угрожает мне.

Я уже говорил, что привык работать на совесть, и раз уж меня послали давать показания на суде, то я расскажу всю правду, чего бы мне это ни стоило, даже если десятки и сотни анонимов будут обрывать телефон, угрожая любыми расправами.

Наутро я снова сидел за рулем, размышляя, что и как скажу на суде, ведь я не видел Ройко ни мало ни много восемнадцать лет.

Я включил радио и поймал Прагу. В новостях передали, что завтра в Граце начнется судебный процесс по делу Штефана Ройко. Сразу перестроился на Вену: тут сообщали о перевороте в каком-то карликовом государстве в Африке, о нескольких грабежах и изнасилованиях, зато о процессе ни слова.

Я закурил, выключил приемник и глянул в окно. О, так это мы уже в Бруке! До Граца рукой подать!

Я вдруг страшно обрадовался при мысли о номере в гостинице с душем и чистой постелью. Скорей бы отдохнуть.

Когда я подъезжал к Грацу, глаза уже начали слипаться от усталости. Я быстро открыл окно:

— Отель «Штаерхоф»?

— Джакомитиплац, битте, — ответил постовой.

Одна, другая улица, потом площадь, поворот налево — и я наконец на месте.

Когда я выходил из машины, начал моросить дождь.

* * *

В небольшой гостиной отеля «Штаерхоф» подавали чай и пирожные. Первый секретарь нашего посольства в Вене знакомился с группой чехословацких свидетелей. Это был высокий, подтянутый мужчина в ладном сером костюме, настоящий дипломат старой школы.

— Я хотел бы подчеркнуть одно, — начал он, — в Австрии, как и любой капиталистической стране, смысл и цель жизни — деньги, и только деньги! Если позволите, один анекдот. Надеюсь, почтенный пан Држимала меня простит. — Он легко поклонился старенькому священнику. — Один помещик соблазнил дочь своего батрака. Когда ей пришло время рожать, в нем все же заговорила совесть. Он послал за ее матерью. «Госпожа Шмидт, жениться на вашей дочери, конечно, не могу,

но даю десять тысяч на ребенка, пять — для вашей дочери и три для вас». Мамаша принялась было благодарить хозяина, но вдруг запнулась: «А что, если, не дай бог, выкидыш?! Благодетель вы наш, вы дадите моей дочери еще один шанс?»

Раздался тихий смех.

Склонившись друг к другу, о чем-то оживленно шептались две пожилые женщины. Я сразу узнал их — старшую медсестру Коваржову из Литомержиц, она ездила с нами в Индию, а потом, выйдя замуж, не захотела больше мотаться по свету, и медсестру Дутску, тогда в Малой крепости ей было лет двадцать. Улыбался художник Котал. С 1945 года я видел все его выставки, и там было на что посмотреть! Слесарь Врбата, коренастый здоровяк из ЧКД в Высочанах, мы нашли его тогда в бараке уже полумертвым, шепнул священнику:

— Точно такие же анекдоты рассказывают про англичан.

— И про шотландцев, — усердно закивал головой старичок и закатил глаза к небу; точно так же он обращался к всевышнему и в Малой крепости, но при этом успевал глядеть и на землю, смотреть в глаза всем ужасам, творящимся вокруг, бороться за жизнь ближнего своего, да и за свою собственную.

— Я лишь хотел проиллюстрировать вам здешние нравы, — продолжал первый секретарь, улыбаясь. — Не знаю, как мне это удалось, но, думаю, вы и сами во всем убедитесь. Современная Австрия кажется какой-то запыхавшейся, усталой, измученной шквалами конъюнктуры. Прекрасная, гостеприимная страна, но при этом время — деньги, время — шиллинги, доллары, марки, лиры. Время — это мимолетное сегодня и еще более призрачное завтра. Кто же остановит этого мчащегося наездника? Кто научит оставлять время и для себя, для души? Извините, я, кажется, расфилософствовался. — Он развел руками. — Не стану говорить о неофашистских и неонацистских бандах, орудующих на австро-итальянской границе да и в самой Австрии, вы об этом наверняка читали и слышали; о том, что подавляющее большинство австрийских правых газет умолчало о готовящемся процессе над Ройко: для них гораздо важнее гангстеры, убийства, ограбления банков, изнасилования, а до убийцы тысяч людей в Малой крепости им и дела нет. Но не забудьте, вы здесь не туристы,

вы — свидетели на крупном судебном процессе, ваша задача — рассказать на суде всю правду, невзирая ни на что.

* * *

Наконец мы увидели и самого Ройко.

На нем был зеленый тирольский камзол. Держался он безукоризненно: почему, собственно говоря, его беспокоят спустя столько лет?

— Имя?

— Стефан Ройко.

— Место жительства?

— Грац, Грюнегассе, 8.

— Род занятий?

— Помощник экспедитора. До этого — церковный сторож. (Всего лишь церковный сторож, какая невинность! Но еще раньше — убийца в Малой крепости Терезина.)

Многое изменилось за те годы, что я не видел Ройко. Изменился и он сам. Когда-то всемогущий, наглый, лощеный эсэсовец, вершитель судеб тысяч людей, он превратился в испуганного, сгорбленного, тщедушного человечка, разыгрывавшего перед судом больного душой и телом.

В течение всего судебного разбирательства было заметно, что адвокат Ройко — доктор Бернат, а иногда и сам председатель суда — доктор Паммер пытались доказать, что обвиняемый — это лишь исключение, человек, опорочивший доброе имя отборных частей СС и совершавший преступления по причине своего сумасшествия.

С особой очевидностью это стремление проявилось при допросе чехословацких и австрийских свидетелей, пытавшихся обвинить в убийствах и зверствах не только Ройко, Йокла и Шмидта, но и Шторха, Буриана, Фогта, Левинского и других надзирателей Малой крепости. Однако едва произносились новые имена, как свидетеля перебивали, и пока адвокат опротестовывал показания, председатель сената строго просил свидетеля не отклоняться от темы и говорить только о Ройко.

— Суд не интересуют преступления Генриха Йокла, — злился адвокат Бернат, но даже гнев его был наигранным и театральным. — Чехословацкий народный суд уже несколько лет назад приговорил его к смертной казни, и приговор был приведен в исполнение.

Если же моего подзащитного признают виновным, то и его будут судить по закону...

«Если его признают виновным...» У меня мороз пошел по коже от нелепости, абсурдности происходящего. Но со мной, господа, этот номер у вас не пройдет, как бы вы ни старались.

* * *

Вечером мой аноним снова дал о себе знать.

— Переключить разговор к вам в номер? — вежливо спросил администратор.

— А кто звонит? — наивно поинтересовался я, хотя уже догадывался, кто это. Меня отыскали даже в гостинице «Штаерхоф», им известен каждый мой шаг.

— Извините, господин доцент, но он не представился, — сказал портье. — Соединяю.

Снова я услышал все тот же безучастный голос:

— Господин доцент Горский?

— Слушаю.

— Если вы выступите на суде против обершарфюрера СС Стефана Ройко, приготовьтесь к самому худшему. И учтите, может случиться так, что вы совсем не вернетесь в Чехословакию, — сказал незнакомец бесстрастно и добавил: — Считайте это вторым и последним предупреждением. — Итак, нечто новое по сравнению с венским разговором.

Негодяй швырнул трубку.

Я быстро перезвонил портье.

— Вы не знаете, откуда звонил этот человек?

— Увы, нет. Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, — ответил я устало. — Благодарю.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Сообщить об этих угрозах австрийской полиции? У меня все-таки жена, дети! Но тут я вспомнил прокурора Флика. На первой же встрече со свидетелями обвинения он сказал:

— Вам будут угрожать. Прошу вас, не поддавайтесь. Я и сам перед началом процесса получил десятки писем с угрозами. И их поток растет.

— А полиция куда же смотрит? — спросил один из свидетелей.

— Полиция развернула бурную деятельность. Ищет, подслушивает, следит за приходящей почтой, а может, и за мной самим. Но все, увы, безрезультатно. — Прокурор пожал плечами. — Австрия — свободная страна: вы можете писать что хотите, звонить, кому

хотите! И все же, я верю, вы будете говорить правду.

Он пожал руку каждому из нас и ушел в кабинет председателя суда. Я хотел было сказать, что и мне уже угрожали, но потом подумал: зачем привлекать к себе внимание из-за пустяков, в конце концов, что такое пара телефонных звонков по сравнению с десятками и сотнями угрожающих посланий? С той лишь разницей, что прокурор Флик в Австрии у себя дома, а я за границей. А в чужой стране любой человек чувствует себя не в своей тарелке, даже если портье и горничная ему вежливо улыбаются, гардеробщик подает пальто, а швейцар услужливо распахивает перед ним двери.

Да, все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Может быть, лучше все же позвонить по телефону, который мне в Праге дал полковник Сова, и посоветоваться. Подожду, решил я. Раз уж не стал звонить в Вене, потерплю еще. А давать показания буду.

* * *

Я выступал последним из чехословацких свидетелей. Точно и правдиво рассказал австрийскому суду, как 2 мая 1945 года под эгидой Международного Красного Креста нам удалось проникнуть в Малую крепость, в каком состоянии мы нашли узников концлагеря.

До этого момента меня никто не перебивал. Но когда я стал подробно описывать ужасающее положение заключенных, стоило мне обвинить в этом не только Ройко, но и остальных эсэсовских головорезов-надзирателей — причем по меньшей мере двое из них все еще свободны и безнаказанно живут в Австрии (здесь я воспользовался фактами из секретных документов, с которыми меня перед отъездом на процесс познакомили в нашем Комитете безопасности), — тут же адвокат, а после недолгих колебаний и сам председатель призвали меня говорить только о том, что непосредственно касается Ройко.

— Свидетель, здесь не университетская аудитория, а перед вами не студенты, — произнес адвокат Бернат, притворно улыбаясь.

— Нас не интересуют гигиенические нормы и состояние здоровья заключенных, — заявил доктор Паммер. — Суд занимается исключительно делом Ройко. Сколько раз вам повторять? — добавил он раздраженно.

Я ждал этого момента. Но тут заметил, что просит

слова прокурор Флик: он, конечно же, хотел помочь мне, но я сам, воспользовавшись своим правом, выразил резкий протест против такого ограничения моих свидетельских показаний.

— Я обращаю внимание высокого суда на тот факт, что я не был узником Малой крепости и не могу рассказать, как именно обращался Ройко с заключенными, но как врач-эпидемиолог я не могу не говорить о его вине и о причастности всех эсэсовских главарей к массовым убийствам и казням, к насаждению эпидемий сыпного тифа, свирепствовавших в концлагере и уничтоживших тысячи заключенных, а у остальных подорвавших здоровье! — Тут уж я действительно распалился, как обычно это бывало со мной в университетской аудитории. — Подчеркиваю, эти массовые убийства, истязания голодом и болезнями являются гораздо более жестоким преступлением, чем убийство в приступе гнева или сумасшествия!

Председатель сената нервно и раздраженно совещался с присяжными, адвокат встал с места и вполголоса, неистово жестикулируя, объяснял что-то одному из секретарей. И только прокурор Флик тихо сидел за своим столом, едва заметно улыбаясь. Потом он ободряюще подмигнул мне, подошел к председателю суда и перекинулся с ним парой фраз. Я услышал, скорее почувствовал, что он говорит обо мне, о моей работе в Индии и в Африке, до меня доносились слова: Гана, Аккра, Бихар-Пур. Наверное, прокурор напомнил о моем участии в экспедициях по борьбе с эпидемией холеры в Индии в 1950 году, оспы — в Гане в 1961 году. И откуда только Флик все это разузнал?

Председатель несколько раз кивнул, потом встал и во всеуслышание заявил, что, учитывая международный авторитет свидетеля и его крупные заслуги, суд принимает все его показания и в дальнейшем не станет его прерывать. Более того, показаниям доцента Горского будет придаваться особое значение. Судебное разбирательство переносится на завтра, на девять часов утра.

* * *

Весь вечер я бесцельно бродил по улицам города, любовался памятником Фридриху Шиллеру на Герренгассе, разглядывал витрины магазинов.

Я сел на пустую скамью у реки, наслаждаясь тиши-

ной и покоем. Тогда, в 1937 году, после окончания института, мне казалось, что мне принадлежит весь мир. Но меня забрали в армию и после краткосрочных учений назначили главврачом военного госпиталя в Нимбурке, а потом перевели в Каменски Шенов.

Судеты... После Мюнхена мы отступили на линию Мелник — Млада-Болеслав — Баков-над-Йизерой, почти в самом центре Чехии. Потом мы еще полгода, как говорится, играли в солдатиков. Жалкий спектакль! После оккупации Чехословакии 15 марта нас распустили из армии. До окончания действительной службы мне оставалось еще пять месяцев.

Я долго рассылал запросы, обивал пороги больниц, пока наконец не устроился в терапевтическое отделение роудницкой городской больницы. Получить место было тогда совсем не просто.

Я проработал в Роуднице всю войну, там женился, там у нас родился первый сын, а весной 1945 года именно в нашей больнице были зафиксированы первые случаи тифа. Эти больные оказались бывшими заключенными Малой крепости Терезина. Мы сразу же сообщили об этом подпольному руководству и получили задание под флагом Международного Красного Креста проникнуть в Малую крепость и подготовить почву для новых медицинских групп. Но главной целью было объявить карантин. Впервые увидев весь кошмар и унижение человека в Малой крепости, я отказывался верить своим глазам.

При помощи советских военврачей и благодаря мужеству всего медперсонала нам удалось ликвидировать эпидемию сыпного тифа. А когда я снова вернулся в роудницкую больницу, меня ждал приятный сюрприз: я был назначен главным врачом; самый молодой главный врач в республике — мне было тогда ровно тридцать.

Так прошло лет пять-шесть. Я начал серьезно заниматься бактериологией и эпидемиологией, опубликовал несколько статей в специальных медицинских журналах.

В июне 1951 года мне позвонил из Праги доцент Тула, под руководством которого я работал в Малой крепости, и предложил на несколько недель поехать с группой чехословацких врачей в Индию, в штат Бихар, где вспыхнула страшная эпидемия холеры. ООН обратилась к государствам-участникам с призывом направить в Индию медицинские отряды.

— Я еду руководителем нашей группы. Поедешь с нами? — предложил мне Тула.

— А как же больница? — пробормотал я.

— Обойдутся как-нибудь без тебя. Ну что, согласен? Наше министерство быстренько оформит все бумаги.

Я согласился.

Первыми заболели несколько землекопов в англо-индийской археологической экспедиции в долине Бихар-Пур. Сперва на это не обратили серьезного внимания, всем было важнее отыскать новый наскальный храм прежде, чем начнется сезон дождей. Потом заразилось еще несколько рабочих. Двое умерли. Отдельные случаи перерастали в эпидемию, перекинувшуюся на ближайший город. А когда перепуганные археологи наконец поняли всю степень опасности и забили тревогу, было уже поздно. Холера распространилась по всей долине. Санитарный кордон индийской армии оказался бессилен, нагрянул грозный враг.

В городе и по всей долине разъезжали машины с репродукторами, то здесь, то там слышалось: «Не пейте ни капли воды без предварительной очистки и кипячения! Не ешьте продуктов, не убедившись в их свежести, они могут быть заражены холерными палочками! Чаще мойте руки мылом в растворе марганцовки! Ни в коем случае не прикасайтесь руками ко рту. О малейшем недомогании сообщайте врачам!»

Я до сих пор слышу эти голоса, доносящиеся из репродукторов, шум моторов, лай собак, удиравших из-под колес.

Медицинские отряды со всего мира привозили тонны лекарств, сотни опытных медсестер ухаживали за больными, установилась строжайшая дисциплина, гигиена воцарилась там, где прежде о ней понятия не имели. И так до тех пор, пока наконец не удалось победить эпидемию, так и не переросшую в пандемию.

Уезжая из Бихара, мы встречали на дорогах группы людей. Они махали нам пальмовыми ветвями и кричали: «Хинди — чехи, бхай, бхай!»

После возвращения я недолго задержался в Роуднице, буквально через месяц мне предложили место научного сотрудника в Институте бактериологии при медицинском факультете Карлова университета.

И снова меня направили за границу — на этот раз в Египет на эпидемию брюшного тифа.

Потом сбылось: я стал доцентом. Завертелась ежедневная карусель лекций, экзаменов и коллоквиумов. «Тех, кого боги ненавидят, они делают учителями», —

посмеивался профессор Тула над моими каждодневными педагогическими заботами, хотя сам он преподавал уже много лет.

В 1961 году нам предложили поехать в Африку, в Гану. В окрестностях Аккры вспыхнула эпидемия оспы, грозившая перерасти в пандемию. По просьбе Всемирной федерации врачей Чехословакия направила в Гану большую группу эпидемиологов, инфекционистов, диагностов и медицинских сестер, специально обученных для работы в тропиках.

Мне никогда не забыть того дня, когда я вступил на деревенскую площадь в небольшом селении севернее Аккры. Нигде ни души. Вокруг мертвая, жуткая тишина. В хижинах нам открылись еще более ужасные картины. Воздух был пропитан запахом гноя, черные тела метались в горячке, одни были в начальной стадии болезни, лица других покрывала красная сыпь, еще не налившаяся гноем, многие были уже при смерти.

И только в одной хижине мы обнаружили троих здоровых парней со следами прививок.

— Почему прививки только у вас троих?

— Мы в прошлом году ездили в Аккру, а там в тот день как раз делали прививки, — ответил один из них.

— А в деревне?

— Когда приехали врачи, все убежали в лес по приказу великого колдуна Фудру, — признался второй юноша.

Пока мы успешно боролись с оспой, из джунглей и болот Того, граничащего с Ганой на востоке, ворвался новый враг — вирусная лихорадка неизвестного происхождения, болезнь с очень странными, не поддающимися обычной диагностике признаками. Прежде считалось, что эти локальные лихорадки не представляют какой-либо серьезной опасности для других стран. Но сегодня, в век реактивных самолетов, достаточно немногих часов, чтобы смертоносный вирус проник на другой конец света.

Из Ганы мы возвращались удрученными и подавленными. И хотя поставленную задачу мы там выполнили, но во второй раз в жизни я понял, что иногда медицина бывает бессильна. Впервые я это ощутил в Малой крепости, к счастью, только в начале нашего пребывания там. Но медицина борется даже тогда, когда кажется беспомощной. В прошлом году мы получили сообщение, что одной из лабораторий удалось выявить

загадочный вирус, после чего он был ликвидирован и в Африке. Его носителем оказалась моча лесных крыс. Ну и вывести действенную вакцину теперь уже не составляло большого труда.

Однако все это происходило в иных краях, а я здесь, в Граце, и завтра мне давать показания о Ройко, о Малой крепости, о сыпном тифе.

* * *

Я вернулся на многолюдные улицы Граца, в толпу горожан, спешивших этим сентябрьским вечером с работы домой. Погруженный в свои мысли, почти не обратил внимания на двоих, не отстававших ни на шаг.

Я как раз собирался перейти улицу, ведущую прямо к Джакоминиплац, и ждал на краю тротуара, когда загорится зеленый. Вдруг сзади кто-то толкнул меня с такой силой, что я качнулся и упал на мостовую, прямо под колеса «мерседеса». К счастью, в этот миг вспыхнул зеленый, машины резко затормозили, и та, под колесами которой я неминуемо должен был оказаться, застыла в нескольких сантиметрах от меня. Сперва меня прошиб пот, потом мороз побежал по коже. Я стал медленно подниматься.

Тем временем водитель «мерседеса», загорелый молодой парень спортивного типа, выскочил из машины и подбежал ко мне.

— С вами ничего не случилось? — спросил он озабоченно.

— Пьяный, наверно, — шумела толпа, обступившая место происшествия.

— Никакой он не пьяный. Я все видел, — вдруг услышал я знакомый тоненький голосок. Пиколо Пепи из моего отеля! Мальчуган в коричневой униформе, украшенной золотыми нашивками, подскочил ко мне, помог подняться и, отряхивая с меня пыль, подал портфель.

— Что ты видел? — раздался строгий голос полицейского. — Что здесь случилось?

— Пьяный под колеса свалился, — гудела толпа.

— Я не виноват, — защищался водитель «мерседеса».

— Нисколько. Я вам должен быть благодарен, — выдохнул я.

— Я все видел, — не унимался Пепи.

— Ну, тогда говори, — гаркнул полицейский и вытащил из кармана потрепанную записную книжку.

— Господин Горский живет у нас в отеле «Штаерхоф», здесь, за углом. Он ждал на переходе зеленый свет, — начал мальчишка.

— Дальше, — торопил его полицейский.

— Я возвращался в гостиницу. Вдруг вижу — господин доцент... Он задумчивый такой шел... А за ним двое мужчин. Эти типы его преследовали.

— Ты, парень, похоже, детективов начитался, — перебил его полицейский.

— Нет, господин полицейский, — завертел головой Пепи, — я все видел. У перехода эти двое встали прямо за господином доцентом. Они всех растолкали, лишь бы к нему поближе пристроиться. Тот, который поменьше, с черной густой бородой, все время через плечо оглядывался, и когда второй, длинный, у него, господин полицейский, на щеке шрам, кивнул...

— Этого высокого со шрамом я тоже видела, — перебила Пепи пожилая дама, — он отпихнул меня, лишь бы встать у самого перехода. И даже не извинился! — Она победно огляделась вокруг.

— Вам еще дадут слово, — оборвал ее полицейский. — Продолжай, продолжай, — кивнул он Пепи.

— Когда тот, со шрамом, кивнул, коротышка сзади так пихнул господина доцента, что он грохнулся на мостовую. Еще здорово, что «мерседес» быстро затормозил, — закончил рассыльный.

— А где эти двое? — Полицейский все подробно записывал в блокнот.

— Удрали, гады!

— Что ж, пройдемте в комиссариат, составим протокол. Вы, господин доцент, как пострадавший, мальчик, водитель и вы, — он указал на пожилую даму, видевшую мужчину со шрамом.

— По-моему, не стоит, — вмешался я. — Ничего ведь не случилось.

— Так вы не будете подавать жалобу на этих двоих? — удивился полицейский.

— А зачем? — вздохнул я.

— Ну, как знаете, — ответил полицейский, с видимым облегчением пожал плечами, потом захлопнул записную книжку, отдал честь и медленно, с достоинством удалился.

Я пожал водителю «мерседеса» руку, поклонился

пожилой даме и вместе с Пепи отправился в гостиницу.

— Все на самом деле было так, как ты говорил? — спросил я.

— Конечно, — кивнул он.

Из номера я сразу же позвонил по телефону, который мне записал полковник Сова. Раздался приятный женский голос, но, когда я представился, трубку взял мужчина.

— Говорите, товарищ доцент, — коротко велел он.

Я рассказал обо всем случившемся. После секундного молчания он спросил:

— Вам уже угрожали?

— Да, дважды. Один раз в Вене, а потом здесь, в Граце.

— Когда в Граце?

— Вчера вечером.

— Почему же вы сразу не сообщили? Вам следовало позвонить еще в Вене.

— Я думал...

— Да, да, — перебил он меня. — Вы думали, что это лишь пустые слова. Нацисты не шутят, — добавил он серьезно. — Я предприму кое-какие меры. Но если вдруг возникнут сложности, звоните.

— Позвоню, — пообещал я.

— Ни пуха ни пера вам завтра на суде.

Мы пожелали друг другу спокойной ночи, я выпил снотворное и вскоре спал как ребенок.

* * *

Никогда у меня не было более внимательных слушателей, чем в тот октябрьский день в зале суда города Граца. Пока я говорил, стояла такая тишина, что казалось, будет слышно, как пролетит пресловутая муха, если бы ей вздумалось появиться.

Весной сорок пятого года группа чешских медиков получила задание подпольного ЦК КПЧ и Чешского национального совета изучить под эгидой Международного Красного Креста эпидемиологическое положение в Малой крепости в Терезине и помочь заключенным. Мы должны были определить общее состояние узников концлагеря и по возможности принять элементарные гигиенические меры, а также подготовить почву для других медицинских групп, которые были бы лучше оснащены и укомплектованы.

У ворот концлагеря мы долго препирались с караульными, предъявляли разные удостоверения и разрешения. С территории доносилась непрерывная стрельба. Каждый выстрел, каждый залп означал смерть, для нас была важна каждая минута.

В конце концов нас все же впустили и провели в офицерскую столовую, где приказали ждать начальство. Вскоре появился эсэсовский офицер Клейн. В последние дни существования Малой крепости он был назначен заместителем начальника лагеря. Выслушав нас, он, как бы оправдываясь, доверительно сообщил, что против воли его командировали в крепость и он знает, какой ценой ему вскоре придется платить за такое «повышение». Потом признался, что хорошо понимает чешский и, насколько это в его силах, постарается помочь нам. Он, правда, сомневался в возможности успешных переговоров с обершарфюрером СС Ройко, который в отсутствие Йокла вместе с гауптвахмистром СС Шмидтом стал полноправным хозяином лагеря. «Сам-то Генрих Йокл, как только узнал, что в концлагерь должна приехать комиссия Красного Креста, сразу сбежал на какое-то совещание в Прагу», — с плутоватой улыбкой добавил Клейн.

Между тем один из эсэсовцев вышел из столовой, чтобы предупредить Ройко. Долго ждать не пришлось. Вскоре я заметил, как какой-то разъяренный офицер несется к столовой. По дороге он сбил с ног заключенного, не успевшего вовремя увернуться. На щегольской форме эсэсовца темнели следы крови. Он был пьян. Обершарфюрер СС Ройко был вне себя от ярости — его отвлекли от «важного дела». Нетрудно догадаться, что это было за дело. Мы сразу заметили, что с приходом Ройко стрельба прекратилась.

В страшной реальности мы убедились воочию, увидев возле ворот сваленные на телеги около пятидесяти мужских и три женских трупа с простреленными черепами. В последний момент фашисты все же успели расстрелять членов подпольной организации «Авангард». Но вернемся к Ройко. Несколько минут он остервенело метался вокруг нас, потом хлебнул коньяку и принялся орать, что хорошо бы поставить всю нашу комиссию к стенке и перестрелять всех до одного.

Но потом, кажется, на него все же подействовали повязки с красным крестом на рукавах наших плащей. С разрешения Клейна мы наконец смогли начать об-

щий, хотя бы беглый осмотр бараков, за исключением четвертого двора, куда нас не захотел впустить даже Клейн, ведь он прекрасно знал о тех зверствах, которые там творятся. Выстрелов мы больше, пожалуй, уже не слышали...

Вот так я и познакомился с Ройко. Мне никогда не забыть того дня.

Камеры так называемой больницы кишели изможденными телами весом по тридцать-сорок килограммов, люди с необработанными ранами, завшивленные, в грязных, драных лохмотьях; на одних нарах валялись больные сыпным тифом и другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, живые рядом с мертвыми, так что в первый момент в полутьме мы даже не могли разобрать, где трупы, где живые люди.

— Нет, я не в состоянии описать высокому суду то парализующее ощущение ужаса, которое испытал в Малой крепости. Ни в Индии, во время эпидемии холеры, ни в Гане, где свирепствовала черная оспа, я не видел такого кошмара, столько страданий и отчаяния, как в мае сорок пятого года в Малой крепости Терезина. И в ответе за весь этот ужас — Йокл, Ройко, Шмидт, но это не снимает вины и со всех остальных. Сами они могли не бояться заразы — у всех у них были прививки и необходимые средства для изоляции, дезинфекции и лечения. С заключенными дело обстояло иначе.

Мало того, что заключенных убивали, казнили, что сотни их умирали от голода. Крепость превратили в рассадник страшной эпидемии сыпного тифа и других инфекционных заболеваний, а в самом конце войны фашисты совершили еще более чудовищное преступление: людей, зараженных брюшным тифом или дизентерией, они выпускали на свободу. Цель у них была одна — поразить всю Чехию массовой эпидемией сыпного тифа. Это удалось предотвратить благодаря бдительности чешских медиков и помощи врачей Советской Армии. Несколько незначительных вспышек в районе Градца Кралова, в Южной Чехии и в округе Терезина были быстро ликвидированы.

Но рассказ о ликвидации эпидемии сыпного тифа в Малой крепости, о наложении карантина на концлагерь уже не входит в мои свидетельские показания на процессе о Ройко.

Мой рассказ, полагаю, произвел сильное впечатление на суд, на присяжных и журналистов, на всех присут-

ствовавших в зале. Сам Стефан Ройко на вопрос председателя о точности и правдивости моих показаний ответил, к моему большому удивлению:

— Да, все так и было.

Голубой микроавтобус петлял по горному серпантину в Альпах. Наше посольство в Вене пригласило группу свидетелей из Чехословакии и других социалистических стран на субботу и воскресенье в Инсбрук.

Дорога заняла почти все субботнее утро, но игра стоила свеч, хоть миновали мы семь перевалов и семь рек.

— Три тысячи семьсот двадцать восемь метров! — с восхищением воскликнул художник Котал. Он сидел рядом со мной и всю дорогу усердно рисовал.

Характерное движение кисти, остро прочерченные карандашные линии, цепкий взгляд — все это вызывало живые воспоминания.

Он сидел в бараке на деревянных неструганых нарах — настоящий живой труп — и рисовал, рисовал... Тогда он выглядел старше, чем теперь, хотя на самом деле ему едва исполнилось двадцать пять. Воспаленные глаза пылали жаром, но рука оставалась твердой. На клочках оберточной бумаги огрызком карандаша он рисовал весь тот ужас, который видел вокруг. Грязные, завшивленные страдальцы, такие же, как и он сам, истощенные, прозрачные лица, испуганные, дико вытаращенные глаза, отражавшие вселенские муки и страдания.

— Что вы рисуете, дружище? — спросили мы тогда удивленно.

Он испугался, как маленький ребенок. Клочки бумаги молниеносно исчезли у него на груди под разодранной, тысячу раз перелатанной рубахой. Потом он взглянул на нас, соскочил с нар, вытянулся по стойке «смирно», и его серые, потрескавшиеся губы пробормотали: «Нуммер 1278. Ничего, это ничего, извините». И, только узнав, что мы — врачи и принесли ему свободу, а возможно, и выздоровление, зашептал:

— Это — улики, свидетельские показания. Вся людская боль, каждая детская слеза будут с нами до тех пор, пока жива человеческая память, а я хочу ей помочь.

Вот какие свидетельские показания представил

художник Котал на минувшей неделе суду в Граце. Рисунки и картины вместо слов. Адвокат Бернат, просмотрев стопку рисунков, покачал головой и брезгливо отодвинул их в сторону.

— Не станете же вы утверждать, что все эти рисунки сделаны в Малой крепости. Такие ужасы вы могли нарисовать где и когда угодно. — В зале суда воцарилась пугающая тишина. Художник Котал грустно улыбнулся, а потом покачал головой.

— Мог бы, но ваши эксперты уже наверняка подтвердили возраст бумаги и мое авторство, ну а достоверность и документальную ценность рисунков подтвердят другие свидетели.

— Кто, например? — рявкнул адвокат.

— Доцент Горский. Он приказал отнести меня в изолятор буквально с карандашом в руках и с рисунками, спрятанными на груди.

Я подтвердил его показания.

Из воспоминаний меня вернул к действительности наш советник по культуре в Вене Валента.

— За нами Альпы, впереди долина реки Инн, Инсбрук и снова Альпы.

Мелкая, узкая река. Древний красивый город. Прекрасный современный мост через долину.

Не отрывая глаз, мы любовались Альпами, возвышающимися над городом. Горы, окрашенные цветом роз и колокольчиков, словно вынырнули из облаков в последних лучах заходящего сентябрьского солнца.

— Красота, красота, — повторял дрожащим голосом старый священник Држимала. — Красоту человек должен уметь видеть, сберегать ее в душе, в сердце.

Накануне он покашливал и сомневался, ехать ли. Пришлось мне начинить его антибиотиками и витаминами.

Микроавтобус переехал через Иннский мост, и мы очутились в лабиринте улиц и переулков Инсбрука.

Наша группа разместилась в старом симпатичном отеле «У золотого орла». После обеда мы гуляли по городу, а вечер провели в старом уютном баре, в подвале гостиницы, куда нужно было спускаться по деревянным ступеням. Старые надписи на стенах гласили: «Человек, не будь в этом мире одинок!»

* * *

Теперь я уже не разгуливал по улицам Граца с прежней беззаботностью. Нападение средь белого дня на

одной из самых оживленных улиц города меня действительно насторожило. Приведись умирать от какой-нибудь страшной эпидемии — ладно, это профессиональный риск! Но убийство?!

В зале суда, в сущности, уже не происходило ничего интересного: сверялись записи, выслушивали последних австрийских и немецких свидетелей. Завтра с заключительным словом выступят адвокат и прокурор, получит последнее слово и обвиняемый, а в пятницу, 4 октября, трибунал вынесет приговор.

Я был рад, что процесс наконец заканчивается и в субботу я смогу уехать домой, увижу жену и детей, буду среди обычных радостей жизни.

А если б «мерседес» вовремя не затормозил...

* * *

В пятницу, 4 октября 1963 года высокий суд города Граца вынес приговор. Обершарфюрер СС Стефан Ройко, проживающий по адресу Грац, Глюнегассе, 8, помощник экспедитора, бывший церковный сторож, а до этого убийца тысяч узников концлагеря Малая крепость в Терезине, был приговорен к пожизненному заключению с полутора годами строгого режима. Самая строгая мера наказания в Австрии.

Я написал последние открытки друзьям и после ужина, попрощавшись со всей нашей группой, пошел в номер уложить вещи. Утром я хотел выехать сразу же после завтрака. Разложил на столе вещи, ворох книг и открыток, сувениры, начал складывать чемодан.

Вдруг раздался телефонный звонок. Сердце у меня так и екнуло: аноним. Нацисты узнали решение суда — и теперь... Я поднял трубку.

Но это был не аноним. Звонил человек, телефонный номер которого я получил в Праге.

— Приветствую вас, товарищ доцент. Я хотел с вами попрощаться и поблагодарить вас.

— Скорее это я должен вас благодарить, — начал я.

— Каждый из нас делает свое дело. Я хотел попросить вас об одной любезности.

— Да?

— Насколько я знаю, завтра вы уезжаете один.

Я коротко усмехнулся:

— Никто не доверяет моему шоферскому мастерству. Все возвращаются поездом.

— Да, да, знаю. Это намного разумнее.

— Что вы имеете в виду? — заметил я раздраженно.

— Это я так, к слову, — на этот раз засмеялся он. — Перейдем к делу. Вы не могли бы взять с собой попутчика? Только до Вены. Наш советник по культуре хотел бы доехать с вами. Его машина в ремонте. Ну как, возьмете?

— Конечно. Буду рад.

— Вот и хорошо. А еще лучше, если время от времени вы будете доверять ему руль. Водитель он классный и дорогу Грац — Вена знает как свои пять пальцев. А вы отдохнете, страной полюбуетесь. Поверьте, в этом есть свой смысл.

Значит, опасность еще не миновала?

— Это приказ? — взволнованно спросил я.

Он рассмеялся в ответ:

— Ну что вы, конечно, нет. Я вовсе не хотел вас обидеть. Просто Валента — такой же щепетильный водитель, как и вы, за рулем никому, кроме себя, не доверяет. Так что вы уж хотя бы иногда меняйтесь. А главное, уступите ему руль на зиммерингском серпантине. Счастливого пути! — коротко добавил он и сразу повесил трубку.

* * *

Советник Валента появился в кожаном пиджаке, с портфелем в руках.

— Вы не сердитесь, что я к вам навязался? — весело спросил он и как ни в чем не бывало уселся за руль. — Наш общий знакомый, — имени его он так и не назвал, — заверил меня, что вы разрешите мне вести. Обожаю старые «шкоды».

Он не умолкал ни на секунду и, прежде чем я успел опомниться, включил газ, и мы тронулись. У дверей отеля мне махал на прощание Пепи. Мы вклинились в неторопливый субботний поток автомашин.

— Теперь пару часов будем отдыхать, — сказал мне Валента.

— А потом? — спросил я тихо.

Он пожал плечами:

— Там видно будет.

* * *

Мы начали подниматься по зиммерингскому серпантину. Справа от шоссе — глубокая пропасть. Местами дорога огорожена, но некоторые участки оставлены

открытыми. Нас неотступно преследовал серый «мерседес». Прибавив скорость, он обогнал нас, словно загнав в мышеловку, и вдруг неожиданно резко затормозил, остановившись как вкопанный. Трюк старый, но верный.

— Сволочь, — сплюнул Валента.

Завизжали тормоза. Мы медленно стали объезжать «мерседес». Я прильнул к окну, чтобы получше разглядеть водителя, но увидел только спину в кожаной куртке. «Мерседес» пустился снова за нами вдогонку, потом снова стал перегонять нас.

В этот момент мы почувствовали первый толчок. Потом сразу — второй. Прижимает к обрыву. Я слышал лязг железа о железо. Буквально на секунду мне удалось увидеть лицо шофера, и я сразу узнал его: это был тот самый молодой загорелый владелец серого «мерседеса» из Граца... Пока я все сопоставлял в голове — и падение, и серый «мерседес», и красный свет светофора, и тот же самый «мерседес» здесь, на горном серпантине, — Валента ловко пристроился между двумя грузовиками, как раз догнавшими нас, и уже не отставал от них ни на минуту до самой Вены.

Потом меня проводили до чехословацкой границы.

* * *

В Зноймо я заночевал в гостинице, а с утра снова в путь. До Праги доберусь только к вечеру. Я не спешил, наслаждаясь ощущением безопасности. По сторонам дороги пламенели кусты шиповника, синел терновник. Завтра начнутся будни: лекции, консультации, опыты, своим чередом пойдет работа в институте, прием в больнице. Но сперва позвоню полковнику Сове — нет, лучше зайду к нему, чтобы поблагодарить его лично.

Отакар Халоупка

Ода «К радости»

Мои поднятые руки напряженно застыли.

Всего на полсекунды.

Я не гляжу на них — что глядеть, в точности знаю, какие они, руки, торчащие из черных рукавов с белыми манжетами. В эти полсекунды я рук своих вообще не ощущаю, будто не мои.

Полсекунды не вижу я ни сидящих передо мной музыкантов в таких же черных костюмах с белыми манишками, ни инструменты, которые ведомы мне так, словно я сам владею игрой на каждом из них. Мне вообще нет нужды смотреть прямо перед собой — точно знаю я, где сидят флейты, а где гобои, где фаготы и кларнеты, а где трубы. И где струнные. Где на возвышении в глубине сцены выстроился хор, пока что безмолвно и невозмутимо развернувший свои партии.

Все детали известны мне досконально, ибо я стою так не впервые. Мне пятьдесят пять, и уже много, бесконечно много раз стоял я вот так, с застывшими наготове руками, и ждал, когда истекут полсекунды и я взмахну тонкой палочкой, зажатой в пальцах правой руки.

Лишь полсекунды —

и мы заиграем дальше: ждут оркестр, хор, подровнявшийся на возвышении, ждет зрительный зал, в котором гаснут последние глухие покашливания, оттягивающие заветный миг. Лишь полсекунды — и руки мои дрогнут, и отовсюду — не только со сцены, нет, отовсюду — со стен, с потолка, с неба, что высоко над залом, изо всех домов нашего города, с его улиц, мостовых и фонарей, из реки, протекающей по нему, с моста, что недалеко отсюда, из замка на том берегу, из лесов и полей, подступивших к новым окраинным районам, с асфальтовых шоссе, запруженных вечерними, спешащими домой машинами, из поездов и самолетов, выруливающих на стартовую полосу, — да, отовсюду польются звуки, выше которых нет ничего в моей жизни. Как люблю я именно эту музыку, которой столько раз дирижировал. Люблю и знаю наперед, какой я ее услышу: будто со старой, заигранной пластинки, сплошь покрытой царапинами и выбоинами, звучащей без высоких и низких частот, плоско и хрипло, точно из жестянки.

Такой услышу ее только я. Никто в целом зале не догадается, что под эти звуки, под это пение финала Девятой * я первый и последний раз в своей жизни убил человека.

Человека, который при других обстоятельствах мог быть мне другом или братом.

Ну вот, руки мои уже пришли в движение. Как всегда, справа под мышкой немного режет фрак... Игла опускается на звуковую дорожку...

...Пластинок у меня немного, но для пятнадцатилетнего мальчишки вполне достаточно. Во всяком случае, все в моей маленькой комнате заставлено специальными подставками из толстой изогнутой проволоки, по которым рассованы тяжелые, покрытые шеллаком диски. А звучания каждого хватает всего на несколько минут, причем то и дело приходится менять иглы, которые я покупаю — в изящных жестяных коробочках с картинкой — в лавке у Вроубека.

Везде у меня пластинки, и у окна, где стена идет под углом, потому что комнату эту, гордо именуемую теперь мансардой, мне оборудовали на чердаке, под самым скатом крыши небольшого дома на окраине города. В холода ветер тянет изо всех щелей, а зимы у нас на Высочине суровые. Не комната, а каморка, вся

---

* В финале Девятой симфонии Бетховена звучат слова оды «К радости» Шиллера.

уставленная пластинками. Но главный предмет здесь — радиола, перед которой я обычно и сижу. Особенно этой весной: в школу ходить не надо — ее превратили в лазарет, а мы вместо уроков должны работать на фабрике. Правда, следят за этим не очень строго. Какие теперь строгости, если по всем домам, заперев двери и затемнив окна, слушают радио, на карте булавками отмечают города, проводят линию фронта. Она подходила все ближе и ближе к нам, дошла до Моравии, а это уж рукой подать. Можно не следить больше по карте — распахивай окно да прислушивайся к орудийным залпам.

Именно это я и делал даже чаще, чем слушал свою радиолу, а под вечер задворками пробирался в гимназию, превращенную в лазарет, и, прошмыгнув мимо квартиры школьного сторожа, крал там бинты и таскал их к Шимаковым, потому что у Шимаковых день за днем копился кое-какой запас. Мы, дети, только догадывались, а взрослые точно знали, что в скором времени он пригодится. Бинты были упакованы в оболочку из непромокаемой ткани с пропечатанным на ней орлом.

Но в тот день я, ей-богу, не отходил от радиолы.

...Правда, сегодня я только и делаю, что кручу пластинки, больше ничего неохота, ни одной путной мысли в голове, хотя, кажется, именно сейчас не время расслабляться. Утром под окнами нашего дома прошла последняя фашистская колонна, беспорядочная, изрядно потрепанная, грузовики вперемежку с легковыми машинами и мотоциклами — кто как успел вклиниться в поток. Приемник через определенные интервалы времени дает о себе знать позывными Пражского радио, все взрослые неизвестно где, а я единственное, что в состоянии делать, — ставить одну пластинку за другой. Один я тут одинешенек, под самой крышей, и отец куда-то ушел — на рукаве повязка, на голове кепка, в которой только в лес по грибы ходить, а мать помчалась к Шимаковым. Один остался на весь дом, а пластинки на 78 оборотов кончаются так быстро.

...Я даже не испугался, когда услышал скрип ступеней и тупые удары, будто чем-то тяжелым задевали стену — лестница-то узкая.

Обернулся я, когда незнакомец уже стоял на пороге, и я тут же определил, что предмет, которым он тыкался в стену, не что иное, как ручной пулемет. Той весной любой пятнадцатилетний пацан без труда опо-

знал бы ручной пулемет, а заодно — по узким серебряным погонам — и воинское звание его владельца.

— Есть еще кто-нибудь в доме? — спрашивает он меня и, не дожидаясь ответа, запирает дверь на замок, сует ключ в карман и идет с пулеметом к окну.

Прежде чем установить его на подоконнике, он сперва свешивается из окна почти головой вниз и срывает флаг с синим треугольником, сшитый мамой позавчера вечером.

— Никого.

— Тем лучше, — говорит он, устраиваясь на подоконнике. — Нам никто и не нужен.

Он вполне прилично говорит по-чешски. Правильно говорит, хоть и жестковат его выговор. Этот твердый акцент действует на меня странным образом: мне кажется, все происходит в кино и окно — плоскость экрана, на котором движется его фигура. Или что все это — кошмарный сон перед пробуждением, воспоминание о чем-то давно прошедшем. На самом деле не может его тут быть! Они же все бежали в полной панике, никого не осталось. Ни одного фашиста. А если кто и задержался случайно, непременно был обнаружен людьми с повязками на рукаве, как у моего отца, теми, кто шесть лет скрывал свои залитые маслом арсеналы под толстым пластом сырой земли, досок, сена, всякого хлама. Сейчас они все прочесывают — не остался ли кто, не заплутал, не притаился ли. Не может быть, что одного все-таки не углядели — погоны так сверкают на майском солнце, а пулемет еще издали бросается в глаза. И орел на офицерской фуражке его «визитная карточка». Непонятно, как только ему удалось от них улизнуть. И еще непонятней, почему из всех возможных и невозможных убежищ он выбрал именно мою каморку и теперь не боится выдать себя пулеметом, торчащим из окна.

— Школьник? — спрашивает он, и я молча киваю в ответ, все еще надеясь, что это дурной сон.

Тут он замечает радиолу и мою коллекцию. Встает с подоконника, подходит к одной из подставок, перебирает пластинки. Желто-серые конверты все одинаковые, поэтому каждый раз приходится заглядывать на круглую этикетку.

— Надо же, — удивляется он, — я думал, песенки какие-нибудь, а этот молодой человек, оказывается, любит настоящую музыку.

Сказано безо всякой иронии. Кажется, он и впрямь приятно удивлен.

Некоторые этикетки он читает вслух, произнося имена композиторов на немецкий лад. Например, Фридрих Сметана, хотя на пластинке ясно сказано — Бедржих. Имя Дворжака, правда, называет правильно.

— Вот это я играл, — вспоминает он, опуская пластинку на место и вытягивая следующую, — и это...

— Вы музыкант?

Я хорошо понимал: задавать такой вопрос военному, тем более немецкому офицеру, нахально ворвавшемуся в наш дом, по меньшей мере нелепо. И вдруг меня осеняет, почему именно в наш дом: стоит он на самых подступах к городу и из моей мансарды отлично просматривается шоссе, целый километр до поворота, из-за которого вот-вот покажутся те, другие, желанные, долгожданные. Какое там убежище — он пришел бороться до последнего, стрелять, убивать. Нацеливаясь на асфальтовое полотно, ждет своей минуты. Может, не сразу они появятся, может, через час, а то и через два, и время, которое наверняка кажется ему бесконечным, он коротает, перебирая мои пластинки и не забывая при этом следить за часами.

— Я играл в симфоническом оркестре.

Похвастаться хочет, что ли, перед мальчишкой с его жалкой радиолой. И на меня это действительно производит впечатление. Я никогда еще не видел симфонического оркестра и никогда не был на настоящем концерте. Ведь была война. Но почему «была»? Война все еще идет, и он — живое тому доказательство.

— А теперь вот на чем играю, — смеется, кивком указывая на открытое окно, откуда в комнату торчит пулеметный приклад.

Я замечаю, что он ловит на себе мой взгляд и в ответ улыбается грустно, даже тоскливо.

— Со временем, парень, ты поймешь: никому не дано делать только то, что он хочет.

Он аккуратно проглядывает пластинки: одни вдвигает назад сразу, другие оценивающе взвешивает в руке, точно камни или золотые слитки, о которых я читал в приключенческих книжках. Вот вытаскивает одну из конверта и, не задержав взгляд на этикетке, бережно опускает звукосниматель на ее край — Бах, отрывок из Бранденбургского концерта.

— Все будет совсем не так, как ты думаешь, — го-

ворит он, разглядывая один за другим свои пальцы, а потом быстро перебирает ими в воздухе, будто играет на рояле. — Я уже и забыл, как скрипку-то держат. (А мне подумалось, что он пианист.) Разве что в квартете каком-нибудь захудалом теперь играть...

— Когда вы вернетесь в оркестр... — начал было я.

— ...снова научусь? — хмыкает он. — Германии больше не будет, парень, и немецких оркестров тоже. Если я выживу, буду в лагере каком-нибудь на балалайке играть. Дай бог, руки не отмерзнут, в Сибири не очень-то топят...

Я не знал, что ему ответить, и думал об одном: может, он заслушается пластинками, может, не заметит их приближения. А когда заслышит под окнами грохот грузовиков, скрип тормозов, поздно будет хвататься за пулемет.

Повинуясь странному импульсу, следующую пластинку ставлю я сам: отрывок из «Патетической» Чайковского. Офицер слушает серьезно, не глядя на часы.

— Вот видишь, у них своя музыка, свои композиторы. А у меня впереди нет ничего.

— Зачем тогда пулемет?

— Привычка такая — все доигрывать до конца, — усмехается он. — Точно по партитуре.

За окном ярко светит солнце, мне так и хочется возразить, что война — это ведь не симфония. Но я не способен найти подходящие слова. Я пока что мало знаю про симфонии и немногим больше про войну. Мне приходит в голову, что на шоссе в любой момент может появиться мой отец с ружьем в руках, с повязкой на рукаве. Мой отец не разбирается в музыке, совсем в ней не понимает. А пристрелит его офицер, который знает Сметану, хоть и называет его Фридрихом, и Чайковского. Как же мне тогда захотелось крикнуть, что у человека, знающего Чайковского и играющего Баха, рука не поднимется стрелять в людей. Но я не нашел нужных слов. А нашел бы — побоялся...

...Я начинаю бояться, только теперь начинаю бояться его самого, его пистолета, что висит сбоку в потертой кобуре. Хотя вряд ли он им воспользуется — пятнадцатилетнего мальчишку можно заставить замолчать с помощью голого кулака, одних только сильных пальцев.

Пальцев скрипача, отвыкших от струн, от нежных, но точных и крепких касаний, от смычка, который дер-

жать и то надо с чувством. «Играй с чувством, но уверенно», — говаривает мой учитель музыки, с которым я занимаюсь два раза в неделю по два часа: первый час играю на фортепьяно, второй — на скрипке. Пока я разучивал этюды, этот всю войну упражнялся в пальбе из пистолета и ручного пулемета и, наверное, не просто так упражнялся, не сидел же он все эти годы в тихом тылу — вон какая замусоленная у него кобура, какие мозолистые ладони. Похоже, ему частенько приходилось пользоваться оружием.

— Заведи-ка, — подает он мне пластинку.

По истрепанному конверту я узнал, что это та самая, которую я слушаю чаще всего.

— Бетховен, — говорит он, добавляя по-немецки: — Lasst uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere *.

Наконец прошло полсекунды — я делаю первое движение палочкой. Но прежде чем вступит оркестр, идет речитатив баритона, первые пять тактов, и только в шестом ему начинают подыгрывать струнные. Пусть торжествует светлая, светлая радость! Давно уже заржавел пулемет, стоявший сорок лет назад на окне моей мансарды, не надо об этом вспоминать. «Радость, радость, искра божья!» Потолок зала медленно идет ввысь, образуя своды величественного храма, увенчанные дивной фреской. Глазами я подаю знак гобоям, левой рукой — скрипкам. Баритон, руша преграды, вырывается на простор: «Freude, Freude, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum»**. Одурманенные звуками, вступаем мы в райскую обитель, сорок лет как кончилась война, заржавел пулемет того скрипача, и хор вторит баритону:

«Там мы все друзья и братья...»

— Сегодня, — говорит он, ослабляя воротник кителя, который ему явно давит, — сегодня у этой симфонии день рождения. Ну да, сегодня же седьмое, а оду «К радости» впервые сыграли седьмого мая тысяча восемьсот двадцать четвертого года.

---

* Будем гимны петь безбрежному веселью и светлой, светлой радости (нем.).

** Радость, дивной искрой божьей
Ты слетаешь к нам с небес,
Мы в восторге беспредельном
Входим в храм твоих чудес (нем.).

Ничего этого я не знаю, я вообще пока мало знаю, у меня еще столько лет впереди, постепенно всему научусь. А его ни о чем не хочется спрашивать.

— День рожденья, — повторяет он, — именно сегодня.

Именно сегодня, думаю я, как будто это имеет какое-нибудь отношение к его пулемету и к его орлу.

В школе, где сейчас лазарет, мы учили немецкий, поэтому я понимаю, о чем поют голоса на пластинке. Еще немножко — и не будет тебе никаких орлов и пулеметов, еще несколько дней, может, даже часов — и всюду запоют о радости и искре божьей: «Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum».

Но нет, не подошло еще время; пожирая все вокруг, огонь еще будет пылать, а стальные снаряды — накалять стволы орудий. Нет, далеко еще до райской обители. Не просто так сидит он у меня на подоконнике. Смотрю, глаза у него покраснели. От слез, что ли, ветер, наверное, дунул в глаза, когда он высунулся на улицу. Ветер у нас на Высочине бывает резкий даже в начале мая.

Хор поет: «...alle Menschen werden Brüder» *. Но сегодня, седьмого мая сорок пятого года, нелегко представить себе, что все люди когда-нибудь станут братьями. Я наблюдаю, как он то свешивается с окна, вглядываясь в даль, то занимает прежнюю позу и снова слушает пластинку. Сейчас хор умолкнет, вступит трехголосие альта, тенора и баритона. Но сначала пластинка сильно цокнет, ведь в этом месте глубокая царапина.

Я присматриваюсь к нему: а что, если бы мне такого брата? Представить только: нет никакой войны, и у меня брат, лет на пятнадцать-двадцать старше, играет на скрипке в симфоническом оркестре и знает музыку так, как я мечтаю ее знать. Было бы замечательно — брат, которого до слез трогает финал Девятой.

Все это вполне можно было бы себе представить, если бы не пулемет на расстоянии вытянутой руки от него, не замусоленная кобура и если бы он тогда сразу не запер дверь и не сунул ключ в карман.

«Ja — wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund» **— это к трехголосию присоединилось сопрано, на пластинке оно чуть тусклее, чем должно быть.

---

* «...Там мы все друзья и братья» (нем.).

** «К нам, кто хоть душе единой дал приют души своей» (нем.).

Я присматриваюсь к нему — может, и правда, если бы не эта форма и не пулемет, мы могли бы стать братьями. И я спрашиваю его, по глупости, конечно.

— А вам Бетховен нравится?

Он осклабился:

— Нравиться может потаскуха, парень. — И снова высовывается из окна, только что не падает, висит прямо над нашим маленьким садом, над кронами двух черешен, над кустами смородины, ему даже приходится одной рукой придерживаться за оконную раму, собственно, в комнате остаются только его ноги. Так он висит, пока хор повторяет слова за солистами. Из всего этого великолепия моя радиола доносит сюда, в каморку, отрезанную от мира лишь малую толику. Но толком он все равно больше не слушает, свешивается из окна, уже не держась за оконную раму, и, балансируя, раздраженно машет мне освободившейся рукой:

— Эй, выключи! — кричит. — Schalte das aus!

Как это можно выключить именно сейчас, когда крещендо у хора перешло в мощное форте?

Может, ему кажется, что моя радиола слишком искажает звучание, а может, он привык слушать Бетховена в концертном зале, в конце концов, он и сам наверняка играл Девятую. Действительно, на тутти оркестра и хора особенно хорошо слышно, сколько повидала на своем веку эта пластинка, да еще репродуктор дребезжит. Мне не привыкать, а он, должно быть, считает, что это варварство по отношению к такой музыке, к такому пению.

— Выключи, говорю! — кричит он снова. — Не слышно ни черта!

Тут до меня доходит, что вот уже несколько тактов он слушает вовсе не пластинку, а нечто совсем другое: высунувшись из окна, старается уловить шум моторов раньше, чем те машины появятся на ровном отрезке дороги. Меткий убийца с профессионально отточенным слухом хочет услышать гул машин прежде, чем они вынырнут из-за поворота.

Чтобы не потерять ни полсекунды.

Он не желает больше мучиться величественной музыкой, он хочет изгнать, стереть, выпотрошить из памяти все голоса сопрано, альтов, теноров, баритонов, басов, звуки флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, валторн, труб и непременно — непременно! — скрипок, которые глубже всего въелись в треснувшую, как скорлупка, па-

мять и беспощадно терзают его всякий раз, когда он пускает в ход оружие. Потому что прижимать к себе скрипку, послушную биению человеческого сердца, совсем не то, что приклад пулемета. Второе заставляет начисто забыть о первом.

И потом, не пристало стрелку иметь глаза, заплаканные от какого-то там «...alle Menschen werden Brüder».

Это выше человеческих сил — стрелять и думать: «Мы все друзья и братья».

Не позволю я ему прижимать к себе пулемет вместо скрипки и стрелять. Мало ли что он в этом поднаторел — не дам, и все тут.

Я встаю со своей табуретки и до упора поворачиваю ручку усилителя. Его собрал мне товарищ. Это отличный, довольно мощный усилитель, и, когда ручка повернута до отказа, тонкая ткань, обтягивающая репродуктор, сильно вибрирует. Слов теперь почти не разобрать, инструменты громко хрипят, зато даже танки прошли бы теперь под окнами незамеченными.

— Убери ты этот грохот к чертовой матери!

А я стою себе перед радиолой, отвратительно визжат флейты и кларнеты, словно диковинное, пока еще никем не изобретенное звуковое оружие, непохожее на музыкальные инструменты; струнные сливаются в один общий скрежет. Но вот хор сменяется дуэтом тенора и баритона — их двухголосие, как ни странно, звучит совершенно чисто, и в голове моей проносится, что слабое место моей радиолы — высокие частоты... «Freude trinken alle Wesen», — поют тенор и баритон, я же так далек от того, чтобы упиваться радостью, я стою и покорно жду, что предпримет мой гость, — уж не потянется ли он за своим пистолетом.

Но нет, он спрыгивает с окна и со всей силы пинает ногой усилитель.

«Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur» *.

Вступает альт — теперь три голоса летят в зал, где не кашлянет никто. Я не знаю, где сидят там злые, а где добрые люди, я даже не знаю, правомерно ли вообще такое деление, ибо каждый из нас, наверное, носит в себе и частицу добра, и частицу зла. Скорее всего это

* Радость, ты источник жизни,
Жаждут все к тебе прильнуть!
Злых и добрых, без изъятья,
Всех влечет твой светлый путь! (нем.).

именно так. Может, и у него где-нибудь на донышке души сохранилась капля добра еще с той поры, когда оружием его была скрипка. Может, если бы не тридцать третий год и не тип с маленькими усиками, водрузивший над его страной изломанный крест, он не стал бы убийцей, а сидел бы со своей скрипкой в оркестре перед почтенной публикой, дарил своим братьям радость вместо пулеметной очереди, а в конце дирижер пожимал бы ему руку под рукоплесканья зала, и он кланялся бы, кланялся...

Я стараюсь не вспоминать. Именно сейчас, здесь никому не смеет приходить в голову мысль об убийстве, ни певцам, ни музыкантам, ни публике, сидящей за моей спиной, ни мне самому нельзя думать о преступном насилии в минуты, когда музыка поет об ангелах и блаженстве радости. А иначе, может статься, инструменты рухнут в преисподнюю, сметенные мощнейшим взрывом, какого тот офицер в моей каморке еще даже и представить себе не мог. Вместо музыки разразится какофония летящих в цель ракет, и на белых манишках, расплываясь, проступят пятна крови.

Хор замолкает, звучит лишь контрфагот и фаготы. Похоже, мир застыл в тревоге, остановилась история.

А что, если действительно до того, как вступят по моему знаку флейты и гобои, несколько тактов относительной тишины будут оборваны оглушительным взрывом ядерной боеголовки? Я знаю: она маячит где-то за моей спиной, чувствую холодок между лопатками при одной мысли о том, каким неописуемым пеклом она грозит, чувствую всю реальность этой угрозы. Нет, я понимаю, почему так настойчива моя память, почему именно сейчас перед глазами тот офицер на моем окне. Оркестр повинуется моим ладоням, изливает мне свою душу: «Froh, Froh, wie seine Sonnen fliegen...» — «Брат, брат, весь мир летит за солнцем...».

Солнце льет в окно: близится полдень, а мансарда выходит на юг. Но лишь на мгновение оно хлынуло в полную силу — вернувшись к пулемету, он заслоняет мне солнечный поток. Не стал терять время на то, чтобы стрелять в меня или бить. К чему? За минуту до того, как в бешенстве сокрушить усилитель, он, дружелюбно улыбаясь, беседовал со мной. Нет у него причин избивать или даже убивать меня. Я не способен сорвать его планы, я заперт на замок, а ключ у него в кармане. Другое дело, если бы я рвался к окну, зовя на помощь.

Но в моей каморке окно только одно, целиком в его распоряжении. А я для него— совершенно безобидный мальчишка, может, чем-то даже симпатичный ему, потому что я люблю музыку и он тоже ее любит или когда-то любил. Может, я напоминаю ему о прошлой жизни, во всяком случае, время ожидания тянется для него не так мучительно, как если бы он нарвался на филателиста или любителя авиамоделей.

Когда он ногой пнул усилитель, радиола осталась стоять как стояла. Соединяющий их провод длинный, а радиола включена в другую розетку. Я прикрыл ее собой, ведь источник музыки был там, но он сообразил, он знал: достаточно вывести из строя стоящий в двух шагах усилитель. Окажись я перед усилителем, проку было бы еще меньше — он разбил бы радиолу. И вот пластинка крутится с той же скоростью, оркестр играет, хор поет. Ему на подоконнике теперь не слышно ничего, мне — неясное шипенье из-под звукоснимателя. Но, зная пластинку наизусть, я догадываюсь: после соло тенора вступает хор: «Laufet, Brüder, eure Bahn, wie ein Held zum Siegen» *.

Нет, это не про него. Не про вояку с пулеметом на окне, который мог быть моим братом, не нацепи он мундир и эту потертую кобуру и не таскай он за собой пулемет, мой странный брат, который не брат мне вовсе и никогда им не будет. Его путь отнюдь не геройский и вовсе не к победе, он знает об этом так же хорошо, как и я. Времена, когда ему судили победу, давно прошли, он уж и слова-то такие позабыл — «герой», «победа», но пулемет все еще послушен ему, и вояка не сходит с избранного им пути.

Путь этот вот-вот проляжет по километровому отрезку шоссе перед нашим домом, который он будет прицельно терзать. А те, кто, не подозревая об опасности, появятся на грузовиках, взяв курс на город, где развеваются красные знамена и чехословацкие национальные флаги, на город, о котором известно, что его вдоль и поперек прочесали люди с повязками на рукаве, подставятся ему точно удобные мишени, и я не знаю, как этому помешать. Я слушаю шуршанье звукоснимателя и тупо гляжу перед собой, отчаявшийся подросток, бессильный перед волей взрослого.

— Ну не сердись, — снисходит он, — починят тебе... А кончится война — купишь новый усилитель.

* «Брат, иди всегда вперед смело, как герой к победе» (нем.).

— Война уже кончилась...
— Почти.
— Сколько она еще будет, ну, неделю...
— Нет, самое большее — два-три дня.
— Тогда почему...
— Мал ты еще, не знаешь, как в жизни бывает.

Может, конечно, я и правда еще мал и не знаю, как в жизни бывает. Не знаю, когда впервые исполнили оду «К радости», не знаю, для каких изделий штамповка, которой нагружают мою тележку на фабрике.

Но кое-что знаю и я. Вечерами мы слушали радио, и я глядел, как отец заштриховывает стрелки на карте. День за днем они все ближе стягивались к тому месту, которое взрослые называли между собой «чешско-моравский район», потом просто «чешский район», а теперь ни о каком районе вообще не упоминают. Утром мы жадно ловили каждое слово Пражской радиостанции, но между нами и Прагой — немецкие колонны, и я не знаю, пробьются ли они к столице или рассыплются по дороге, когда кончится последний бензин и солдаты разбредутся восвояси — конечно, те, кто понимает, что и война кончена, и все уже кончено, не такие, как этот. Он, взрослый, убеждает меня, сопляка, что я ничего не знаю! Да все наоборот: это он сидит тут в полном неведении, всеми брошенный, ни на что не годный. Кроме одного — убивать дальше.

Звукосниматель щелкнул — пора переворачивать пластинку. Но это ни к чему — звука все равно нет. Правда, я и так «слышу» все, может, и он тоже. Время от времени косится на меня, на радиолу, значит, помнит, что там, на другой стороне пластинки: после длинного оркестрового куска вновь ликует хор — «Радость, дивной искрой божьей...». Потом медленно, торжественно вступят тенора и басы: «Seid umschlungen, Millionen» *. Мне вовсе не надо переворачивать пластинку, чтобы услышать призыв к миллионам сплотиться против его пулемета, его орла и петлиц на кителе, его свастики — всего, что он носит в себе и на себе, против той силы, что сконцентрировалась сейчас в нем одном. Хочет он того или не хочет. А он-то хочет.

Похоже, он вместе со мной «проигрывает» про себя финал. Но прежде чем вступить мужскому двухголосию, тревога пробегает по его лицу:

— ...кто-нибудь тебе починит...

* «Встанем вместе, миллионы!» (нем.).

Он высовывается из окна и прислушивается. Не к Бетховену, нет, за окном совсем другая музыка — моторы подходящей к городу автоколонны. Ее пока не видно, но издалека слышится ритмичное вибрато на двух-трех звуках, монотонное, удивительно ровное, оно действует на меня успокаивающе. А для него оно, наверное, грозное и гулкое, как гнев, несговорчивое, как время. Вибрато такт за тактом будет набирать силу, пока, разросшись, не раздавит его орла со свастикой, серебряные погоны, пулемет, а скрипку... — со скрипкой он сам давно расправился раз и навсегда, и нет сомнений, что эта музыка, пропитанная гарью и бензином, станет для него последней. Он и сам это знает.

И все-таки свою «пьесу» намерен доиграть до конца, «точно по партитуре». И сейчас из окна моей каморки страшным голосом завопит смерть.

— Не стреляйте, — прошу я его. Мне только пятнадцать, и не остается ничего другого, как просить.

Он пристраивается за пулеметом, уточняет прицел.

— Тихо сиди, паршивец! — резко обрывает он меня каким-то изменившимся, злым голосом. Когда мы слушали Баха, Чайковского и Бетховена, он совсем не так со мной разговаривал. Может, то был голос далеких времен, когда он учился играть на скрипке, разучивал этюды, а учитель говорил ему: «Играй с чувством, но уверенно». Или голос артиста, надевающего фрак перед выходом на сцену. Его прежний, человеческий голос, на несколько минут всплывший из глубин утраченной памяти. Теперь же он кричал на меня своим сегодняшним голосом, который он освоил, пристегнув кобуру. Или который его заставили освоить, пристегнув кобуру.

Пластинка играла бы сейчас примерно там, где поют: «...alle Menschen werden Brüder». Эти слова уже звучали сегодня в начале финала, мы оба отлично их помним. Но как же может он быть моим братом? Не надо, не хочу. Не знаю ничего ужаснее убийства, не хочу, чтобы кто-нибудь убивал, и сам никогда не смог бы.

— Отойдите от пулемета, — умоляю я, — не стреляйте!

Он огрызается в ответ каким-то немецким ругательством. Таким словам нас в школе не учили, но я примерно догадываюсь, что он хотел сказать. Тем более что он добавляет:

— ...Du tschechisches Mistvieh! *

* — Ты, чешская скотина! (нем.).

Пальцы, сжимавшие когда-то смычок, обхватывают приклад, и указательный палец нажимает на спуск.

Я внимательно слежу за оркестром и хором. Фрак, как обычно, режет справа под мышкой. Что-то не припомню, каким образом в руке у меня тогда очутился мраморный брусок — пресс-папье с письменного стола. Трудно сказать, ведь я стоял около радиолы, довольно далеко от стола. Я до сих пор точно помню, что где было в моей каморке. И уж совершенно невозможно объяснить, как мне, никогда не отличавшемуся силой и ловкостью на уроках физкультуры, удалось метнуть брусок с такой точностью, что тот рассек ему висок прежде, чем пришел в действие пулемет.

Помню, что он так ни разу и не выстрелил, что убил я его той самой рукой, в которой держу сейчас дирижерскую палочку. Все произошло удивительно просто, будто не со мной.

Потом меня объявили героем — самым молодым героем города, но прошло довольно много времени, прежде чем я опомнился и осознал то, что ведала тогда рука: убийство было единственной возможностью предотвратить еще более кровавое преступление.

И еще я помню — с такой точностью, будто все произошло вчера, — что в тот момент, когда он рухнул на подоконник и сполз на пол, мне слышалось пение — именно та музыка, что заполняет сейчас концертный зал. «Встанем вместе, миллионы». На этих словах я его и убил. Не музыканта, растроганного Бетховеном, а солдафона за пулеметом. И агония его началась задолго до того, как моя рука сжала кусок мрамора.

Каждый раз, когда, дирижируя, я дохожу до этого места, стены зала раздвигаются, вот он уже вмещает в себя весь мир, сопрано воспевает радость, альт — единение миллионов, каноном присоединяется тенор, и кажется мне, что настойчиво вступающие друг за другом голоса снимают с меня тяжесть того убийства и дают силы противостоять леденящему кровь огню, и с новой этой силой я восстаю против холодного смертоносного пламени, против самой возможности его разгорания.

Восстаю вдвойне, потому что помню его.

Человека, который мог, вполне мог бы стать мне братом.

СОДЕРЖАНИЕ

Н27 **Направление** — Прага: Сборник. Пер. с чеш. и словац. / Сост. и предисл. Св. Бэлзы; Худож. А. Пчелкин. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 319 с., ил.

В пер.: 2 р. 10 к. 100 000 экз.

В книгу вошли повести и рассказы писателей Чехословакии, в которых воскрешаются эпизоды Словацкого национального и Пражского восстаний, показана решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма и освобождении Европы от гитлеровского ига. Издание рассчитано на массового читателя.

Н $\frac{4703000000-120}{078(02)-85}$ 241—85

ББК 84.4Че
И(Чехосл)

ИБ № 4385

НАПРАВЛЕНИЕ — ПРАГА

Редактор **Св. Котенко**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Т. Шельдова**
Корректоры **В. Авдеева, Т. Пескова, Г. Василёва**

Сдано в набор 18.12.84. Подписано в печать 20.03.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,2. Учетно-изд. л. 17,9. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 10 к. Заказ 2050.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



1945




направление-Прага